
Хилари
Мантел
Внесите тела
РОМАН
BOOKER PRIZE

Внесите тела

Хилари Мантел

Аннотация
Хилари Мантел. Внесите тела
Действующие лица
Часть первая
  I. Соколы
  II. Вороны
  III. Ангелы
Часть вторая
  I. Черная книга
  II. Господин иллюзий
  III. Трофеи
Послесловие
От автора

Аннотация

Генрих VIII Тюдор, король Англии, потратил долгие годы, чтобы покорить Анну Болейн, порвал с католической церковью, пошел на интриги, подлости и преступления ради женитьбы на ней.

Но страсть мужчины преходяща, а Анна так и не сумела подарить Генриху и Англии долгожданного наследника. Более того, острый ум супруги раздражает тщеславного Генриха, а ее независимость в решениях отвращает от трона многих старых друзей монарха.

Могущественный придворный Томас Кромвель, один из самых умных, подлых и беспринципных людей своей эпохи, намерен исполнить приказ Генриха и любой ценой избавиться от Анны. Однако погубить Болейнов будет не так-то просто…

Хилари Мантел
Внесите тела

Серия «Booker Prize»
Mantel Hilary
BRING UP THE BODIES
Печатается с разрешения автора и литературных агентств AM Heath & Co Ltd. и Andrew Nurnberg.
© Mantel Hilary, 2013
Школа перевода В. Баканова, 2013
© Издание на русском языке AST Publishers, 2014

Действующие лица

Дом Кромвеля

Томас Кромвель, сын кузнеца, ныне государственный секретарь, начальник судебных архивов, почетный ректор Кембриджского университета, викарий короля по делам англиканской церкви.

Грегори Кромвель, его сын.

Ричард Кромвель, его племянник.

Рейф Сэдлер, его старший письмоводитель, которого Кромвель воспитал как сына.

Хелен, красавица жена Рейфа.

Томас Авери, его домашний счетовод.

Терстон, его главный повар.

Кристоф, слуга.

Дик Персер, псарь.

Антони, шут.

Покойники

Томас Вулси, кардинал, папский легат, лорд-канцлер; смещен с должности, взят под стражу и скончался в 1530 г.

Джон Фишер, епископ Рочестерский, казнен в 1535 г.

Томас Мор, лорд-канцлер, сменивший на этом посту Вулси, казнен в 1535 г.

Элизабет, Энн и Грейс Кромвель, жена и дочери Томаса Кромвеля, умершие в 1527–1528 гг., Кэтрин Уильямс и Элизабет Уэллифед, его сестры.

Семья короля

Генрих VIII.

Анна Болейн, его вторая жена.

Елизавета, малолетняя дочь Анны, наследница престола.

Генри Фицрой, герцог Ричмондский, незаконный сын короля.

Другая семья короля

Екатерина Арагонская, разведенная первая жена Генриха, живет под домашним арестом в Кимболтоне.

Мария, дочь Генриха от Екатерины, возможная наследница престола, также содержится под домашним арестом.

Мария де Салинас, бывшая фрейлина Екатерины Арагонской.

Сэр Эдмунд Бедингфилд, дворянин, приставленный надзирать за Екатериной.

Грейс, его жена.

Семейства Говардов и Болейнов

Томас Говард, герцог Норфолкский, дядя королевы, старший из пэров Англии, яростный ненавистник Кромвеля.

Генри Говард, граф Суррейский, его младший сын.

Томас Болейн, граф Уилтширский, отец королевы, «монсеньор».

Джордж Болейн, лорд Рочфорд, брат королевы.

Джейн, леди Рочфорд, жена Джорджа.

Мэри Шелтон, двоюродная сестра королевы.

И за сценой: Мэри Болейн, сестра королевы; сейчас она замужем и живет в провинции, но прежде была любовницей короля.

Семейство Сеймуров в Вулфхолле (Волчьем зале)

Старый сэр Джон, опозоривший себя связью с невесткой.

Леди Марджери, его жена.

Эдвард Сеймур, его старший сын.

Томас Сеймур, его младший сын.

Джейн Сеймур, его дочь, фрейлина обеих королев Генриха.

Бесс Сеймур, ее сестра; жена, затем вдова сэра Антони Отреда, губернатора острова Джерси.

Придворные

Чарльз Брэндон, герцог Суффолкский, муж покойной сестры Генриха VIII Марии, пэр Англии, наделенный ограниченным умом.

Томас Уайетт, джентльмен, наделенный безграничным умом, друг Кромвеля, по уверениям молвы — любовник Анны Болейн.

Гарри Перси, граф Нортумберлендский, больной и запутавшийся в долгах молодой джентльмен; был некогда обручен с Анной.

Фрэнсис Брайан по прозвищу Наместник Сатаны, связанный родством и с Болейнами, и с Сеймурами.

Николас Кэрью, шталмейстер, враг Болейнов.

Уильям Фицуильям, казначей, также враг Болейнов.

Генри Норрис по прозванию Добрый Норрис, главный из джентльменов, состоящих при короле.

Фрэнсис Уэстон, дерзкий молодой джентльмен.

Уильям Брертон, вздорный пожилой джентльмен.

Марк Смитон, подозрительно хорошо одетый музыкант.

Элизабет, леди Вустер, фрейлина Анны Болейн.

Ганс Гольбейн, живописец.

Церковники

Томас Кранмер, архиепископ Кентерберийский, друг Кромвеля.

Стивен Гардинер, епископ Винчестерский, враг Кромвеля.

Ричард Сэмпсон, поверенный короля в матримониальных делах.

Государственные чиновники

Томас Ризли, прозванный Зовите-Меня-Ризли, хранитель личной королевской печати.

Ричард Рич, генеральный адвокат.

Томас Одли, лорд-канцлер.

Послы

Эсташ Шапюи, посол императора Карла V.

Жан де Дентвиль, посол Франциска I.

Реформаты

Хемфри Монмаут, богатый купец, друг Кромвеля, сочувствующий евангелистам, покровитель Уильяма Тиндейла, переводчика, сейчас находящегося в тюрьме в Нидерландах.

Роберт Пакингтон, купец, придерживающийся сходных взглядов.

Стивен Воэн, антверпенский купец, друг и агент Кромвеля.

«Старые» семейства, претендующие на трон

Маргарет Пол, племянница Эдуарда IV, сторонница Екатерины Арагонской и принцессы Марии.

Генри, лорд Монтегю, ее сын.

Генри Куртенэ, маркиз Эксетерский.

Гертруда, его честолюбивая жена.

В Лондонском Тауэре

Сэр Уильям Кингстон, комендант.

Леди Кингстон, его жена.

Эдмунд Уолсингем, его заместитель.

Леди Шелтон, тетка Анны Болейн.

Палач-француз.

Часть первая

«Чем я хуже других мужчин? Чем? Скажите, чем?»

Генрих VIII – Эсташу Шапюи, послу Священной Римской империи.

I
Соколы

Уилтшир, сентябрь 1535 г.

Его дети падают с неба. Он наблюдает, сидя на лошади, за ним — акры и акры английской земли. Падают камнем, златокрылые, глаза их налиты кровью. Грейс Кромвель зависла в воздухе. Бесшумно она настигает жертву, бесшумно возвращается к нему на руку. Однако звуки, с которыми она устраивается на перчатке — шорох и скрип оперения, тихий горловой клекот, — все это звуки узнавания, домашние, дочерние, почти привередливые. Грудка у нее забрызгана кровью, на когтях — клоки мяса.

Позже Генрих скажет: «Сегодня ваши девочки летали отлично». Сокол Энн Кромвель на перчатке у Рейфа Сэдлера покачивается в такт конскому шагу. Рейф и король едут рядом, непринужденно беседуя. Все устали; солнце клонится к закату, они, отпустив поводья, возвращаются в Вулфхолл. Завтра в небо взмоют его жена и сестры. Женщины, чьи кости гниют в лондонском суглинке, обрели новое тело. Невесомые,

они плывут в воздушных потоках. Им неведома жалость. Неведом долг. Их жизнь проста. Глядя вниз, они видят только добычу да заемные плюмажи охотников, видят трепетный порхающий мир, мир, полный еды.

Все лето было таким — вакханалия крови, летящие пух и перья, собачий лай; лошадям — скребницы и щетки, джентльменам — примочки и мази на ушибы, потертости, растяжения. И, пусть всего несколько дней, Генрих купался в солнце. Иногда, ближе к вечеру, с запада налетали тучи, и большие благоуханные капли касались разгоряченных лиц, однако солнце тут же проглядывало вновь и начинало палить нещадно. А сейчас небо такое ясное, что можно подглядывать за святыми в раю.

Они бросают поводья конюхам и спешиваются. Его мысли уже в бумагах — в депешах, доставленных из Уайтхолла курьерской почтой; куда бы ни переехал двор, она работает исправно, по всему пути из Лондона учреждены подставы. За ужином с Сеймурами он вытерпит все, о чем будут вещать хозяева, все, что придет на ум королю, счастливому, взъерошенному, добродушному, как сейчас. Когда король удалится спать, наступит его рабочая ночь.

Вечереет, но Генрих не торопится заходить в дом: стоит, смотрит по сторонам, вбирает ноздрями конский пот; лоб обгорел на солнце. В начале дня король потерял шляпу и не пожелал взять взамен чужую, так что и другим охотникам пришлось обнажить голову. В сумерках слуги будут рыскать по лесам и полям, высматривать колыхание черного плюмажа в темнеющей траве, золотой блеск охотничьей кокарды: святого Губерта с глазами-сапфирами.

Осень уже в воздухе, чувствуется, что таких деньков осталось наперечет. Постоим же среди мельтешения вулфхоллских грумов (рука короля лежит у него на плече), постоим, глядя на земли западных графств в синей вечерней дымке. Король вспоминает прошедший день, и в разговоре время бежит вспять: мимо рощ и ручьев к ольшанику у реки, к утреннему туману, который растаял в девять, к недолгому ливню, к душному полуденному зною.

— А вы ничуть не обгорели, сэр! — удивляется Рейф Сэдлер. Рейф, рыжий, как и король, сейчас весь малиновый в бурую крапинку веснушек, даже глаза как будто покраснели.

Он, Томас Кромвель, пожимает плечами и, приобняв Рейфа, вслед за Генрихом входит в дом.

Он прошел всю Италию — не только полумрак банкирских домов, но и поля сражений, — не утратив лондонской бледности; даже в детстве, гоняя дни напролет с разбойной ватагой мальчишек, сохранял младенческую белизну.

— У Кромвеля лилейная кожа, — объявляет король, — и в этом его единственное сходство с каким бы то ни было цветком.

Подтрунивая над ним, они направляются к столу.

Король уехал из Лондона в ту неделю, когда казнили Томаса Мора. Стоял холодный дождливый июль, лошади месили копытами мокрую грязь. Кое-как добрались до Виндзора, оттуда дали круг по западным графствам. Помощники Кромвеля, завершив дела в окрестностях Лондона, нагнали королевский поезд во второй половине августа. Король и его спутники спали здоровым сном в новых домах розового кирпича, в старых домах за руинами укреплений, разрушенных временем и людьми, в сказочных замках-игрушках, построенных без мысли об обороне — их стены пушечное ядро пройдет, как бумагу. Англия уже пятьдесят лет не знает междоусобной войны. Это тюдоровский завет — обетование мира. Каждый хозяин имения желает угодить королю. За

последние недели мы навидались непросохшей лепнины, лихорадочной работы по камню: все спешат добавить к своим эмблемам розу Тюдоров, истребить любые следы Екатерины, бывшей королевы. Сбивают молотками арагонские гранаты, тесно прижатые косточки между двумя половинками лопнувшей кожуры, на их месте, если нет времени на новую резьбу, грубо малюют соколов Анны Болейн.

Ганс присоединился к королевскому кортежу и нарисовал Анну-королеву, но та осталась недовольна наброском — ей теперь ничем не потрафишь. Нарисовал Рейфа Сэдлера с аккуратной бородкой и твердым ртом, в нелепой модной шапчонке на коротко остриженных волосах — она сидит набекрень и как будто вот-вот свалится.

— Сделайте мне нос попрямее, мастер Гольбейн, — просит Рейф, а Ганс отвечает: «Да где ж мне выправлять носы, мастер Сэдлер, я разве врач?»

— Рейф сломал нос мальчонкой, упражняясь в турнирном искусстве. Я еле выхватил его из-под лошадиных копыт. Ну и слез тогда было! — Он стискивает юноше плечо. — Не горюй, Рейф, по-моему, ты вышел красавцем. Вспомни, что Ганс сделал со мной!

Томасу Кромвелю сейчас лет пятьдесят. У него тело работника, кряжистое, ладное, полнеющее. В черных волосах пробивается седина; из-за белой кожи, которую не берет загар, врут, будто его отец был ирландец, хотя на самом деле Уолтер Кромвель был кузнец и пивовар в Патни, а еще стригаль, шаромыжник, в каждой бочке затычка, буян и задира, пьяница и дебошир, которого постоянно таскали к мировому судье за то, что он кого-то отдубасил, кого-то надул. Как сын такого человека добился нынешнего влияния — загадка для всей Европы. Одни говорят, он возвысился вместе с Болейнами, родственниками королевы. Другие — что Кромвель всем обязан своему покровителю, покойному кардиналу Вулси, у которого был доверенным лицом. Третьи уверяют, что он знается с чернокнижниками. Юность его прошла на чужбине, он был наемным солдатом, торговцем, банкиром. Никто не знает, где Кромвель побывал и с кем водил знакомство, а тот не спешит рассказывать. Он не щадит сил на королевской службе, знает себе цену и не упустит вознаграждения, будь то должности, привилегии, земли, усадьбы или дома. У него найдется подход к любому, целый арсенал средств: лесть и угрозы, подкуп и убеждение. Людям можно объяснить,

в чем их истинный интерес, раскрыть глаза на такое, чего они о себе не знают. Всякий день королевский секретарь ведет дела с вельможами, которые, будь их воля, прихлопнули бы его, как муху. Зная это, он неизменно учтив, неизменно спокоен, неизменно усерден в делах Англии. Не в его обычае обсуждать свои достижения, но когда бы удача ни посетила его жилище, он всегда начеку и готов распахнуть дверь на первый же робкий стук.

В его лондонском доме портрет глядит со стены, темные замыслы упрятаны под сукном и мехом, рука сомкнулась на документе, как будто душит. Ганс тогда задвинул его столом, чтобы не сбежал, и предупредил: Томас, чур, не смеяться. Так и проходили сеансы: Ганс работал, мурлыча себе под нос, он яростно смотрел в пустоту. Увидев готовый портрет, он сказал: «Боже, я похож на убийцу», а его сын Грегори удивился: «Ты разве не знал?» Сейчас снимают копии — для друзей и для приверженцев из числа немецких евангелистов. Оригинал он не отдаст даже на время — привык я к нему, мол, — так что теперь, входя в дом, видит себя на разных стадиях становления: общие контуры, кое-где — подмалевок. С чего начинать Кромвеля? Одни начинают с маленьких

пристальных глаз, другие — с шапочки. Третьи, избегая важного, пишут его печати и ножницы, четвертые выбирают кольцо с бирюзой, подарок кардинала. С чего бы они ни начали, общий итог один: если вы этому человеку досадили, лучше не встречаться с ним в темном переулке. Его отец Уолтер говаривал: «На моего Томаса косо не глянь — глаз выбьет. Подставишь ему ногу — останешься без ноги. А если его не злить, он форменный джентльмен. И стаканчиком завсегда угостит».

Ганс рисовал короля, благодушного, в летних шелках, за ужином: окна распахнуты вечерним ароматам и птичьим трелям, слуги вносят свечи и засахаренные фрукты. На каждом этапе пути Генрих останавливался в самом большом имении, и Анна-королева с ним, свита находила кров у местных дворян. По обычаю хозяева большого поместья хотя бы раз устраивают праздник для всех, приютивших у себя свиту. Это дорого и хлопотно. Он считал телеги с провизией, видел переполох на кухнях, сам вставал в серо-зеленый предрассветный час, когда печи вычищают, готовясь убрать в них первую партию хлебов, туши насаживают на вертела, котлы вешают на треноги, птицу ощипывают и разделывают. Его дядя служил поваром в резиденции архиепископа,

мальчишкой он помогал в кухне Ламбетского дворца, о тонкостях ремесла знает не понаслышке. Когда речь об удобствах короля, за всем нужен глаз.

Эти дни превосходны. Каждая ягодка в колючей изгороди озарена и мерцает по краям. Каждый лист на дереве; солнце за ветвями висит золотым персиком. Мы спускались в зеленые урочища и въезжали на холмы, где в воздухе даже за два графства ощущается тревожная близость моря. В этих краях от наших предков-великанов остались земляные валы, рвы, вкопанные стоячие камни. В жилах каждого из нас, каждого англичанина и англичанки, есть капля их крови. В те давние времена, на земле, не тронутой овцами и плугом, они охотились на лося и дикого кабана. Лес тянулся на долгие дни пути. Иногда здесь откапывают орудия: двуручные топоры, одним ударом рассекавшие коня и всадника. Думай о мертвых исполинах, что ворочаются в этой земле. Имя им — война, и они ждут своего часа. Не только о прошлом ты думаешь, скача на запад в самый разгар лета, но и о том, что спит под травой, что зреет. Грядущие войны, скорби и смерть — все их, как семена, бережно хранит английская почва. Глядя, как Генрих смеется, как молится, как ска-

чет в окружении свиты лесной дорогой, недолго решить, что на троне тот сидит так же крепко, как и в седле. Видимость обманчива. По ночам король не может уснуть, смотрит на резные стропила, считает свои дни. Спрашивает: «Кромвель, Кромвель, что мне делать?» Кромвель, спаси меня от императора. Кромвель, спаси меня от Папы. Потом зовет своего архиепископа Кентерберийского, Томаса Кранмера, и вопрошает: «Проклята ли моя душа?»

В Лондоне императорский посол Эсташ Шапюи каждый день ждет вестей, что английский народ взбунтовался против короля-самодура, спит и видит, как это произошло, не жалеет ни денег, ни сил, чтоб мечта претворилась в явь. Император Карл владеет Испанией, Нидерландами и заморскими колониями; Карл богат и по временам злится, что Генрих Тюдор променял его тетку Екатерину на Анну, которую в народе зовут пучеглазой шлюхой. Шапюи призывает императора вторгнуться в Англию, поддержать английских бунтовщиков, смутьянов и самозванцев, захватить безбожный остров, где король парламентским биллем развелся с женой и объявил себя Богом. Папе не по душе, что в Англии его высмеивают, называют «епископом Римским»,

что церковные доходы идут не ему, а Генриху. Булла об отлучении, составленная, но не провозглашенная, висит над Генрихом дамокловым мечом, превращает его в изгоя среди других христианских королей Европы — их настоятельно зовут пересечь Ла-Манш или шотландскую границу и прибрать к рукам, что глянется. Может, на папский призыв откликнется император. Может, французский король. Может, они оба. Хотелось бы сказать, что мы готовы их встретить, да только это не так. В случае вторжения нам придется выкопать кости великанов и лупить ими противника по башке. У нас не хватает пушек, не хватает пороха, не хватает стали. Вины Томаса Кромвеля тут нет; как говорит, кривясь, Шапюи, королевство Генриха было бы куда прочнее, назначь тот Кромвеля секретарем лет на пять раньше.

Если оборонять Англию — а он сам выйдет сражаться с мечом в руке, — то надо знать, что такое Англия. В августовский зной он стоит перед резными надгробиями предков, мужей, закованных в броню с головы до пят; их руки в латных рукавицах сложены на груди, ноги, одетые в сталь, покоятся на львах, грифонах, борзых. Каменные мужчины, стальные мужчины, их жены рядом — словно улитки в скорлупе. Мы думаем,

время не властно над мертвецами, но время властно над изваяниями мертвецов: кого-то из них сделало беспалым, кого-то — безносым. Крохотная отколотая нога (от коленопреклоненного херувима?) застряла в каменной драпировке, на резной подушке лежит кончик большого пальца. «Надо будет на следующий год подновить предков», — говорят лорды западных графств, но их-то щитодержатели и геральдические фигуры, эмблемы и девизы всегда блещут свежей краской. Западные лорды кичатся прошлым своего рода: в этих латах мой пращур сражался при Азенкуре, эту чашу мой прапрадед получил из рук самого Джона Гонта. В войнах между Ланкастерами и Йорками их деды и отцы встали не на ту сторону, так что о недавних событиях лорды предпочитают помалкивать. Поколение спустя обиды будут забыты, слава восстановлена — только так Англия может идти вперед, не тонуть в грязи прошлого.

У него, разумеется, нет предков, по крайней мере таких, какими можно кичиться. Был некогда дворянский род Кромвелей, и герольдмейстеры убеждали его для приличия взять их герб; я не из тех Кромвелей, вежливо отвечал он, мне не нужны их девизы. Он сбежал от отцовских по-

боев пятнадцати лет от роду, пересек Ла-Манш, нанялся в войско французского короля — если дерешься с тех пор, как научился ходить, почему бы не делать это за деньги? Впрочем, есть ремесла поприбыльнее солдатского — он их нашел и решил не спешить на родину.

А теперь, когда титулованные хозяева дома спрашивают совета, где лучше поставить фонтан или трех граций, король отвечает, спросите Кромвеля, он знает Италию, а что хорошо для Италии, сгодится для Уилтшира. Иногда король оставляет королеву с ее дамами и музыкантами у гостеприимных хозяев, а сам, прихватив ближайших друзей, уезжает на недельку поохотиться. Вот так они и оказались в Вулфхолле, где короля почтительно приняли сэр Джон Сеймур и его многочисленное семейство.

— Не знаю, Кромвель, — говорит старый сэр Джон, дружески беря его под руку. — Называть соколов именами покойниц… вас это не вгоняет в тоску?

— Я не знаю, что такое тоска, сэр Джон. Мир слишком для меня хорош.

— Вам надо снова жениться, завести еще детей. Может, найдете себе невесту, пока гостите у нас. В Севернейкском лесу много хорошеньких девиц.

— У меня есть Грегори, — говорит он, оглядываясь через плечо на сына; он постоянно немного волнуется за Грегори.

— Сыновья — это хорошо, — отвечает сэр Джон, — но мужчине нужны и дочери, они — наше утешение. Гляньте на Джейн, какая она славная.

Он послушно смотрит на Джейн Сеймур, которую хорошо знает по двору, — она была фрейлиной Екатерины, бывшей королевы, теперь исполняет ту же должность при Анне, королеве нынешней. Невзрачная бледная девица, рта не раскроет, на мужчин смотрит испуганно. Она в белом платье узорчатого атласа, расшитом мелкими гвозди2ками, и жемчугах. Семья раскошелилась: даже если не считать жемчугов, наряд обошелся не меньше чем в тридцать фунтов. Немудрено, что она ступает опасливо, словно ребенок, которому велели не замарать платье.

Король говорит, беря ее мышиную лапку в свою ручищу:

— Джейн, надеюсь, дома у родных ты не будешь такой пугливой? При дворе мы от нее и слова не могли добиться.

Джейн смотрит на Генриха снизу вверх, краснеет до корней волос.

— Видали, чтобы кто-нибудь так краснел? — спрашивает Генрих. — Кроме двенадцатилетних девчушек?

— Мне не двенадцать, — отвечает Джейн.

За ужином король сидит рядом с леди Марджери, хозяйкой дома. Она в молодые годы была красавицей, а по галантному вниманию короля можно вообразить, что она красавица и сейчас. Леди Марджери родила десятерых, из них шестеро живы, трое сидят за этим столом. Эдвард Сеймур, наследник, очень хорош собой: длинное лицо, серьезные глаза, четкий выразительный профиль. Он начитан, за любое дело берется с умом и рвением, воевал, а теперь, пока нет войны, исправно отдает силы турнирам и охоте. Кардинал в свое время выделял Эдварда из других Сеймуров, да и сам он, Томас Кромвель, согласен, что королю такие люди нужны. Том Сеймур, младший брат, шумливее, прытче, больше нравится женщинам — когда входит в комнату, девушки хихикают, а юные матроны опускают взгляд и смотрят из-под ресниц.

Старый сэр Джон — семьянин с изрядно подмоченной репутацией. Два-три года назад при дворе только и говорили, что он сношает жену старшего сына — и ладно бы один раз, в пылу страсти, так

нет, постоянно, со дня замужества. Королева и ее доверенные фрейлины трубили о скандальной связи направо и налево. «Мы сосчитали, что у них это было сто двадцать раз, — со смехом говорила Анна. — По воскресеньям они воздерживались как добрые христиане, а Великим постом немного умеряли пыл». Жена-прелюбодейка родила Эдварду двух мальчиков; когда тайна выплыла на свет, тот сказал, что не может признать наследниками то ли сыновей, то ли единокровных братьев. Преступницу заперли в монастырь, где она вскоре благополучно скончалась. Теперь у Эдварда новая жена, которая держится с мужчинами холодно и не расстается с кинжалом на случай, если свекор подойдет чересчур близко.

Но все забыто, все прощено. Плоть немощна. Визит короля означает, что сэр Джон больше не в опале. У старика тысяча триста акров земли, включая охотничий парк, почти вся она превращена в пастбища для овец и приносит в год по три шиллинга с акра — на двадцать пять процентов больше, чем если бы здесь по-прежнему были пашни. Овцы мелкие, черномордые, помесь английской породы с валлийской горной, мясо у них жесткое, но шерсть неплохая. По приезде король любопытствует: «Кромвель, на сколько

потянет эта овца?», и он, только глянув, дает ответ: «Тридцать фунтов, сир».

Фрэнсис Уэстон, юный придворный, хмыкает:

— Мастеру Кромвелю ли не знать! Он ведь когда-то был стригалем.

Король отвечает:

— Без торговли шерстью мы бы жили беднее. Что мастер Кромвель знает ее досконально — его достоинство, не изъян.

Фрэнсис Уэстон только усмехается тайком.

Завтра Джейн Сеймур поедет охотиться с государем.

— Я думал, будут только джентльмены, — слышит он шепот Уэстона. — Королева, если узнает, рассердится.

— Вот и будь умником, — тихо говорит он, — постарайся, чтобы она не узнала.

— Мы в Вулфхолле все охотники, каких поискать, — бахвалится сэр Джон, — и мои дочери тоже. Вы думаете, Джейн робкая, но в седле она — Диана. Я не мучил моих девочек науками, всё, что нужно, им преподал сэр Джеймс.

Священник в дальнем конце стола кивает: старый дуралей, седенький, глаза мутные.

Он, Кромвель, поворачивается к священнику:

— И танцам тоже вы их учили, сэр Джеймс?

Примите мое восхищение! Я видел, как сестра Джейн, Элизабет, танцевала при дворе в паре с королем.

— Для этого у девочек был учитель, — хихикает старый Сеймур. — Учитель танцев, учитель музыки, и довольно с них. Иностранные языки им ни к чему — все равно никуда не поедут.

— Я не разделяю такой взгляд. Мои дочери учились вместе с сыном.

Иногда он говорит о них, об Энн и Грейс, умерших семь лет назад.

Том Сеймур смеется:

— Так они и на турнирном лугу упражнялись вместе с Грегори и юным мастером Сэдлером?

— За исключением этого, — улыбается он.

Эдвард Сеймур говорит:

— Многие зажиточные горожане учат дочерей грамоте и счету, чтобы они могли помогать в конторе. Я слышал, так их легче выдать в хорошую купеческую семью.

— Вообразите дочерей мастера Кромвеля, — говорит Уэстон. — Я не рискну. Думаю, они бы не усидели в конторе, зато мясницким топором бы орудовали — ого-го. От одного их вида у мужчин бы подгибались колени — и не из-за вспыхнувшей любви.

Грегори ерзает на стуле. Мальчик все время в своих мечтаниях, и не подумаешь, что слушает разговор, но сейчас голос Грегори дрожит от обиды:

— Вы оскорбляете память моих сестер, сударь, которых даже не видели. Моя сестра Грейс…

Джейн Сеймур кладет тонкие пальцы на запястье Грегори; чтобы его спасти, она отважилась привлечь к себе внимание общества:

— Я последнее время немного учила французский.

— Да неужели? — улыбается Том Сеймур.

— Меня учила Мэри Шелтон.

— Мэри Шелтон — добрая душа, — замечает король.

Он краем глаза видит, как Уэстон толкает локтем соседа. При дворе сплетничают, что Мэри Шелтон добра с королем в постели.

— Понимаете, — говорит Джейн братьям, — мы не всё время проводим за пустой болтовней и сплетнями. Хотя, видит Бог, наших пересудов хватило бы на целый город женщин.

— О чем же вы судачите? — спрашивает он, Кромвель.

— Мы обсуждаем, кто влюблен в королеву. Кто пишет ей стихи. — Джейн опускает глаза. — Я

хочу сказать, кто влюблен в каждую из нас. Тот джентльмен или этот. Мы знаем наших поклонников и разбираем их по косточкам так, что они бы покраснели, если б услышали. Мы выспрашиваем, сколько у них акров и каков доход, а потом решаем, что позволим им написать нам сонет. Если поклонник недостаточно для нас богат, мы высмеиваем его стихи. Мы очень жестокие.

Он говорит, чуть настороженно, не беда, если мужчина пишет дамам стихи, даже замужним, при дворе так принято. Уэстон отвечает, спасибо на добром слове, мастер Кромвель, мы думали, вы потребуете, чтобы мы перестали.

Том Сеймур подается вперед, говорит со смехом:

— А кто твои поклонники, Джейн?

— Если хочешь узнать, ты должен надеть платье, взять вышивку и сесть с нами.

— Как Ахиллес среди женщин. Придется вам сбрить свою красивую бороду, Сеймур, и выведать их маленькие нескромные секреты. — Король смеется невеселым смехом. — Если мы не найдем кого-нибудь посвежее. Грегори, ты у нас красавчик, да боюсь, большие руки тебя выдадут.

— Внук кузнеца, — вставляет Уэстон.

— Музыкант Марк, знаете такого? — говорит

король. — Вот у кого девичья внешность.

— Марк и без того всегда с нами, — отвечает Джейн. — Мы его и за мужчину-то не считаем. Если хотите узнать наши секреты, спросите Марка.

Беседа уходит в какую-то другую сторону. Он думает, Джейн никогда не бывала так разговорчива. Думает, Уэстон меня задирает, пользуясь безнаказанностью в присутствии короля. Думает, как отомстить. Рейф Сэдлер смотрит на него искоса.

— Итак, чем завтрашний день будет лучше сегодняшнего? — спрашивает его король и объясняет собравшимся: — Мастер Кромвель есть-пить не может, если чего-нибудь не улучшает.

— Для начала я займусь шляпой вашего величества — надо улучшить ее поведение. И те облака, до полудня…

— Дождичек нас остудил.

— Дай Бог вашему величеству никогда не вымокать сильнее, — говорит Эдвард Сеймур.

Генрих трет обгорелый лоб.

— Кардинал верил, что может менять погоду. Утро неплохое, говаривал он, но к десяти станет еще лучше. И становилось.

Генрих иногда поминает к случаю Вулси, будто не сам, а какой-то другой монарх затравил карди-

нала до смерти.

— У некоторых чутье на погоду, — говорит Том Сеймур. — Вот и все. Это не привилегия кардиналов.

Генрих с улыбкой кивает:

— Верно, Том. Незачем мне было так его чтить, да?

— Для подданного он был слишком заносчив, — говорит старый сэр Джон.

Король смотрит на него, на Томаса Кромвеля. Он любил кардинала, здесь все это знают. Его лицо начисто лишено какого бы то ни было выражения, будто свежевыбеленная стена.

После ужина старый сэр Джон рассказывает об Эдгаре Миролюбивом, правившем в этих краях много веков назад, до того как королей стали нумеровать. В ту пору все девы были прекрасны, рыцари — отважны, а жизнь — проста и, как правило, коротка. Эдгар пленился некой девушкой и отправил одного из своих графов взглянуть, правда ли она так хороша лицом, как уверяют. Коварный сват написал королю, будто девица кривая и хромая, а живописцы и поэты лгут. В действительности же красавица приглянулась ему самому, так что он немедля ее обольстил и повел под венец. Эдгар, узнав о предательстве

графа, подстерег того в роще неподалеку отсюда и убил одним ударом копья.

— Каким же низким обманщиком оказался тот граф, — говорит король. — Поделом ему!

— Не сват, а свинья! — хохочет Том Сеймур.

Другой брат вздыхает, показывая, что не одобряет таких слов.

— А что сказала дама, узнав о гибели мужа? — спрашивает он, Кромвель.

— Дама вышла за Эдгара, — отвечает сэр Джон. — Они поженились в зеленом лесу и жили долго и счастливо.

— Что ей еще оставалось? — вздыхает леди Марджери. — Женщины должны покоряться судьбе.

— А в народе говорят, — добавляет сэр Джон, — что коварный граф все еще бродит по лесам, стонет и силится вытащить из живота копье.

— Только представить, — говорит Джейн Сеймур. — Лунной ночью выглянешь в окошко и увидишь, как он тянет за древко и сетует. Хорошо, что я не верю в привидений.

— А зря, сестрица, — отвечает Том Сеймур. — Вот как они к тебе подкрадутся и схватят!

— И все же… — Генрих делает движение, будто бросает копье — правда, за столом как следует не размахнешься. — Одним ударом. Видать, слав-

ный был копейщик, этот король Эдгар.

Он говорит — он, Кромвель:

— Хотел бы я знать, записана эта история, и если да, то кем, и был ли тот человек под присягой.

— Кромвель заставил бы графа ответить перед судом присяжных, — с улыбкой произносит король.

— Бог с вами, ваше величество, — смеется сэр Джон, — тогда и присяжных-то не было.

— Кромвель бы нашел. — Юный Уэстон подается вперед, чтобы прозвучало весомее. — Он бы выкопал присяжных из-под земли, и уж они бы признали графа виновным, отправили его на плаху. Говорят, когда судили Томаса Мора, наш королевский секретарь вошел с присяжными в комнату для совещаний, а когда они сели, притворил за собой дверь и объявил закон. «Позвольте избавить вас от сомнений, — были его слова. — Ваше дело признать сэра Томаса виновным, и пока не объявите этот вердикт, обеда не получите». Потом он вышел, снова закрыл дверь и встал перед ней с топором, на случай если присяжные станут прорываться на поиски вареного пудинга. Как истые лондонцы, те больше всего пеклись о своем брюхе и, как только услышали его бурчание, завопили: “Виновен! Виновнее не бывает!”»

Все смотрят на него, на Кромвеля. Рейф Сэдлер говорит хрипло:

— История красивая, но теперь я, в свой черед, спрошу: где она записана? Уверяю вас, мой господин всегда честен в судейских делах.

— Вас там не было, — отвечает Уэстон, — а я эту историю слышал от одного из присяжных. Они кричали: «Скорей, скорей, уведите предателя, а нам подайте баранью ногу!» И Томаса Мора увели на казнь.

— Вы так говорите, будто жалеете, — замечает Рейф.

— Я? Ничуть! — Уэстон вскидывает руки. — Королева Анна говорила, пусть смерть Мора послужит уроком другим предателям. Как бы велики ни были заслуги, как бы ни завуалирована измена, Томас Кромвель выведет злодеев на чистую воду.

Одобрительный гул; такое чувство, что сейчас собравшиеся устроят Кромвелю овацию. Тут леди Марджери подносит палец к губам и указывает глазами на короля во главе стола. Генрих начал заваливаться вправо, опущенные веки подрагивают, дыхание мерно и глубоко.

Сидящие обмениваются улыбками.

— Опьянел от свежего воздуха, — шепчет Том

Сеймур.

От воздуха пьянеть не зазорно, иное дело от вина: нынче король требует кувшин с хмельным напитком куда чаще, чем в прежние дни, когда был молод и строен. Он, Кромвель, смотрит, как Генрих наклоняется в кресле. Сперва вперед, словно хочет лечь головой на стол, потом вздрагивает, выпрямляется рывком. По бороде тонкой струйкой течет слюна.

Эх, нет здесь Гарри Норриса, главного из королевских джентльменов — вот кто сумел бы неслышной походкой приблизиться к государю, разбудить того легким касанием, тихой речью. Увы, Гарри уехал к Анне с любовным письмом от Генриха. Так кто же? Король не похож на усталого ребенка, как был бы похож лет пять назад. Видно, что это немолодой человек, сомлевший от обильной трапезы, лицо обрюзгшее, жилки кое-где полопались, и даже при свечах в редеющих волосах отчетливо различается седина. Он, Кромвель, кивает юному Уэстону.

— Фрэнсис, необходимо ваше джентльменское вмешательство.

Уэстон, притворяясь, будто не слышит, смотрит на короля: во взгляде — неприкрытое отвращение. Том Сеймур шепчет:

— Думаю, надо поднять шум. Чтобы он сам проснулся.

— Какой шум? — одними губами спрашивает Эдвард.

Том изображает, что держится за бока.

Эдвард вскидывает брови:

— Смейся, если тебе хватит духу. Он решит, ты смеешься, что он пустил слюни.

Король начинает храпеть. Заваливается влево, опасно нависает над подлокотником.

Уэстон говорит:

— Давайте вы, Кромвель. Вы из нас самый большой человек.

Он с улыбкой мотает головой.

— Наш король, храни его Господь, не молодеет, — важно произносит старый сэр Джон.

Джейн встает. Шелест плотно расшитого атласа. Склоняется над королевским креслом, трогает руку Генриха — быстро, в одно касание. Король резко садится, хлопает глазами.

— Я не спал. Просто прикрыл веки.

Когда король уходит спать, Эдвард Сеймур говорит:

— Мастер Кромвель, сегодня я с вами поквитаюсь.

Откинувшись в кресле, с кубком в руке:

— Чем я вам досадил?

— Шахматная партия. Кале. Знаю, вы помните.

Поздняя осень 1532 года. День, когда король впервые лег с королевой. Прежде чем отдаться Генриху, Анна стребовала клятву, что тот на ней женится сразу по возвращении в Англию. Однако шторма задержали корабли в Кале, и король не терял времени даром, стараясь заделать ей наследника.

— Вы поставили мне мат, мастер Кромвель, — говорит Эдвард, — но лишь потому, что сумели меня отвлечь.

— Чем же?

— Спросили про мою сестру Джейн. Сколько ей лет и все такое.

— Вы решили, я к ней приглядываюсь?

— А это правда? — Эдвард улыбается, чтобы смягчить грубоватый вопрос. — Между прочим, она еще не просватана.

— Ставьте фигуры, — говорит он. — Начнем с того хода, на котором вы отвлеклись?

Эдвард тщательно не выказывает удивления. О памяти Кромвеля ходят невероятные слухи. Он улыбается про себя, зная, что сумел бы правдоподобно расставить фигуры: ему известно, как играют люди с таким складом характера.

Говорит:

— Начнем по новой. Мир не стоит на месте. Итальянские правила вас устроят? Не люблю, когда партия растягивается на неделю.

Сеймур начинает довольно смело, но уже через несколько ходов, зажав в пальцах белую пешку, откидывается на спинку кресла и заводит речь о блаженном Августине. От блаженного Августина переходит к Мартину Лютеру.

— Это учение вселяет в меня страх. Будто Господь сотворил нас на погибель. Что Его бедные создания, за исключением единиц, рождаются на муки в земной жизни и в вечной. Иногда мне страшно, что Лютер прав, и все же я надеюсь, что нет.

— Толстый Мартин смягчил свои взгляды. По крайней мере так говорят.

— Что, из тысячи спасутся двое, а не один? Или наши добрые дела не вполне бесполезны в очах Божьих?

— Не стану говорить от его имени. Почитайте Филиппа Меланхтона, я пришлю вам его новую книгу. Надеюсь, он посетит нас в Англии. Мы ведем переговоры с его окружением.

Эдвард прижимает головку пешки ко рту, словно хочет постучать ею по зубам.

— Неужто король позволит?

— Брата Мартина король в Англию не пустит — даже имени его слышать не желает. Филипп помягче, а нам полезно, очень полезно заключить союз с теми из немецких князей, кто любит слово Божие. Императору в острастку.

— А что это для вас? — Конь Эдварда скачет по квадратам. — Дипломатия?

— Я всецело за дипломатию. Она дешевле войны.

— А говорят, что вы и сами любите слово Божие.

— Это не тайна. — Он хмурится. — Вы хорошо подумали, Эдвард? У вас королева под ударом. Я не хотел бы еще раз услышать, что сбил вас с мыслей разговорами о спасении вашей души.

Эдвард криво улыбается:

— А как сейчас ваша королева?

— Анна? Она на меня серчает. Как глянет в мою сторону, чувствую — голова шатается на плечах. Королеве насплетничали, что я раз-другой благожелательно отозвался о Екатерине, нашей бывшей королеве.

— Это правда?

— Я всего лишь восхищался твердостью ее духа, которую никто отрицать не может. И опять-таки

королева считает, будто я излишне расположен к принцессе Марии. Я хотел сказать, к леди Марии, как мы теперь должны ее называть. Король по-прежнему любит старшую дочь, говорит, ничего не может с собой поделать, Анна же хочет, чтоб король признавал только одну дочь — Елизавету. Она думает, мы чересчур мягки с леди Марией. Та-де должна признать себя внебрачным ребенком.

Эдвард крутит белую пешку в пальцах, оглядывает ее с сомнением, ставит на место.

— А разве еще не признала? Я был уверен, что вы ее давно заставили.

— Мы сочли, что лучший способ решить этот вопрос — закрыть на него глаза. Она знает, что не унаследует трон, и, по-моему, не стоит давить на нее дальше. Поскольку император — племянник Екатерины и кузен леди Марии, я стараюсь его не злить. Карл держит нас за глотку, понимаете? Анна же не понимает, что людей надо улещивать. Думает, вполне довольно, что она нежна с Генрихом.

— А вы должны быть нежны с Европой.

Смех у Эдварда скрипучий, глаза говорят: вы очень со мной откровенны, мастер Кромвель; почему?

— К тому же… — Его пальцы зависают над чер-

ным конем. — На взгляд королевы, я слишком возвысился. Король сделал меня своим викарием по делам церкви, Анна же хочет, чтобы к уху Генриха имели доступ только она сама, ее брат, монсеньер ее отец — и даже отцу от нее достается. Она называет его трусом, который даром теряет время.

— И он терпит? — Эдвард смотрит на доску. — Ой.

— А теперь смотрите внимательно. Желаете доиграть до конца?

— Наверное, я сдамся. — Вздох. — Да. Я сдаюсь.

Он, Кромвель, смахивает с доски фигуры, подавляет зевок.

— И заметьте, я ни разу не упомянул вашу сестру Джейн. Так чем вы оправдаетесь на сей раз?

Поднимаясь в спальню, он видит, что Рейф с Грегори скачут перед большим окном, подпрыгивают и возят подошвами, глядя на что-то незримое у себя под ногами. Сперва он думает, они играют в мяч без мяча, затем, приглядевшись, понимает: они топчут что-то длинное и тонкое. Лежащего человека. Давят каблуками, с разворотом, чтоб побольнее.

— Полегче, — говорит Грегори. — Не сломай ему шею. Пусть прежде хорошенько помучается.

Рейф поднимает голову, картинно утирает пот. Грегори упирается руками в колени, переводит дух, трогает жертву башмаком.

— Это Фрэнсис Уэстон. Все думают, он укладывает короля в постель, а на самом деле он здесь у нас. В призрачной форме. Мы подкараулили его и поймали в волшебную сеть.

— Мы его наказываем. — Рейф наклоняется. — Эй, сэр, теперь жалеете о своих словах? — Плюет на ладони. — Что дальше с ним делать будем, а, Грегори?

— Выбросим в окошко.

— Осторожно, — говорит он. — Король любит Уэстона.

— Значит, будет любить и с расплющенной головой, — говорит Рейф.

Они с Грегори, отталкивая друг друга, принимаются месить Уэстона ногами. Рейф открывает окно, оба нагибаются, хватают невидимое тело и взваливают на подоконник. Фантомная одежда цепляется, Грегори налегает посильнее, призрачный Уэстон головой вниз летит на камни под окном. Мальчишки провожают его глазами.

— Отскочил, как мяч, — замечает Рейф.

Оба отряхивают ладони, улыбаются.

— Доброй ночи, сэр, — говорит Рейф.

Позже Грегори сидит в изножье его кровати — встрепанный, в одной рубашке, возит босой ногой по ковру.

— Так, значит, ты женишь меня на Джейн Сеймур?

— В начале лета ты думал, что я женю тебя на вдовице с оленьим парком.

Грегори все поддразнивают — Рейф Сэдлер, Томас Ризли, другие юноши в доме. Кузен Ричард Кромвель.

— Да, но о чем вы беседовали с ее братом последний час? Сперва играли в шахматы, а потом говорили, говорили, говорили. Болтают, что тебе самому она нравилась.

— Когда?

— В прошлом году. Она тебе в прошлом году нравилась.

— Если и так, я давно забыл.

— Мне сказала жена Джорджа Болейна. Леди Рочфорд. Сказала, у тебя, наверное, будет мачеха из Вулфхолла. — Грегори хмурится. — Если Джейн нравится тебе самому, лучше меня на ней не женить.

— Думаешь, я соблазню твою молодую жену? Как сэр Джон?

Он кладет голову на подушку, говорит: «Уй-

мись, Грегори». Закрывает глаза. Грегори славный мальчик, хотя все латинские глаголы, которым его учили, все звучные строки великих авторов влетели в одно ухо и вылетели из другого. Впрочем, если вспомнить юного Джона Мора — сын человека, прославленного на всю Европу своей ученостью, не может без запинки повторить «Отче наш». Грегори метко стреляет из лука, прекрасно сидит в седле, блещет на турнирной арене, у него безукоризненные манеры. Он почтительно говорит со старшими, не шаркает, не переминается с ноги на ногу, учтив и мягок с нижестоящими. Не шляется расхристанный, не засматривается на свое отражение в окнах, не вертит головой в церкви, не перебивает стариков, не заканчивает за них сто раз слышанные истории. Если кто-нибудь чихнет, говорит «будьте здоровы».

Будьте здоровы, сэр или мадам.

Грегори вскидывает голову:

— Томас Мор. Присяжные. Это правда так было?

Уэстон не сильно преувеличил — разве что в деталях. Он, Кромвель, говорит:

— У меня не было топора.

Он устал, он говорит с Богом: «Направь меня».

Иногда в такие мгновения между бодрствованием и сном перед ним мелькает кардинал — огромный, в алой сутане. Если бы покойник предсказывал будущее! Но нет, старый патрон говорит только о мелочах — домашних, конторских. Куда я задевал письмо от герцога Норфолка? — спрашивает он кардинала; на следующий день, рано утром, письмо находится.

Он говорит мысленно: не с Вулси, с женой Джорджа Болейна. «Я не собираюсь жениться. Мне некогда. Я был счастлив с женой, но Лиз умерла, и с ней умерла эта часть моей жизни. Кто, скажите на милость, дал вам право рассуждать о моих намерениях? Мадам, у меня нет времени на ухаживания. Мне пятьдесят. В мои годы только глупец заключает долговременные контракты. Если мне нужна женщина, проще нанять ее на час».

Однако он старается не говорить «в мои годы», по крайней мере когда бодрствует. В хорошие дни он надеется, что протянет еще лет двадцать. Часто думает, что проводит Генриха в последний путь, хотя, строго говоря, это преступление: есть закон, запрещающий рассуждать о сроке монаршей жизни. Впрочем, Генрих только и знает, что искать опасных приключений на свою голову.

Было несколько неприятных случаев на охоте. Еще принцем, несмотря на запрет участвовать в турнирах, он выезжал на арену со щитом без герба, в шлеме, скрывающем лицо, и доказывал раз за разом, что ему нет равных. С французами бился доблестно и, как любит говорить, воинственен по природе; наверняка бы остался в истории Генрихом Отважным, если бы Томас Кромвель разрешил ему воевать. Однако Томас Кромвель считает войну непозволительной роскошью, и не только из-за денег: что будет с Англией, если Генриха убьют? Король прожил с Екатериной двадцать лет, осенью будет три года его браку с Анной. Весь итог — по дочери от обеих и целое кладбище младенцев: выкидышей, крещенных в крови, и доношенных, умерших в первый же день, неделю, месяц после рождения. Вся смута, связанная с разводом, была напрасна. У Генриха по-прежнему нет сына-наследника. Есть бастард, Гарри герцог Ричмонд, славный юноша шестнадцати лет, но что проку от бастарда? Что проку от ребенка Анны, двухлетней Елизаветы? Можно принять особые законы, по которым (если, не дай Бог, Англия осиротеет) трон перейдет к Ричмонду. У Томаса Кромвеля прекрасные отношения с юным герцогом, но династия еще слишком моло-

да, для нее это чрезмерный риск. Плантагенеты некогда правили страной и мечтают вернуться вновь, для них Тюдоры — самозванцы. Древние английские семейства готовы в любую минуту заявить права на престол, особенно теперь, когда Генрих порвал с Римом. Внешне они склонились перед Тюдором, но втайне продолжают плести заговоры. Он, Кромвель, почти слышит, как они перешептываются за деревьями.

В здешних лесах вы можете отыскать себе невесту, сказал старый Джон Сеймур. Стоит закрыть глаза, и она мелькает тенью, в одеянии из паутины, в каплях ночной росы. Босые ноги опутаны корнями, волосы-перья колышутся меж ветвей; она манит пальцем — скрученным листом. Указывает на него, засыпающего. Внутренний голос глумится над ним: ты думал, что отдохнешь в Вулфхолле. Думал, не будет ничего, кроме обычных дел, войны и мира, голода и предательских интриг, народного ропота, недорода, морового поветрия в Лондоне и короля, проигрывающего в карты свою рубашку. К этому всему ты был готов.

На краю внутреннего зрения, за прикрытыми веками, что-то возникает. Оно проступит с утренним светом: нечто дышащее, подвижное,

неразличимое пока в роще или в купе дерев.

Прежде чем окончательно заснуть, он воображает шляпу короля, райской птицей прикорнувшую на темных ветвях.

На следующий день, чтобы не утомлять дам, с охоты возвращаются рано.

Для него это удачный случай снять охотничье платье и засесть за депеши. Он надеялся, что король соблаговолит выслушать хотя бы главные из скопившихся дел, но Генрих говорит:

— Леди Джейн, вы прогуляетесь со мной по саду?

Она тут же вскакивает, хмурится непонимающе. Губы шевелятся, словно мистрис Сеймур повторяет про себя слова короля: Джейн… со мной… по саду?

О да, конечно, почту за честь. Ее рука, нежный лепесток, трепещет над рукавом Генриха, затем ложится на вышивку.

В Вулфхолле три сада. Они называются Большой сад, Сад старой госпожи и Сад молодой госпожи. Никто не смог ответить на вопрос, что это были за госпожи; и старая, и молодая умерли давным-давно, разница между ними стерлась. Он вспоминает свой сон: невеста из палой листвы, невеста из мха.

Он читает. Пишет. Что-то настойчиво скребет в голове, требует внимания. Он встает, смотрит из окна на садовые дорожки. Переплет частый, стеклышки кривые, приходится крутить головой, пока хоть что-нибудь различишь. Он думает: я могу прислать Сеймурам своего мастера, пусть посмотрят на незамутненный мир. У него работает целая артель голландских стекольщиков. Прежде они служили у кардинала.

Внизу прогуливаются Генрих и Джейн. Генрих огромный, Джейн похожа на марионетку, ее голова не достает королю до плеча. Генрих, высокий, широкоплечий, сразу привлекает к себе все взгляды — и привлекал бы, даже не сделай его Господь своим помазанником.

Сейчас Джейн за кустом. Генрих кивает ей, что-то говорит, в чем-то убеждает. А он, Кромвель, смотрит, чешет подбородок, думает: вроде бы у короля голова стала больше. Возможно ли это в таком возрасте?

Ганс заметил бы, надо его спросить, когда вернемся в Лондон. Скорее всего мне померещилось, возможно, из-за кривого стекла.

Небо затянулось тучами. В стекло бьет тяжелая капля. Он моргает. Капля растекается, сбегает по окну струйкой. Джейн снова видно. Король

положил могучую лапищу на ее руку, прижимает к своему локтю. Губы короля по-прежнему шевелятся.

Он возвращается за стол. Читает, что строители укреплений в Кале бросили инструменты и требуют шесть пенсов в день. Что его новый плащ зеленого бархата отправят в Уилтшир со следующим гонцом. Что кардинал Медичи отравлен собственным братом. Зевает. Что на острове Танет скупщики взвинтили цену на зерно. Он бы предпочел повесить скупщиков, но им покровительствует местный аристократишка, который рассчитывает нажиться на голоде, так что действовать надо осторожно. Два года назад в Саутуорке семерых лондонцев задавили в драке из-за хлеба. Позор для Англии, что королевские подданные голодают. Он берет перо, делает пометку.

Очень скоро — дом небольшой, все звуки слышны — внизу отворяется дверь, раздается голос короля и тихий озабоченный гул… промочили ноги, ваше величество? Тяжелая поступь короля, а вот Джейн куда-то бесшумно ускользнула. Наверняка ее утащили к себе мать и сестры — узнать, что говорил король.

Генрих входит. Он отодвигает стул, встает,

поворачивается к двери. Генрих машет рукой — работайте, мол.

— Ваше величество, московиты захватили триста миль Польши. Пишут о пятидесяти тысячах убитых.

— О? — говорит король.

— Надеюсь, они пощадили библиотеки. Ученых. В Польше замечательные ученые.

— Мда? Что ж, я тоже надеюсь.

Он возвращается к депешам. В Лондоне чума… король вечно боится подхватить заразу. Иноземные правители спрашивают в письмах, правда ли, что Генрих собирается отрубить голову всем своим епископам. Разумеется, нет, у нас теперь превосходные епископы, все согласны с желаниями короля, все признали Генриха главой английской церкви, и вообще, что за невежливый вопрос? Как можно ставить под сомнение праведность королевского суда? Да, епископ Фишер казнен, и Томас Мор тоже, но эти двое сами вынудили доброго короля пойти на крайние меры; если бы они не упорствовали в своих изменнических взглядах, то были бы сейчас живы, как вы и я.

С июля он написал множество таких писем. Получалось не очень убедительно, даже для

него самого. Он чувствует, что повторяет доводы вместо того, чтобы их развивать. Нужны новые фразы… Генрих ходит по комнате у него за спиной.

— Ваше величество, императорский посол Шапюи испрашивает дозволения посетить вашу дочь леди Марию.

— Нет, — отвечает Генрих.

Он пишет Шапюи: «Запаситесь терпением, я вернусь в Лондон и все устрою».

Ни слова от короля, только шаги, дыхание, скрип буфета, на который Генрих оперся локтем.

— Ваше величество, пишут, что лорд-мэр Лондона почти не выходит из дома, так его замучила мигрень.

— Ммм?

— Ему делают кровопускания. Что ваше величество об этом думает?

Пауза. Генрих смотрит рассеянно.

— Кровопускания? От какой болезни, простите?

Странно. Генрих боится чумы, но всегда с удовольствием слушает про чужие мелкие хвори. Скажи, что у тебя кашель или болит живот, король собственными руками составит микстуру и будет стоять рядом, пока ты ее пьешь.

Он откладывает перо. Поворачивается, заглядывает монарху в глаза. Очевидно, Генрих мыслями все еще в саду. Такое выражение, как сейчас у короля, он, Кромвель, видел раньше. Правда, не у людей. Генрих выглядит как телок, которого мясник ударил по голове.

Это их последняя ночь в Вулфхолле. Он спускается в парадную гостиную очень рано, с охапкой бумаг. В млечном свете застыло бледное видение: Джейн Сеймур в плотно расшитом атласном платье. Она не поворачивается к вошедшему, но видит его уголком глаза.

Если он и питал к ней интерес, теперь все прошло. Месяцы проносятся мимо, словно осенние листья, уносимые в зиму. Лето позади. Дочь Томаса Мора сняла отцовскую голову с пики на Лондонском мосту. Наверное, положила на блюдо и молится на нее. Он иной человек, чем в прошлом году, и чувства того человека — не его чувства. У него новая жизнь, новые мысли, новые чувства. Джейн, говорит он, наконец-то вам позволят снять ваше лучшее платье — вы рады, что мы уезжаем?

Джейн смотрит прямо вперед, как часовой. За ночь небо расчистилось, день снова будет погожий. Утреннее солнце розовит поля. Туман-

ная дымка тает, очертания деревьев обретают подробности. Дом просыпается. Лошади, выведенные из конюшни, ржут и переступают на месте. Хлопает задняя дверь, на втором этаже скрипят половицы. Джейн как будто не дышит. Ее плоская грудь не вздымается. Ему хочется отступить в ночь, слиться с темнотой, оставить Джейн на ее посту.

II
Вороны

Лондон и Кимболтон, осень 1535 г.

Стивен Гардинер! Идет навстречу ему к монаршим покоям, под мышкой фолиант, свободная рука рубит воздух. Гардинер, епископ Винчестерский: налетел грозой, когда у нас в кои-то веки погожий день.

Стивен входит в комнату, и мебель бросается врассыпную. Стулья пятятся, табуретки приседают. Библейские фигуры на шпалерах зажимают руками уши.

При дворе его ждешь. Внутренне готов. Но здесь? Когда мы просто охотимся и якобы отдыхаем?

— Приятная неожиданность, милорд епископ. Рад лицезреть вас в таком добром здравии. Двор вскоре тронется в сторону Винчестера, и я не надеялся увидеть вас до тех пор.

— Я упредил вас ночным маршем, Кромвель.

— Так мы в состоянии войны?

Лицо епископа говорит: вы знаете, что да.

— Это вы отправили меня в ссылку.

— Я? Помилуйте, Стивен. Я каждый день о вас скучаю. И к тому же не в ссылку. Вас лишь временно удалили от двора.

Гардинер облизывает губы:

— Вы увидите, как я провел это время.

Когда Гардинер потерял место королевского секретаря, Кромвель (новый королевский секретарь) посоветовал епископу уехать в свою епархию, дабы не мозолить глаза королю и молодой королеве. «Милорд Винчестер, вам крайне желательно высказать обдуманное суждение о супрематии короля, просто чтобы исключить сомнения в вашей преданности. Твердое заявление, что его величество — глава английской церкви, и, если хорошенько подумать, так было всегда. Взвешенное мнение, изложенное со всей определенностью, что Папа — чужеземный правитель и не обладает властью в этой стране. Письменная проповедь или открытое письмо. Дабы развеять любые недоразумения касательно ваших взглядов. Дать пример другим церковникам, избавить посла Шапюи от нелепой мысли, будто вы подкуплены императором. Вашу декларацию должен услышать весь христианский мир. Кстати, почему бы вам не уехать в свою епархию и не написать книгу?»

И вот Гардинер здесь, похлопывает рукопись, словно треплет по щеке пухлого младенца.

— Королю понравится моя книга. Я назвал ее «Об истинном послушании».

— Вам стоит показать ее мне, прежде чем отдать печатнику.

— Король сам изложит вам ее содержание. Здесь говорится, почему клятвы, данные папскому престолу, недействительны, а наша присяга королю как главе церкви — истинна. Главный упор сделан на то, что Бог сам наделяет Своего помазанника властью.

— А не Папа.

— Ни в коем случае не Папа. Власть снисходит от Бога без всякого посредника, а не востекает от подданных к королю, как вы некогда утверждали.

— Я так говорил? Востекает? Трудно представить.

— Вы принесли королю книгу, где так утверждалось. Книгу Марсилия Падуанского, сорок две пропозиции. Король говорит, вы замучили его ими до головной боли.

— Мне следовало излагать короче, — улыбается он. — На практике, Стивен, не важно, исходит сверху, востекает снизу. «Где слово царя, там и

власть; и кто речет ему “что твориши”?»

— Генрих не деспот, — сухо отвечает Гардинер. — Я отвергаю всякую мысль, что его правление нелегитимно. Будь я королем, я бы хотел, чтобы моя власть была полностью законной, чтобы все ее признавали и твердо защищали от любых нападок. А вы?

— Будь я королем…

Он чуть не сказал: будь я королем, я бы вас дефенестрировал{1}.

Гардинер спрашивает:

— Почему вы смотрите в окно?

Он рассеянно улыбается:

— Любопытно, что сказал бы о вашей книге Томас Мор?

— О, ему бы она очень не понравилась, но мне плевать, — с жаром говорит епископ, — поскольку его мозг выклевали коршуны, а череп превратился в святые мощи, перед которыми дочь молится на коленях. Зачем вы разрешили ей забрать голову с Лондонского моста?

— Вы же знаете меня, Стивен. Доброта течет в моих жилах и по временам переливается через

{1} Примечания: 18

Дефенестрация — выбрасывание в окно; слово появилось во время Гуситских войн в Чехии, когда в 1419 году толпа радикальных протестантов выбросила в окна ратуши членов городского совета.

край. Давайте вернемся к вашей книге. Если вы так ею гордитесь, может, поживете в Винчестере еще какое-то время, поработаете над слогом?

Гардинер скалится:

— Вам самому следует написать книгу. Достойный выйдет труд — с вашей кухонной латынью и начатками греческого.

— Я буду писать на английском, — говорит он. — Прекрасный язык, годится для любой надобности. Идите, Стивен, не заставляйте короля ждать. Вы застанете его в отличном расположении духа. С ним сейчас Гарри Норрис. И Фрэнсис Уэстон.

— А, болтливый хлыщ. — Стивен делает движение, будто бьет кого-то по щеке. — Спасибо, что предупредили.

Ощутил ли фантомный Уэстон пощечину? Из комнаты Генриха доносится взрыв смеха.

После отъезда из Вулфхолла хорошая погода продержалась недолго. Не успели выехать из Севернейкского леса, как нас накрыло мокрым туманом. Дожди в Англии идут с небольшими перерывами уже лет десять. В этом году вновь будет недород. Ждут, что кварта{2} пшеницы подорожа-

---

{2} Примечания: 19

Кварта зерна — восемь бушелей, или 480 фунтов.

ет до двадцати шиллингов. Каково придется в эту зиму тем, кто зарабатывает пять-шесть пенсов в день? Спекулянты уже начали скупать зерно не только на острове Танет, но и в других графствах. Его люди тщательно за ними следят.

Кардинал удивлялся, что одни англичане ради наживы морят других голодом. На это он отвечал: «Я видел, как наемник-англичанин зарезал товарища, вытащил одеяло из-под бьющегося в судорогах тела, перерыл вещи и забрал вместе с деньгами образок».

— Так то наемный убийца, — возражал Вулси. — Эти люди забыли о спасении души. Но большинство англичан боятся Бога.

— Итальянцы думают иначе. Они говорят, дорога из Англии в ад утоптана, как камень, и все время идет под гору.

Каждый день он размышляет о загадке своих соплеменников. Да, он видел убийц, но видел и другое: как солдат отдал женщине хлеб, совершенно чужой женщине, и, пожав плечами, пошел дальше. Лучше не испытывать людей, не доводить их до крайности. Пусть живут в достатке, тогда и станут щедрыми. Сытый человек благодушен. Голод порождает чудовищ.

Когда, через несколько дней после разговора

с Гардинером, король добрался до Винчестера, в тамошнем соборе рукоположили новых епископов. «Мои епископы», называет их королева: евангелисты, реформаты, люди, которые уповают на Анну. Кто бы думал, что Хью Латимер станет епископом? Легче было предположить, что его сожгут в Смитфилде, что он кончит дни на костре, выкрикивая евангельские слова. С другой стороны, кто думал, что Томас Кромвель станет хоть кем-нибудь? Когда пал Вулси, казалось, что и он, слуга Вулси, уже не поднимется. Когда умерли его жена и дочери, он думал, что не переживет горя. Однако Генрих приблизил его к себе, и назначил своим советником, и сказал: «Вот вам, Кромвель, моя рука», освободил ему путь в тронную залу. В юности он вечно проталкивался локтями через толпу, чтобы пробиться в первые ряды. Теперь, когда Томас Кромвель идет по Вестминстеру или по любому из королевских дворцов, толпа расступается. С той поры как он стал советником, ему расчищают дорогу — сдвигают ящики и козлы, гонят прочь бродячих собак. Женщины умолкают, одергивают рукава, поправляют кольца — с тех пор как его поставили начальником судебных архивов. Кухонные помои, конторский сор, скамеечки для ног пинками отбрасывают в сторону,

сколько он служит королевским секретарем. И никто, кроме Стивена Гардинера, не поправляет его греческий нынче, когда он — ректор Кембриджского университета.

Лето в целом было для Генриха успешным: в Беркшире, Уилтшире и Сомерсете король проезжал перед народом, и жители (если не хлестал дождь) выстраивались вдоль дороги и радостно приветствовали государя. Да и кто бы не радовался? Всякий раз, видя Генриха, дивишься заново: грузный мужчина с бычьей шеей, лицо пухлое, глаза голубые, рот маленький и почти жеманный. Рост шесть футов три дюйма, и в каждом дюйме — царственность. Осанка, весь облик — величавы, ярость, проклятия, горючие слезы — устрашают. Но временами чело светлеет, Генрих садится рядом с тобой на скамью и заводит разговор, как брат. Как брат, если у кого есть брат. Или даже как отец, идеальный отец: ну что, сынок? Не слишком уработался? Пообедал уже? Что тебе снилось сегодня ночью?

Тут есть опасность: когда король ездит по стране, сидит за обычным столом на обычном стуле, его можно счесть обычным человеком. Однако Генрих не обычен. Пусть его волосы редеют, а брюхо растет, что с того? Император Карл,

глядя в зеркало на свою кривую физиономию и крючковатый нос, отдал бы провинцию за благообразие тюдоровского лица. Король Франциск, тощий, как жердь, заложил бы в ломбард дофина, если б мог купить себе плечи, как у короля Англии. Любыми их достоинствами он наделен двоекратно. Если они учены, он учен вдвойне. Если милостивы, он — сама милость. Если рыцарственны, он — лучший из рыцарей, когда-либо воспетых менестрелями.

И все равно в кабаках клянут за непогоду Генриха и Анну Болейн: полюбовницу, великую блудницу. Если король вернет свою законную жену Екатерину, дожди кончатся. И впрямь, кто усомнится, что жизнь в Англии станет куда лучше, если сельские дурачки и пьянчуги получат власть принимать решения за короля?

В Лондон едут медленно, чтобы к возвращению короля там не осталось и подозрения на чуму. В холодных часовнях, выстроенных на помин чьей-то души, под взглядами косоглазых мучениц король молится в одиночестве. Ему это не по душе. Он хочет знать, о чем молится король. Его старый покровитель, кардинал Вулси, уж как-нибудь бы разузнал.

Его отношения с королевой сейчас, на исхо-

де лета, осторожны, неустойчивы, исполнены недоверия. Анне Болейн тридцать четыре, она темноволоса и настолько изящна, что обычная миловидность кажется несущественным дополнением. Некогда гибкая, она сделалась угловатой. Глаза сохранили темный блеск, несколько поистертый, чуть более шероховатый. Они — ее главное оружие. Анна смотрит мужчине в лицо и тут же рассеянно отводит глаза. Короткая пауза — может быть, на один вдох. Затем медленно, словно против воли, Анна вновь задерживает взгляд на предмете, изучает его так, словно мужчина перед ней — единственный в мире. Как будто она видит его впервые и прикидывает все, что можно от него получить, все возможности, которые ему и в голову не приходили. Для жертвы мгновение длится целую вечность и заставляет мурашки бежать по коже. Хотя на самом деле трюк быстрый, дешевый, действенный и легко воспроизводимый, бедолаге мнится, будто его выделили из всех мужчин мира. Он ухмыляется. Приосанивается. Становится чуть выше. Чуть глупее.

Он видел, как Анна проделывает такое с лордом и простолюдином. С королем. Жертва чуть приоткрывает рот, и хлоп! — рыбка на крючке.

Это работает почти всегда; с ним не срабатывало ни разу. Видит Бог, он не равнодушен к женщинам, просто равнодушен к Анне Болейн. Ей досадно; ему следовало бы притвориться. Он сделал ее королевой, она его — сановником, но они постоянно напряжены, постоянно ждут, что другой выдаст себя мелкой оплошностью и тем ослабит свою оборону, как будто неискренность — их единственная защита. Однако Анне лицемерить труднее — ее настроения переменчивы, она скачет от смеха к слезам, маленькая резвушка, мужнина радость. Несколько раз за лето королева тайком улыбалась ему из-за королевского плеча или гримаской предупреждала, что Генрих не в духе. А по временам она нарочито его не замечает, отворачивается, скользит по нему взглядом, будто не видит.

Чтобы понять причину — если ее вообще можно понять, — нужно вернуться в прошлую весну, когда Томас Мор был еще жив. Анна пригласила его побеседовать о дипломатии. Она хотела заключить брачный контракт: просватать свою малолетнюю дочь за французского принца. Однако французы юлили. По правде сказать, они и сейчас не вполне признают Анну королевой, не уверены, что ее дочь — законная. Анна знает

причину их несговорчивости и почему-то вбила себе в голову, будто виноват он, Томас Кромвель. Она прямо заявила, что он вставляет ей палки в колеса, потому что не любит французов и не хочет заключать с ними союз. Разве он не отказался ехать на переговоры? Франция была готова принять посла, говорит Анна. И вас ждали, господин секретарь. А вы сказались больным, и пришлось ехать милорду, моему брату.

— И тот не смог ни о чем договориться. Очень жаль.

— Я вас знаю. Вы ведь никогда не болеете, кроме как по собственному желанию? Думаете, когда вы не при дворе, мы вас не видим, а напрасно. Мне доносят, что вы чересчур близки с императорским послом. Да, Шапюи — ваш сосед, но только ли поэтому ваши слуги с утра до вечера снуют из одного дома в другой?

Анна была тогда в нежно-розовом и бледно-сером. Казалось бы, свежие девичьи цвета должны радовать глаз, но ему виделись розовато-серые внутренности, требуха, кишки, вытащенные из живого тела; вторая партия упрямых монахов ждала отправки на Тайберн, где их вспорет и выпотрошит палач. Они изменники и заслужили смерть, но эта казнь превосходит другие в

жестокости. Жемчуга на тонкой шее Анны представлялись ему бусинками жира; в пылу спора она начинала их теребить, длинные пальцы с ноготками-ножичками приковывали его взгляд.

И все же, говорит он Шапюи, покуда я в милости у короля, королева мне не опасна. На нее находит, она бесится, королю это известно. Генрих когда-то тем и пленился, что Анна не похожа на мягких белокурых красавиц, добрых и покладистых, которые проходят через жизнь мужчины, не оставляя следа. Однако теперь при виде супруги король иногда сникает. Когда она закатывает очередной скандал, глаза у Генриха стекленеют, и не будь наш монарх такой джентльмен, надвигал бы шляпу на уши.

Нет, говорит он послу, меня тревожит не Анна, а те мужчины, которыми она себя окружила. Ее семья: отец, граф Уилтшир, любящий обращение «монсеньор», и брат — Джордж, лорд Рочфорд, один из джентльменов короля. Джордж из младшего поколения камергеров. Король любит друзей юности; кардинал время от времени проходился по ним метлой, но они просачивались назад, как жидкая грязь. Когда-то все они были удальцы, за четверть века поседели и облысели, одрябли и раздались, охромели либо лишились

нескольких пальцев на руках, но по-прежнему наглы, как сатрапы, и ума с годами не нажили. А теперь подрастают щенки из нового помета, Уэстон, Джордж Рочфорд и иже с ними. Генриху нравится держать при себе молодых, он думает, так и сам останется молод. Эти люди — старые и новые — с королем от пробуждения до сна: когда Генрих на стульчаке, когда чистит зубы и плюет в серебряный таз; они трут монарха полотенцами, зашнуровывают в дублет и шоссы, знают наперечет каждую его родинку и бородавку. Им открыты архипелаги его пота, когда Генрих возвращается с теннисного двора и сбрасывает рубашку. Они знают больше, чем нужно, столько же, сколько прачка и лейб-медик. Им известно, сколько раз в неделю король бывает у королевы в надежде ее обрюхатить и как по пятницам (когда христиане не сношаются) видит во сне фантомную женщину и оставляет пятна на простыне. За сведения они просят высокую плату: хотят встречных одолжений, хотят, чтобы на их безобразия закрывали глаза, считают себя особенными и хотят, чтобы ты это почувствовал. Он, Кромвель, умасливал и обхаживал этих людей, сколько служит у Генриха, искал подходы и предлагал компромиссы, но иногда, когда они по часу не пропускают его к ко-

ролю, им трудно сдержать ухмылки. Я слишком много уступал, думает он. Теперь пусть уступают они — или я их уберу.

Теперь по утрам зябко, толстобрюхие облака вприскочку бегут по небу за королем и его спутниками, пока те едут по Гемпширу. Дорожная пыль превратилась в грязь. Они — небольшой охотничий отряд — приближаются к Фарнхему, когда их останавливает гонец: в городе чума. Генрих, бесстрашный в бою, сейчас на глазах бледнеет и поворачивает коня. Куда ехать? Куда угодно, лишь бы не в Фарнхем.

Он подается вперед, снимает шляпу, обращается к королю:

— Мы можем заехать в Бейзинг-хауз раньше, чем обещали, давайте я отправлю кого-нибудь предупредить Уильяма Полета. Затем, чтобы не слишком его обременять, в Элветхем на день? Эдвард Сеймур там, если у него не хватит припасов, я их раздобуду.

Дав королю отъехать вперед, говорит Рейфу:

— Отправь человека в Вулфхолл. Вызови мистрис Джейн.

— Сюда?!

— Она умеет ездить верхом. Пусть старый Сеймур даст ей хорошую лошадь. Она должна быть в

Элветхеме к вечеру среды, потом будет поздно.

Рейф натягивает поводья, чтобы поворотить коня.

— Но, сэр. Сеймуры спросят, почему Джейн и почему срочно. И зачем нам ехать в Элветхем, если другие дома ближе. Уэстоны в Саттоне…

К чертям Уэстонов, думает он, Уэстоны в мои планы не входят.

— Скажи, пусть сделают это из любви ко мне.

Рейф определенно думает: «Значит, хозяин все-таки решил посватать Джейн. За себя или за Грегори?»

Он, Кромвель, увидел в Вулфхолле то, чего не заметил Рейф: тихая Джейн — вот кто грезится Генриху по ночам, бледная безмолвная Джейн в его постели. У мужчин бывают причуды — не беда, если Кромвель поможет королю осуществить эту. Генрих не распутник, у него было сравнительно мало любовниц. И не из тех, кто ненавидит женщину, которой попользовался. Будет писать ей стихи, а если вовремя подсказать, то и подарит ренту. Приблизит к себе ее родственников; после возвышения Анны Болейн многие семейства уверены, что высшее призвание англичанки — снискать любовь короля. Если все разыграть правильно, можно сделать Эдварда

Сеймура влиятельным человеком при дворе и заполучить союзника, а союзников нам сейчас очень не хватает. На данном этапе Эдварду нужен совет — у Кромвеля делового чутья куда больше. Он не позволит Джейн продаться задешево.

Но как поведет себя королева Анна, если Генрих сделает фавориткой придворную девицу, которую она высмеивала, называла плаксой и бледной немочью? Что противопоставит покорности и молчанию? Припадки ярости тут, очевидно, не помогут. Анна должна будет спросить себя, что в Джейн есть такого, чего нет у нее. Задуматься. А смотреть, как Анна думает, всегда приятно.

В Вулфхолле, когда королева туда добралась, она была с ним чрезвычайно мила: брала под руку, болтала по-французски о пустяках. Как будто не сказала несколько недель назад, что хотела бы отрубить ему голову, как будто то была самая невинная фраза. На охоте лучше держаться у королевы за спиной. Анна стреляет быстро, но не всегда метко. Этим летом попала из арбалета в корову. Генриху пришлось заплатить.

Впрочем, всё пустяки. Королевы приходят и уходят — так учит недавняя история. Давай-ка подумаем лучше, чем оплатить непомерные ко-

ролевские расходы. Где взять деньги на бедных и на судей, на то, чтобы уберечь Англию от врагов.

С прошлого года он точно знает ответ: раскошелиться должны монахи, эти бесполезные нахлебники. Отправляйтесь по аббатствам и монастырям во всех концах королевства, сказал он своим инспекторам, задайте там вопросы, которые получите от меня, общим числом восемьдесят шесть. Меньше говорите, больше слушайте, а выслушав, потребуйте счета. Поговорите с монахами и монахинями об их жизни и об уставе. Мне безразлично, считают они, что мы спасаемся только Христовой кровью или нашими добрыми делами отчасти тоже. Ладно, не безразлично, но прежде я хочу знать, каковы их доходы, ренты и земельные владения, а также, буде король как глава церкви пожелает вернуть себе свое достояние, каким образом это лучше осуществить.

Не ждите теплого приема, говорит он. Монахи постараются к вашему приезду спрятать доходы. Узнайте, какие у них есть мощи и местночтимые святыни, сколько пожертвований они собирают в год — ведь все эти деньги заработаны трудами суеверных паломников, которым лучше бы сидеть по домам. Дознайтесь, что они думают о

Екатерине, о леди Марии, как относятся к Папе, ведь если капитулы их орденов находятся вне нашего острова, разве они не обязаны большей верностью некой иноземной державе? Разъясните им, чем это чревато. Скажите, что мало на словах засвидетельствовать верность королю, пусть докажут ее на деле, а лучшее доказательство — их готовность облегчить вашу работу.

Инспекторы не посмеют его обманывать, но на всякий случай он посылает их по двое: один будет приглядывать за другим. Монастырские казначеи станут предлагать взятки, чтобы инспекторы в отчетах занизили их доходы.

Томас Мор, когда сидел в Тауэре, сказал ему:

— Что у вас на очереди, Кромвель? Вы собрались развалить всю Англию.

Он ответил:

— Не дай мне Бог дожить до того, что я начну не строить, а рушить. Невежды говорят, будто король уничтожает церковь. Нет. Он ее обновляет. Поверьте, страна станет лучше, когда очистится от ханжей и лжецов. Только вы, если не проявите больше учтивости к королю, этого не увидите.

И не увидел. Ему не жаль, что так вышло, обидно лишь, что Мор не внял логике. Он, Кромвель, составил клятву, в которой провозглашается

супрематия короля над церковью. Эта клятва — свидетельство верности. В жизни мало простого, но тут все просто. Если ты отказываешься принести клятву, значит, признаешь себя изменником, бунтовщиком. Мор отказался. Что тому оставалось, кроме как умереть? Кроме как дошлепать по-утиному до эшафота мокрым июльским днем, когда дождь лил без остановки и ненадолго перестал только под вечер, слишком поздно для Мора, который умер в хлюпающих башмаках, в чулках, заляпанных грязью до колен? Нельзя сказать, что он болезненно чувствует отсутствие Мора, просто иногда забывает, что того нет. Словно они беседовали, и разговор прервался, он говорит, а никто не отвечает. Как если бы они шли рядом и Мор провалился в яму — дорожную яму в человеческий рост, по края заполненную водой.

Такое бывает. Дороги разверзаются под ногами, люди гибнут. Англии нужны хорошие дороги, прочные мосты. Он готовит билль о бездомных: надо приставить их к работе, пусть строят дороги, порты, крепостные стены против императора и других охотников поживиться английским добром. Мы будем платить им, мы найдем деньги, если введем налог на доходы богачей, мы дадим этим людям кров, лекарей, пропитание.

Вся страна будет пользоваться плодами их трудов, а бедняки, получив работу, не сделаются сводниками, грабителями, карманниками. Да, их отцы были сводники, грабители, карманники, но это ничего не значит. Поглядите на него. Разве он — Уолтер Кромвель? За одно поколение все может измениться.

Что до монахов, он, как и Мартин Лютер, уверен: монашеская жизнь не нужна, не полезна, не предписана Христом. Монастыри — не часть естественного Божьего порядка, они возникают и умирают, как любые другие институции. Иногда рушатся их стены, иногда хозяйство чахнет по нерадению. Многие исчезли совсем, или переведены в другое место, или влились в более крупные монастыри. Число монахов убывает, поскольку теперь добрый христианин живет в миру. Возьмем Беттлское аббатство. Две сотни монахов в пору расцвета, а сколько теперь? От силы сорок. Сорок раскормленных толстяков сидят на груде сокровищ. И то же самое по всему королевству. Огромные богатства похоронены в сундуках, хотя могли бы с пользой обращаться среди королевских подданных.

Комиссионеры пишут письма, шлют монастырские манускрипты, где записаны сказки о духах

и проклятиях, призванные держать в страхе простой люд. Есть реликвии, которые вызывают и прекращают дождь, не дают расти сорнякам или лечат болезни скота, и монахи не одалживают их по-соседски, а предоставляют за плату: старые кости, щепки, гнутые гвозди. Он рассказывает королю и королеве, что2 его люди нашли в графстве Уилтшир.

— У монахов Мейден-Бредли есть лоскуты Господнего платья и объедки от Тайной вечери. Ветки, которые расцветают на Рождество.

— Последнее возможно, — благочестиво говорит король. — Вспомните терновник из Гластонбери.

— У приора шесть сыновей, и он держит их при себе в качестве слуг. В свое оправдание говорит, что не путается с замужними женщинами, только с девицами, а когда они забеременеют, находит им хороших мужей. Клянется, что у него есть документ с папской печатью — разрешение на блуд.

— А показать документ может? — хихикает Анна.

Генрих возмущен:

— Гнать его взашей. Такие люди порочат монашеское звание.

Неужто король не знает, что эти глупцы с выбритой тонзурой обычно хуже других людей? Бывают хорошие монахи, но они, увидев иноческие идеалы вблизи, обычно сбегают в мир. Наши деды вооружались косами и вилами и шли против монахов, как против иноземных захватчиков, грозили спалить монастырь, требовали податные списки и кабальные документы, а получив, бросали их в огонь и говорили: нам всего-то и надо, что немного свободы; немного свободы и чтобы к нам относились как к англичанам, после всех столетий, когда нас держали за скотов.

Сообщают и о более гнусных делах. Он, Кромвель, говорит своим посланцам: просто объявите, объявите громко. Один монах — одна постель, в одной постели — один монах. Неужто так трудно утерпеть? Умудренные жизнью объясняют ему: этот грех неистребим, если мужчин не пускать к женщинам, те примутся за молоденьких послушников. Но разве им не положено смирять плоть? Что толку в молитве и посте, если это оружие бессильно против козней лукавого?

Король согласен, что есть изъяны, говорит, возможно, надо объединять мелкие обители, ведь и кардинал этим занимался, пока был жив. Но уж, конечно, крупные монастыри сами наведут

у себя порядок?

Возможно, отвечает он. Король набожен и боится перемен; хочет, чтобы церковь реформировалась, стала безупречной; а еще хочет денег. Однако Генрих рожден под знаком Рака и к цели подбирается по-крабьи, бочком. Он, Кромвель, наблюдает за королем, пока тот проглядывает отчеты. Это не те доходы, которые выручат казну. Рано или поздно Генрих задумается о крупных монастырях, о жирных аббатах, ублажающих свое брюхо. Попробуем заронить эту мысль. Он говорит: я часто сидел за монастырскими столами, где приор клюет финики и изюм, а монахи изо дня в день видят одну селедку. Думает: будь моя власть, я бы освободил их для лучшей жизни. Они говорят, что ведут vita apostolica[1], но апостолы не щупали друг другу яйца. Пусть все, кто хочет уйти, уйдут. Кто рукоположен, пусть трудится в приходах. Все, кто моложе двадцати четырех, юноши и девушки, пусть возвращаются по домам. Рано им связывать себя обетами до конца дней.

Он думает вперед: если король получит монастырские земли, и не часть, а все, то станет в три

---

[1] Примечания: 1

Апостольская жизнь (лат.). — *Здесь и далее примеч. пер.*

раза богаче и сможет не вымаливать подаяния у парламента. Грегори смеется:

— Говорят, если аббат Гластонбери спознается с аббатисой Шефтсбери, их дети будут самыми богатыми землевладельцами в Англии!

— Охотно верю. А впрочем, ты видел аббатису Шефтсбери?

Грегори пугается:

— Нет. А надо?

Все их с сыном разговоры заходят куда-то не туда. Он вспоминает детство, отца, себя: один рычит, другой огрызается.

— Сможешь посмотреть на нее, если захочешь. У меня в Шефтсбери есть важное дело, надо туда съездить.

В Шефтсбери кардинал Вулси поместил свою дочь.

— Запиши для памяти, Грегори, чтобы я не забыл: «Проведать Доротею».

Грегори изнывает от желания спросить: «Кто такая Доротея?» Вопросы один за другим читаются на лице мальчика, и последний: «Она хорошенькая?»

Он смеется:

— Не знаю. Отец ее никому не показывал.

Однако он убирает улыбку с лица, когда говорит

Генриху: из всех треклятых изменников монахи — самые упрямые. Грозишь таким: «Вы у меня поплачете», отвечают, что родились для слез и скорбей. Иные готовы стоять у позорного столба или идти с молитвой на Тайберн. Он говорил им, как прежде Томасу Мору: речь не о вашем Боге, не о моем Боге, вообще не о Боге. Речь о том, кто для вас главнее: Генрих Тюдор или Алессандро Фарнезе. Король Англии или чужеземец, погрязший в немыслимых пороках? Они отворачивались, не слушали, умирали без звука, когда палач вырезал из груди их лживые сердца.

Когда он наконец въезжает в ворота своего лондонского дома, навстречу выбегают слуги в долгополых ливреях серого мраморного сукна. По правую руку от него Грегори, по левую — Гемфри, псарь, которому поручена забота о его охотничьих спаниелях (за разговором с Гемфри последние мили пути прошли незаметно), сзади его сокольники, крепкие молодцы Хью, Джеймс и Роджер, зорко смотрят, чтобы народ не напирал. Перед воротами толпа ждет милостыни. У Гемфри и остальных наготове кошельки. Сегодня после ужина, как всегда, будут раздавать еду. Терстон, его главный повар, говорит, они кормят две сотни лондонцев два раза в день.

Он видит в толпе сгорбленного рыдающего человечка, едва стоящего на ногах. Щуплая фигурка на миг исчезает в давке, затем появляется вновь, и кажется, будто бедолагу несет к воротам ток собственных слез.

— Гемфри, узнай, из-за чего плачет тот человек, — говорит он.

И тут же забывает в кутерьме домочадцев. Собачонки мельтешат под ногами, он сгребает их в охапку, спрашивает, как дела, они ластятся и виляют хвостом. Слуги обступили Грегори, восхищенно оглядывают от сапог до шляпы — молодого господина все любят за мягкий нрав. «Хозяин!» — племянник Ричард стискивает его в медвежьих объятиях. Ричард — серьезный юноша с кромвелевским взглядом, прямым и жестоким, с кромвелевским голосом, умеющим и ласкать, и возразить. Он не боится ничего на земле и под землей — если в Остин-фрайарз объявится демон, Ричард спустит его с лестницы пинком под волосатый зад.

Племянницы-молодки распустили шнуровку на беременных животах. Он целует обеих, они мягкие, пахнут имбирными леденцами. На него вдруг накатывает тоска… по чему? По отзывчивому на ласки телу, по утренним разговорам о

пустяках. Надо быть осторожнее с женщинами, не давать врагам повода для пересудов. Даже король осторожен: не хочет, чтобы в Европе его называли Гарри Греховодником. Может, оттого и предпочитает любоваться недоступной пока мечтой — мистрис Джейн.

В Элветхеме Джейн была как цветок, как зелено-белый морозник с поникшей головкой. В доме брата король похвалил ее перед всей семьей: «Милая, скромная, стыдливая девица, каких нынче мало».

Томас Сеймур всегда норовит встрять в разговор допрежь старшего брата.

— По части благочестия и скромности у Джейн соперниц мало.

Он, Кромвель, приметил, как брат Эдвард прячет улыбку. Сеймуры наконец-то поняли, куда дует ветер, хотя еще не очень верят своему счастью. Томас Сеймур сказал:

— Даже будь я королем, мне бы не хватило духу зазывать в постель такую, как сестрица Джейн. С чего начать? Вот вы бы решились? И зачем? Это ж все равно что целовать камень! Пока будешь ворочать ее на перине, все хозяйство от холода занемеет.

— Брат не может вообразить сестру в объяти-

ях мужчины, — говорит Эдвард Сеймур. — По крайней мере если он — христианин. Хотя при дворе болтают, что Джордж Болейн… — Обрывает себя, хмурится. — И уж конечно, король умеет найти галантный подход к девице. Он знает, что сказать. А ты, братец, нет.

Том Сеймур только лыбится.

Однако Генрих так ничего до отъезда не сказал: сердечно распростился со всем семейством, ни словом не упомянув Джейн. Она напоследок шепотом спросила его:

— Мастер Кромвель, зачем я здесь?

— Спросите у своих братьев.

— Мои братья говорят, спроси у Кромвеля.

— Так для вас это полная загадка?

— Да. Разве что меня наконец выдают замуж. Меня выдают за вас?

— Мне придется отказаться от этой мысли. Стар я для вас, Джейн. Я бы мог быть вашим отцом.

— Правда? — удивляется Джейн. — Что ж, в Вулфхолле бывало и не такое. Я даже не догадывалась, что вы знали мою мать.

Мгновенная улыбка, и Джейн исчезает, а он смотрит ей вслед с мыслью: мы могли бы пожениться, я бы сохранял живость ума, постоянно гадая, что она истолкует не так. Интересно, она

это нарочно?

Впрочем, теперь я могу получить ее только после Генриха, а я однажды дал себе слово не подбирать женщин, которыми тот попользовался.

Наверное, подумалось ему тогда, надо составить для Сеймуров памятку: какие подарки Джейн может принимать. Правило несложное: драгоценности — да, деньги — нет. И до заключения сделки ничего из одежды при Генрихе не снимать. Даже, он бы посоветовал, перчаток.

Недоброжелатели называют его дом Вавилонской башней. Говорят, у него есть слуги из всех уголков мира, кроме Шотландии, так что шотландцы вечно обивают порог кромвелевского дома в надежде получить работу. Джентльмены и даже аристократы, английские и европейские, уговаривают его взять к себе их сыновей, и он берет столько, сколько сможет обучить. Каждый день в Остин-фрайарз пяток немецких ученых разбирают письма от своих соотечественников-евангелистов, и каждый из пятерых говорит на своем диалекте. За обедом молодые кембриджцы перебрасываются греческими цитатами; он, Кромвель, помог им учиться, теперь они помогают ему. Иногда на ужин заглядывают итальянские купцы, и он болтает с ними на языках,

которые выучил, исполняя поручения банкиров в Венеции и Флоренции. Служащие его соседа Шапюи хохочут, что объедают и опивают Кромвеля, сплетничают на испанском и на фламандском. Сам он говорит с Шапюи на французском, родном языке посла; на другой версии французского, простонародной, отдает приказания Кристофу, коренастому маленькому разбойнику, увязавшемуся за ним в Кале. Кристофа нельзя отпускать ни на шаг, потому что где Кристоф, там и драки.

Надо наверстать целое лето сплетен, проверить счета, траты и доходы от своих домов и земель. Но прежде всего он идет на кухню к главному повару. Сейчас послеобеденное затишье: вертела вычищены, котлы отдраены и составлены один в другой, пахнет гвоздикой и корицей, Терстон стоит у посыпанной мукой доски и глядит на ком теста, как на голову Крестителя. На тесто ложится тень. «Пшел вон! Чернила прежде с пальцев отмой! — орет повар. Затем другим голосом: — А! Вы, сэр. Вовремя. Мы вас ждали раньше, наготовили пирогов с дичью, пришлось скормить их вашим друзьям, не то бы испортились. Мы бы вам их отправили, да вас поди поймай».

Он протягивает руки, показывает, что на них нет чернил.

— Не серчайте, сэр. Просто с утра юный Томас Авери сует нос в припасы, хочет все взвесить. Потом мастер Рейф: Терстон, у нас будут датчане, что ты приготовишь для датчан? Следом врывается мастер Ричард, едут посланцы от Лютера, какими пирогами лучше кормить немцев?

Он трогает тесто, спрашивает:

— Это для немцев?

— Для кого бы ни было, получится хорошо — съедите.

— Айву собрали? Чуют мои кости, скоро заморозки.

— Вы б себя послушали. Говорите, будто ваша бабка.

— Я ее не знал. А ты?

Терстон хмыкает:

— Приходская пьянчужка?

Очень может быть. Выкормить его отца Уолтера и не спиться — это надо быть святой. Терстон говорит, как будто его только что осенило:

— У человека ведь две бабки. Вы по матери кто, сэр?

— Ее семья была с севера.

Терстон ухмыляется:

— Ага, из пещер. Знаете, что говорит молодой Фрэнсис Уэстон? Тот, что прислуживает королю.

Его люди распускают слухи, будто вы — жид.

Он сопит; о таком ему говорят не в первый раз.

— Следующий раз как будете при дворе, — советует Терстон, — выложите своего одноглазого на стол и посмотрите, что скажет Уэстон.

— Обязательно выложу, как только надо будет оживить разговор.

— Вообще-то… — Терстон мнется. — Вы ведь и правда жид, сэр, поскольку ссужаете деньги под проценты.

Под растущие проценты, в случае Уэстона. Он вновь трогает тесто — вроде немного твердовато?

— А что говорят на улицах?

— Говорят, старая королева больна. — Терстон ждет, но его хозяин взял пригоршню коринки и ест ягоды одну за одной. — Я слышал, она болеет сердцем. Говорят, она прокляла Анну Болейн, так что та не может родить мальчика. Или если родит, то не от короля. Говорят, у Генриха есть другие женщины и будто бы Анна бегает за ним по спальне с овечьими ножницами, грозится его охолостить. Королева Екатерина, как все жены, закрывала глаза на его измены, но Анна не хочет терпеть, обещает, что он поплатится. А какая будет лучшая месть? — Терстон смеется. — Наста-

вить Генриху рога и посадить на престол своего ублюдка.

Ох уж эти лондонцы, что ни человек, то глубокий ум — глубокий, как выгребная яма.

— А говорят, кто будущий отец ее ребенка?

— Томас Уайетт? — предполагает Терстон. — Она к нему благоволила до того, как стать королевой. Или ее прежний любовник Гарри Перси…

— Перси же у себя в Нортумберленде, разве нет?

Терстон закатывает глаза:

— Что ей расстояние? Захочет — свистнет и перенесет его по воздуху. Да она одним Гарри Перси не удовольствуется. Говорят, у нее перебывали все королевские джентльмены. Она ждать не любит, так что они все стоят у двери в рядок, наяривают свое добро, пока она не крикнет: «Следующий!»

— И они входят. Один за другим. — Он смеется. Доедает с ладони последнюю изюмину.

— Добро пожаловать назад в Лондон, — говорит Терстон. — Мы тут верим всему на свете.

— Помню, вскоре после коронации Анна созвала своих приближенных и слуг, мужчин и женщин, и прочла им наставление, как себя вести: играть только на фишки, срамных слов не

говорить, тела не заголять. Согласен, теперь все не так строго.

— Сэр, — говорит Терстон, — у вас мука на рукаве.

— Ладно, пойду наверх, буду заседать в совете. Смотри не запоздай с ужином.

— Когда это я запаздывал? — Терстон заботливо стряхивает с него муку. — Хоть раз такое было?

Совет не государственный, а семейный, и заседают в нем Рейф Сэдлер и Ричард Кромвель, сообразительные, умеющие быстро сосчитать, быстро найти ошибку, быстро ухватить суть. И еще Грегори. Его сын.

В этом сезоне юноши ходят с сумками мягкой кожи, как у агентов банка Фуггера, которые колесят по всей Европе и задают моду. Сумки в форме сердца, и ему всегда кажется, что молодые люди идут к возлюбленным, но те клянутся, что ничего подобного. Племянник Ричард Кромвель ехидно глядит на сумки. Сам Ричард, как и дядя, все ценное носит ближе к телу.

— А вот и Зовите-Меня, — говорит племянник. — Только гляньте, что за перо у него на шляпе!

Томас Ризли входит, оставляя за дверью помощников. Это рослый красавец с темно-рыжими

волосами. Его отец и дед носили фамилию Рит, но сочли, что она чересчур проста; оба служили в геральдической палате, так что имели возможность превратить обычных предков в благородных, а простую фамилию — в более звучную, хотя длинное «Риотеслей» быстро сократилось до «Ризли». Перемена вызвала много шуток; в Остин-фрайарз к Томасу приклеилось прозвище Зовите-Меня. За последнее время тот стал отцом, отрастил бородку и вообще с каждым годом выглядит все солиднее и солиднее. Зовите-Меня кладет сумку на стол, садится в кресло, спрашивает:

— Как дела у Грегори?

Грегори расцветает — мальчик редко удостаивается приветливых слов от своего кумира.

— У меня все прекрасно. Все лето я охотился, а сейчас вернусь в дом к Уильяму Фицуильяму. Этот джентльмен приближен к королю, и отец считает, мне надо у него поучиться. Фиц меня любит.

— Фиц! — прыскает Ризли. — Ах уж эти Кромвели!

— А он зовет моего отца Сухарем.

— Не перенимайте эту манеру, Ризли, — добродушно говорит он. — Или по крайней мере

не зовите меня так в лицо. Хотя я только что с кухни, и королеву там называют куда худшими словами.

Ричард говорит:

— Это все женщины сочиняют гнусные сплетни. Они не любят разлучниц и желают Анне зла.

— Когда мы уезжали, она была костлява, — неожиданно говорит Грегори. — Локти, углы и колючки. А сейчас стала поглаже.

— Да. — Он удивлен, что юноша это заметил. Семейные мужчины, опытные, приглядываются к Анне — не располнела ли — внимательнее, чем к собственным женам. За столом общее оживление. — Что ж, увидим. Они были вместе не все лето, но, насколько я могу судить, достаточно долго.

— Хорошо, коли так, — говорит Ризли. — Сколько лет король ждет, что его жена исполнит свой долг? Анна обещала сына, если он на ней женится, и теперь, думаешь, стал бы король добиваться ее с тем же упорством, если пришлось бы все повторить снова?

Ричард Рич заявляется последним, бормочет извинения. Этот Ричард тоже без сумки в форме сердца, хотя в свое время непременно завел бы пяток, разного цвета. Сколько изменений за де-

сять лет! Рич когда-то был студентом-правоведом худшего сорта, из тех, кто шляется по злачным местам, где юристов зовут кровососами, и потому вынужден лезть в драки, кто возвращается в Темпл под утро, дыша винными парами, в изорванной одежде, кто с воплями гоняет терьеров по полям у Линкольн-Инн. Теперь Рич остепенился, служит у лорда-канцлера Томаса Одли, постоянно бывает у Томаса Кромвеля по делам своего патрона. Мальчишки зовут его сэр Кошель, говорят, Кошель-то наш толстеет. На плечах Рича лежат государственные обязанности и забота о растущем семействе; когда-то он был хорош, как вербный херувим, теперь немного запылился. Кто бы думал, что этот шалопай станет генеральным стряпчим? Однако у него хорошая голова, и когда нужен дельный юрист, Рич всегда под рукой.

— Книга Гардинера не отвечает вашим целям, — начинает Рич. — Сэр…

— Она не во всем плоха. О королевской власти мы думаем одинаково.

— Да. Но…

— Я счел нужным процитировать ему этот текст: «Где слово царя, там и власть; и кто речет ему “что твориши”?»

Рич поднимает брови:

— Парламент, конечно.

Ризли говорит:

— Уж мастер Рич нам точно расскажет, что может парламент.

Именно на вопросе о власти парламента Рич поймал Томаса Мора, завлек в ловушку, заставил произнести изменнические слова. Никто не знает, что именно прозвучало в камере; Ричард вышел из Тауэра красный до ушей, не смея верить своему счастью, и отправился прямиком к нему, Томасу Кромвелю, а тот ответил спокойно: да, это годится, теперь он наш, спасибо. Спасибо, Кошель, поздравляю, молодец.

Теперь Ричард Кромвель подается к своему тезке:

— Скажи нам, дружок Кошель, может ли парламент вложить наследника в живот королеве?

Рич слегка розовеет; из-за тонкой кожи он в свои почти сорок не утратил способности краснеть.

— Я не говорил, будто парламент может то, чего не может Бог. Я сказал, он может больше, чем дозволяет Томас Мор.

— Мученик Мор, — говорит он. — Из Рима пишут, что его и Фишера прославят в лике святых.

Мастер Ризли смеется.

— Согласен, что это смешно. — Он быстро смотрит на племянника: довольно пока о королеве, ее животе и других органах.

Ричард Кромвель кое-что знает, с его слов, о событиях в Элветхеме, в доме Эдварда Сеймура. Когда король внезапно изменил маршрут, Эдвард расстарался и устроил ему роскошный прием. Однако Генрих в ту ночь не мог уснуть и отправил щенка Уэстона разбудить государственного секретаря. Пляшущий огонек свечи, непривычная комната. «Боже, который час?» Шесть утра, злорадно ответил Уэстон, вы заспались.

На самом деле не было четырех, еще не начало светать. В комнате с открытым ставнем, под взглядом одних лишь звезд (Генрих не начинал разговор, пока Уэстон не закрыл за собой дверь — спасибо и на том), взволнованный шепот: «Кромвель, а что, если бы?.. Что, если бы я боялся, если бы начал подозревать в моем браке с Анной какой-то изъян, какое-то нарушение, неугодное Всемогущему Богу?»

Десяти лет как не бывало: он кардинал, слушающий те же слова, только королеву тогда звали Екатериной.

— Но какое нарушение? — устало спрашивает

он. — Что это может быть, сэр?

— Не знаю, — шепчет король. — Сейчас не знаю, но, возможно, оно есть. Разве она не была помолвлена с Гарри Перси?

— Нет, сир. Он поклялся на Библии, что не была. Ваше величество слышали своими ушами.

— Но ведь вы, Кромвель, его заставили, разыскали в каком-то жалком кабаке, схватили за грудки, стукнули по голове кулаком.

— Нет, сэр. Я не позволил бы себе так обойтись ни с одним пэром королевства, тем паче с графом Нортумберлендом.

— Ладно, рад слышать. Мне могли неправильно передать частности. Но в тот день граф сказал то, что, по его мнению, я хотел услышать. Что между ним и Анной ничего не было, никаких обещаний пожениться, а уж тем более супружеской близости. Что, если он солгал?

— Под присягой, сэр?

— Вы очень грозны, Сухарь, глядя на вас, человек может позабыть об учтивости перед Богом. Что, если он солгал? Что, если Анна заключила с Перси контракт, равноценный законному браку? Если так, она не имела права выходить за меня.

Он молчал, но видел, как мысли ворочаются у Генриха в голове; его собственные мысли мчали

вспугнутыми оленями.

— И у меня подозрения, — продолжал король, — большие подозрения насчет нее и Томаса Уайетта.

— Нет, сэр, — с жаром отвечает он, не задумываясь. Уайетт — его друг. Отец — сэр Генри Уайетт — поручил ему заботу о мальчике. Томас уже не мальчик, но все равно.

— Вы говорите «нет». — Генрих наклоняется к нему. — Но разве Уайетт не потому сбежал в Италию, что Анна была к нему жестока, а он не находил покоя, покуда мог на нее смотреть?

— Ну вот, вы сами сказали, ваше величество. Она была к нему жестока. Если бы она уступила его любви, он бы остался.

— Однако я не могу знать наверняка, — упорствует Генрих. — Может, она отказала ему один раз, но уступила в другой? Женщины слабы и падки на лесть. Особенно когда мужчины пишут им стихи, а некоторые говорят, что стихи Уайетта лучше моих, хоть я и король.

Он только моргает. Ночь-полночь, все люди спят. Можно назвать это невинным тщеславием, но не в четыре же часа утра!

— Ваше величество, не тревожьтесь. Если бы Уайетт хоть в чем-нибудь нарушил безупречное

целомудрие этой дамы, он бы не преминул раструбить о своей победе. В стихах и в прозе.

Генрих только сопит, но он, Кромвель, поднимает глаза: за окном скользит щегольская тень Уайетта, закрывает холодные звезды. Прочь, призрак! Это шутки фантазии: кто поймет Уайетта, кто отпустит ему грехи? Король говорит:

— Ладно. Возможно. Даже если она уступила Уайетту, это не препятствие к нашему браку, поскольку контракта между ними быть не могло: Уайетта женили мальчишкой, и он не имел права ничего Анне обещать. Однако это значило бы, что она меня обманула: сказала, что легла в мою постель девственницей, хотя на самом деле это не так.

Вулси, где вы? Вы слышали все то же самое много лет назад. Посоветуйте, как быть.

Он встал, направляя разговор к завершению:

— Сказать, чтобы вам чего-нибудь принесли? Чего-нибудь, что поможет вам вновь уснуть на час или на два?

— Мне нужно что-нибудь против тягостных снов. Не знаю, что именно. Я советовался по этому поводу с епископом Гардинером.

Он постарался не показать, что неприятно изумлен. С Гардинером? У меня за спиной?

— И Гардинер ответил, — продолжал король (лицо — аллегория скорби), — что сомнений в этом деле довольно много, но что если брак незаконен, если я вынужден буду расторгнуть союз с Анной, то мне надо вернуться к Екатерине. А я не могу, Кромвель. Я не прикоснусь к этой дряблой старухе, хоть бы против меня ополчился весь христианский мир.

— Что ж, — ответил он, глядя в пол, на большие белые ноги Генриха, — думаю, все не так плохо, сэр. Не буду утверждать, что понял доводы Гардинера, но епископ, разумеется, разбирается в каноническом праве лучше меня. Впрочем, я не верю, что вас можно к чему-либо принудить или в чем-либо ограничить, поскольку вы хозяин в собственной семье, в собственной стране, в собственной церкви. Возможно, Гардинер всего лишь подготовил вас к возражениям, которые выдвинут другие.

А может, просто хотел, чтобы вы ночами просыпались в холодном поту. На Гардинера похоже. Однако Генрих уже выпрямился.

— Я могу делать, что мне угодно, — объявил монарх. — Господь не попустит, чтобы мои желания противоречили Его замыслам или чтобы мои замыслы шли вразрез с Его волей. — На лице

промелькнуло хитроватое выражение. — Вот и Гардинер так сказал.

Генрих зевнул: пора уходить.

— Сухарь, вы не слишком презентабельно выглядите, когда кланяетесь в ночной рубашке. Будете готовы выехать в семь или оставить вас здесь и встретимся за ужином?

Если вы будете готовы, буду готов и я, думал он, шлепая обратно в спальню. Скоро рассвет; вспомните ли вы о нашем разговоре? Кони будут бить копытами, фыркать, встряхивать гривой. Ближе к полудню встретимся с королевой и ее свитой. Анна будет щебетать, сидя на охотничьем скакуне, и не узнает (если только дружок Уэстон ей не шепнет), что вчера в Элветхеме король весь вечер смотрел на следующую пассию: Джейн Сеймур, которая, не поднимая глаз, методично кушала цыпленка. Грегори только глазами хлопал: «Что это мистрис Сеймур так много ест?»

А теперь лето кончилось. Вулфхолл, Элветхем растаяли в дымке. Государевы страхи и сомнения — тайна за печатью на его устах. Осень, он в Остин-фрайарз, слушает, опустив голову, придворные новости, смотрит, как Рич теребит шелковую завязку на документе.

— Их слуги задирают друг друга на улице, —

говорит племянник Ричард. — Прикладывают палец к носу, выкрикивают оскорбления, хватаются за кинжалы.

— Чьи слуги, извини? — спрашивает он.

— Николаса Кэрью. Задирают слуг лорда Рочфорда.

— Лишь бы не во дворце, — резко говорит он. Тому, кто обнажит клинок в королевском жилище, отрубают правую руку. Собирается спросить: «Что они не поделили?» — но тут же меняет вопрос: «Что стало поводом?»

Ибо вообразите Кэрью, старейшего из королевских друзей, глубоко преданного королеве, узколицего и серьезного. Представьте себе этот образчик куртуазности, прямиком из рыцарской баллады. Мудрено ли, что сэр Николас, воспитанный в строгих приличиях и ждущий того же от других, не приемлет амбиций выскочки Болейна. Сэр Николас — папист до кончиков шпор; то, что Джордж поддерживает реформатов, ему как кость в горле. Им есть за что друг друга ненавидеть, но что стало причиной конкретной ссоры? Может, Джордж со своими беспутными друзьями буянил под дверью у сэра Николаса, когда тот был занят ответственным делом — любовался собой в зеркале?

Он прячет улыбку:

— Рейф, поговори с обоими джентльменами. Пусть держат своих псов на поводке. — И добавляет: — Хорошо, что ты об этом сказал.

Ему всегда интересно знать о ссорах между придворными.

Вскоре после того, как Анна стала королевой, ее брат вызвал его к себе и дал указания, как вести себя впредь. Джордж Болейн щеголял новой золотой цепью. Он мысленно взвесил ее, мысленно снял с молодого Болейна джеркин, распорол, свернул ткань в рулон и оценил — кто торговал сукном, сохраняет наметанный глаз, а тот, кому поручено пополнить казну, быстро научается считать деньги в чужом кармане.

Молодой Болейн заставил его стоять, а сам расположился в единственном кресле.

— Не забывайте, Кромвель: вы хоть и советник короля, но не джентльмен по рождению. Говорите, когда вас просят, когда не просят — молчите. Не встревайте в дела высших. Королю угодно часто приглашать вас к себе, но извольте помнить, кто ввел вас во дворец.

Занятная у Джорджа Болейна версия. Он, Кромвель, всегда думал, что Вулси его обучил, Вулси приблизил к трону, Вулси сделал тем, кто он

теперь, но Джордж утверждает: нет, Болейны. Очевидно, он еще не выказал должной признательности, так что выказывает сейчас, говорит: да, сэр, конечно, сэр, вижу, вы рассудительны не по годам, сэр. Даже ваш отец монсеньор граф Уилтшир и ваш дядюшка Томас Говард герцог Норфолк не смогли бы наставить меня лучше.

— Спасибо за вашу доброту, сэр, отныне я буду вести себя смиреннее.

— Ну то-то, — смягчился Джордж.

Он улыбается, вспоминая тот разговор, смотрит в список того, что хотел обсудить, — остались ли еще пункты? Грегори не может сидеть спокойно: то на кузена Ричарда глянет, то на отца, то на Зовите-Меня-Ризли, то на других джентльменов. Ричард Рич хмурится над бумагами, Зовите-Меня крутит в руке перо. Скользкие люди эти двое, Ризли и Рич, и кое в чем схожи: простукивают стену собственной души: что там за глухой звук? Однако он должен находить королю новых даровитых помощников, а они оба проворные, цепкие, не жалея сил служат короне и собственным интересам.

— И последнее, пока мы не разошлись, — говорит он. — Милорд епископ Винчестерский так угодил королю, что, по моему совету, король

вновь отправляет его с посольством во Францию. Ожидается, что посольство будет долгим.

Все медленно расцветают улыбками. Он наблюдает за Ризли. Зовите-Меня обязан Гардинеру своим возвышением, но сейчас, судя по лицу, радуется не меньше других. Рич краснеет, вскакивает, пожимает ему руку.

— Снарядите его в дорогу, — говорит Рейф, — и не пускайте обратно. Гардинер лукав.

— Лукав? Его язык — трезубец для угриной охоты. Вчера он за Папу, сегодня за Генриха, завтра, помяните мое слово, вновь будет за Папу.

— А можно доверить ему переговоры?

— Он будет делать то, что ему выгодно, а сейчас ему выгодно угождать королю. И мы будем за ним приглядывать, приставим к нему кого-нибудь из наших людей. Мастер Ризли, вы об этом позаботитесь?

Только Грегори еще сомневается.

— Милорд Винчестер — посол? Фицуильям мне говорит, главное для посла — никого не раздражать.

— А Стивен только и делает, что всех раздражает, — соглашается он.

— Разве послу не положено быть живым и обходительным? Так говорит мне Фицуильям.

Посол должен быть приятен в любом обществе, легко поддерживать беседу, располагать к себе хозяев. Так что он наведывается к ним в гости, сидит с ними за трапезой, заводит дружбу с их женами и детьми, подкупает домашних подарками и лестью.

Рейф вскидывает брови:

— Так тебя Фиц этому учит?

Молодые люди смеются.

— Все верно. Именно так должны действовать послы. Надеюсь, Грегори, Шапюи тебя еще не подкупил? Будь у меня жена, Эсташ слал бы ей сонеты и носил кости моим собакам. А, ладно… Шапюи, как ты знаешь, обходителен, не то что Стивен Гардинер. Но дело в том, Грегори, что во Франции нам нужен твердый посол, желчный и злой. А Стивен там уже был и хорошо себя показал. Французы — лицемеры, заводят с тобой фальшивую дружбу и требуют за нее денег. Понимаешь, — терпеливо объясняет он (надо же заняться обучением сына), — сейчас французы намерены отнять у императора герцогство Миланское и просят у нас средств на войну. И мы должны их поддержать, хотя бы для виду, иначе они переметнутся на сторону императора и завоюют нас. Так вот, когда они скажут: «Давайте

обещанное золото», — нам нужен посол вроде Стивена, который скажет, не поведя бровью: «Золото? Просто вычтите его из прежнего долга Генриху» Франциск будет плеваться огнем, но формально мы выполним обещание. Теперь понял? Мы отправляем ко французскому двору самых свирепых наших бойцов. Вспомни, когда-то послом в Париже был милорд Норфолк.

Грегори кивает изо всех сил:

— Всякий чужестранец испугается Норфолка.

— Всякий англичанин тоже. И правильно сделает. Так вот, герцог вроде тех исполинских пушек, что есть у турок. Дыма и грохота много, но до следующего выстрела она должна три часа остывать. А епископ Гардинер может палить через каждые десять минут, с рассвета до заката.

— Однако, сэр, если мы пообещаем им денег, а потом не заплатим, что они сделают?

— К тому времени, надеюсь, мы с императором вновь будем лучшими друзьями. — Он вздыхает. — Это старая игра, и мы обречены в нее играть, покуда я не придумаю что-нибудь получше. Или король не придумает. Слышал о недавней победе императора? О взятии Туниса?

— Весь мир только об этом и говорит, — отвечает Грегори. — Каждый христианский рыцарь

мечтал бы там оказаться!

Он пожимает плечами:

— Время покажет, насколько славной была победа. Барбаросса{3} найдет другой порт, из которого будут совершать пиратские набеги. А вот турки на время притихнут, так что император может не думать о них и напасть на наши берега.

— А как мы его остановим? — испуганно спрашивает Грегори. — Надо, наверное, вернуть королеву Екатерину?

Зовите-Меня смеется:

— Грегори начинает понимать сложности нашего ремесла, сэр.

— Мне больше нравилось, когда мы говорили про нынешнюю королеву, — тихонько произносит Грегори. — И я первый заметил, что она округлилась.

Зовите-Меня говорит ласково:

— Мне не следовало смеяться. Ты прав, Грегори. Все наши труды, все наши ухищрения, все наши знания, истинные и показные, все государственные стратагемы, все постановления юристов и

{3} Примечания: 20

Барбаросса II, Хайруддин (не путать с Фридрихом Барбароссой) (1474–1546) — турецкий флотоводец и вельможа. После смерти старшего брата, Барбароссы I, унаследовал огромный пиратский флот. В ходе Тунисской войны потерпел ряд поражений от испанцев, но в конечном счете вышел победителем.

проклятия церковников, все вердикты судов, мирских и священных, — все вместе и каждое по отдельности побеждается женским телом. Бог мог бы сделать их животы прозрачными, избавив нас от страхов и ложных надежд, но, возможно, то, что растет, должно расти в темноте.

— Говорят, Екатерина болеет, — говорит Ричард Рич. — Если она умрет в этом году, хотел бы я знать, что будет с миром.

Однако послушайте, мы засиделись в доме! Давайте выйдем и прогуляемся по садам Остин-фрайарз, гордости секретаря государственного совета. Он хочет выращивать цветы, которые видел в странствиях, сочные заморские плоды, поэтому все время просит послов присылать ему с дипломатической почтой саженцы. Молодые клерки стоят рядом, готовые взяться за расшифровку, а из пакета выпадает ком земли с корнями, благополучно пережившими путешествие через Дуврский пролив.

Он хочет, чтобы черенки принимались, чтобы молодые люди были здоровы и веселы. Поэтому он выстроил теннисный корт в подарок Грегори, Рейфу и всем молодым людям, живущим в доме. Он и сам не прочь сыграть… «если найду хромого соперника», — его обычные слова. В игре едва ли

не главное — тактика, а он подволакивает ногу и должен полагаться больше на умение, чем на скорость. И все равно Кромвель гордится своим кортом, ему приятно тратить деньги на улучшения. Недавно он беседовал со служителями королевского теннисного двора в Хэмптон-корте, узнал точные промеры и сделал у себя в точности так же. Генрих как-то обедал в Остин-фрайарз — вдруг когда-нибудь захочет сыграть там в теннис.

В Италии, когда он служил у Фрескобальди, молодые люди жаркими вечерами играли на улице во что-то вроде тенниса — жё-де-пом, без ракетки, просто рукой. Они толкались, вопили, отбивали мяч от стены, перекидывали через навес перед лавкой портного, пока сам портной не выходил и не начинал браниться: «Если не будете уважать мой навес, я отстригу вам яйца и повешу перед входом на ленте». Они говорили: «Извини, хозяин, извини», и убегали играть в задний двор, но через полчаса возвращались. Ему и сейчас иногда снится стук грубо сшитого мяча о металл, ощущение плотного кожаного шара, ударяющего в ладонь. Тогда он старался бегать, чтобы разработать ногу после раны, полученной год назад

при Гарильяно. Гардзони[2] спрашивали: «Скажи, Томмазо, почему у тебя рана с задней стороны икры, ты что, убегал?» А он говорил: «Матерь Божия! Да конечно! Мне заплатили только за то, чтобы я убегал; чтобы я сражался, надо было платить больше!»

После битвы французы разбежались, а он был в ту пору французом, получал жалованье от французского короля. Сперва он полз, затем ковылял; они с товарищами уносили израненные ноги от победоносных испанцев, выкарабкивались из кровавого болота на твердую почву — дикие валлийские лучники, наемники-швейцарцы и несколько английских мальчишек вроде него. Растерянные, без гроша в кармане, они кое-как приходили в себя, решали, куда идти, забирались все дальше к северу, меняли, если нужно, имена и национальность, выискивали следующую битву или работенку побезопаснее.

У заднего крыльца большого городского дома эконом задавал ему вопросы:

— Француз?

— Англичанин.

Тот закатил глаза:

---

[2] Примечания: 2
Мальчишки (ит.).

— И что ты умеешь?

— Сражаться.

— Видать, не слишком-то хорошо.

— Готовить.

— Нам варварская готовка ни к чему.

— Подбивать счета.

— Это банкирский дом, у нас счетоводов своих хватает.

— Скажите, что надо, и я сделаю.

(Он уже хвастается, как итальянец.)

— Нам нужен работник. Как твое имя?

— Геркулес, — говорит он.

Эконом против воли смеется.

— Заходи, Эрколь.

Эрколь, хромая, переступает порог. Эконом возвращается к своим делам. Он садится на ступеньку, чуть не плача от боли. Оглядывается, но видит только пол. Пол — его мир. Он голоден, хочет пить, он в семистах милях от дома. Однако этот пол можно сделать лучше.

— Святые угодники! — кричит он. — Воду сюда! Ведро! Allez, allez![3]

Они бегут. Приносят ведро. Он улучшает пол. Он улучшает дом. Не без помех — его гоняют с кухни

---

[3] Примечания: 3

Здесь: живей-живей! (фр.)

— пшел вон, поганый чужеземец! — где столько всего, что может служить оружием: ножи, вертела, горшки с кипятком. Однако он дерется лучше, чем можно угадать по виду: коротышка, а с ног не собьешь. И еще за ним грозная слава его соотечественников: вся Европа знает англичан как грабителей, насильников и воров. Когда ему не хватает итальянских ругательств, он пускает в ход родные, учит других слуг страшным английским богохульствам, чтобы те облегчали душу за спиной у хозяев. Когда хорошенькая девушка входит с корзинкой мокрых от росы тимьяна и розмарина, они говорят: «Здравствуй, дарлинг, как поживаешь», когда кто-нибудь не вовремя лезет под руку, цедят: «Годдем!»

Вскоре он понял, что судьба привела его в дом старинной флорентийской фамилии, давшей миру не только ростовщиков и торговцев вином, шелком и шерстью, но и прославленных поэтов. Хозяин, Франческо Фрескобальди, как-то заглянул на кухню побеседовать с новым слугой. Хозяин немного говорил по-английски и не разделял общих предрассудков касательно англичан, хотя и упомянул: его предки едва не разорились из-за того, что некие давно умершие английские короли не вернули им долг. Синьор Франческо

сказал: для твоих соотечественников работа есть всегда, столько писем надо писать, надеюсь, ты грамотный? Как только он, Томмазо или Эрколь, научился изъясняться по-тосканьски и отпускать шутки, Фрескобальди пообещал: когда-нибудь я позову тебя в контору. Испробую, на что ты годишься.

Этот день настал. Его испытали и признали годным. Из Флоренции он отправился в Венецию, оттуда — в Рим; когда ему снятся эти города (а это иногда бывает), в нем до конца дня бродят юношеские дрожжи итальянского куража, итальянского бахвальства. Он вспоминает себя, тогдашнего, без снисхождения, но и не порицает. Человек делает то, что диктуют обстоятельства, а если задним числом иные его решения можно назвать сомнительными… что ж, на то и молодость. Теперь он берет в дом бедных студентов-богословов. Для них всегда найдется уголок, где можно строчить трактаты о разумном управлении государством или о переводе псалмов. Однако он берет и других — неотесанных молодчиков, потому что сам был таким и знает: они будут ему верны, надо лишь проявить терпение. Он и сейчас любит Фрескобальди, как отца. В браке сильное чувство уступает место привычке, дети

становятся дерзкими и непослушными, но хороший хозяин дает больше, чем забирает, и его доброта ведет тебя по жизни. Вспомни Вулси. Кардинал в голове нашептывает: «Я видел вас в Элветхеме, Сухарь, когда вы чесали себе яйца и дивились неуемности королевских причуд. Если Генрих хочет новую жену, обстряпайте это дело. Я не сумел, и я мертв».

Пироги у Терстона, видать, не удались, поскольку к ужину их не подают, зато приносят великолепное желе в форме замка. «У Терстона патент на строительство укреплений», — говорит Ричард Кромвель и тут же принимается через стол спорить с гостем-итальянцем, какая форма лучше для форта: круглая или звездчатая.

Замок из белых и красных полос: красные темно-малиновые, белые совершенно прозрачны, так что стены словно парят. В амбразуры смотрят съедобные лучники, луки и стрелы у них из карамели. Даже генеральный стряпчий улыбается:

— Жалко, мои девочки этого не видят.

— Я пришлю вам формы. Хотя, может быть, лучше не форт? Цветочный сад?

Что нравится маленьким девочкам? Он позабыл.

После ужина, если в дверь не стучат посыльные

из дворца, он обычно урывает часок на чтение. Книги у него в каждом доме: в Остин-фрайарз, в здании архива на Ченсери-лейн, в Стипни, в Хакни. Сейчас книги пишут обо всем. Как стать хорошим государем и как — дурным. Стихи и советы, как вести бухгалтерию, сборники фраз, которые могут пригодиться в чужой стране, словари, книги о том, как очистить свои грехи, и о том, как сохранять рыбу. Его друг, врач Эндрю Бурд, пишет книгу о вреде бород. Он вспоминает слова Гардинера: «Вам самому следует написать книгу. Достойный выйдет труд».

Если он напишет, это будет «Книга под названием Генрих»: как читать короля, как ему служить, как лучше его сохранять. В голове складываются фразы предисловия: «Кто сочтет качества, личные и общественные, сего благословеннейшего мужа? Меж служителями церкви он набожен, меж воителями отважен, меж книжниками многообразно сведущ, меж придворными учтив и галантен; всеми этими достоинствами король Генрих наделен в столь высокой мере, что подобных ему не было от начала времен».

Эразм утверждает, что в государе надо превозносить даже отсутствующие добродетели, ибо лесть заставит его думать, и монарх, возможно,

воспитает в себе качества, которых пока лишен.

Дверь открывается. Это слуга-валлиец, совсем мальчик, входит бочком.

— Я принес свечи, сэр. Уже пора?

— Да, давно пора.

Свет дрожит, потом перламутровыми кругами замирает на темной столешнице.

— Видишь табурет? Садись.

Мальчишка плюхается на табурет. С утра в беготне по хозяйству, умаялся. Почему маленькие ноги вечно должны работать вместо больших? Сгоняй наверх, принеси мне… По молодости это лестно — чувствуешь себя нужным, даже незаменимым. Он вечно бегал по Патни с поручениями Уолтера. Недоумок. Пусть мальчик немного посидит, отдохнет.

— В детстве я немного говорил по-валлийски, теперь не могу.

Он думает: это блеяние пятидесятилетнего старика. Валлийский, теннис, раньше я мог, теперь не могу. Зато знаний в голове куда больше и уложены они аккуратнее, сердце прочнее, выдержит любой удар. Сейчас ему предстоит инспектировать валлийские владения королевы; по этой и по более веским причинам княжество Уэльс занимает в его мыслях большое место.

— Расскажи о себе, — говорит он мальчику. — Расскажи, как сюда попал.

Из ломаных английских фраз складывается история. Поджог, угоны скота — обычная приграничная повесть со всегдашним финалом: нищета и сиротство.

— Можешь прочесть «Патер ностер»? — спрашивает он.

— «Патер ностер», — повторяет мальчик. — Это «Отче наш».

— На валлийском.

— Нет, сэр. На валлийском нет молитв.

— Господи Исусе! Я найду человека, который их напишет.

— Пожалуйста, сэр. Тогда я смогу молиться за отца с матерью.

— Знаешь Джона ап Райса? Он был сегодня за ужином.

— Муж вашей племянницы Джоанны, сэр?

Мальчишка вскакивает и убегает. Маленькие ноги снова в работе. Он мечтает, что все валлийцы заговорят по-английски, но пока это не достигнуто, им нужна Божья помощь. Разбойники хозяйничают в княжестве, угрозами и взятками выбираются из тюрьмы, пираты опустошают побережье. Норрис, Брертон и дру-

гие королевские джентльмены, чьи владения находятся в Уэльсе, всеми силами мешают его, Кромвеля, усилиям, хотят и дальше распоряжаться на своей земле безнадзорно. Им законность ни к чему, а он хочет, чтобы законы были едины для всей страны, от Эссекса до Англси, от Корнуолла до шотландской границы.

Райс приносит с собой бархатную шкатулку, ставит на стол.

— Подарок. Угадайте — что?

Он трясет шкатулку. Что-то вроде зерна. Трогает пальцами серые чешуйки. Райс недавно из монастыря, куда ездил по его поручению.

— Это же не зубы святой Аполлонии?

— Вторая попытка.

— Зубья от гребня Марии Магдалины?

— Обрезки от ногтей святого Эдмунда, — говорит Райс.

— А… Ссыпьте их вместе с остальными. У него было пятьсот пальцев, никак не меньше.

В 1257 году в Тауэрском зверинце умер слон, и его похоронили рядом с часовней, однако на следующий год откопали и перенесли в Вестминстерское аббатство. Спрашивается, что там сделали с останками слона, если не напилили из него тонну мощей, не превратили слоновьи

кости в кости святых?

Хранители мощей уверяют, что реликвии способны умножаться, не теряя в святости. Кость, дерево и камень, как и звери, дают потомство, сохраняющее все свойства родителей. Терновый венец расцветает. Крест Христов дает побеги, словно живое дерево. Несшитый хитон Спасителя ткет свои подобия. От ногтей родятся новые ногти.

Джон ап Райс говорит:

— Доводы разума на этих людей не действуют. Пытаешься открыть им глаза, а против тебя выставляют каменных мадонн, плачущих кровавыми слезами.

— А потом утверждают, будто я использую мошеннические приемы. — Он задумывается. — Джон, тебе придется засесть за работу. Твоим соотечественникам нужны молитвы.

— Им нужна Библия на родном языке, сэр.

— Давай прежде я заручусь королевским благословением на Библию для англичан.

Это его каждодневная скрытая борьба: чтобы Генрих поддержал английское издание Библии, по книге в каждую приходскую церковь. Цель уже близка, и он верит, что добьется своего. Его идеал: единая страна, единая государственная

монета, единая система мер и весов, а главное — общий язык, на котором говорят все. Не надо ехать в Уэльс, чтобы тебя не поняли. Есть места меньше чем в пятидесяти милях от Лондона, где на твою просьбу поджарить селедку ошалело вытаращат глаза. Только если изобразить из себя рыбу и ткнуть пальцем в сковороду, тебе скажут: а, теперь ясно.

А больше всего он желает для Англии согласия между государем и народом. Он не хочет, чтоб страна управлялась как дом Уолтера в Патни: с утра до вечера драки, вопли и брань. Королевство должно быть подобно большому хозяйству, где каждый делает свою работу уверенно и спокойно.

Он говорит Райсу:

— Стивен Гардинер советует мне написать книгу. Как, по-твоему, стоит? Может, я и напишу, когда уйду на покой. А до тех пор зачем выдавать свои секреты?

Он помнит, как читал книгу Макиавелли в страшные дни после смерти жены — книгу, которую сейчас все обсуждают, хотя мало кто из говорящих в нее заглядывал. Они все — он сам, Рейф и остальные домашние — не имели права выходить из дому, чтобы не разнести

заразу. Перелистывая книгу, он сказал: нельзя просто взять опыт итальянских княжеств и приложить к Уэльсу или к северной границе. Мы другие. Книга кажется ему почти пустой, в ней есть лишь отвлеченные понятия — добродетель, страх да частные примеры низости или ошибочного расчета. Он мог бы, наверное, улучшить ее, но времени нет. При таком количестве дел только и успеваешь, что диктовать писцам, сидящим с перьями наготове: «Вверяю себя вашему покровительству… ваш преданный друг, ваш любящий друг, ваш друг Томас Кромвель». Государственному секретарю не положено жалованья. Обязанности определены не четко, и это ему на руку: лорд-канцлер исполняет предписанную роль, секретарь может проверить дела любого ведомства. Ему пишут из всех графств: просят разобрать земельный спор или за кого-то вступиться. Незнакомые люди шлют ему ябеды на соседей, монахи передают изменнические речи игуменов, священники доносят на епископов. Все секреты страны льются в его уши, а заботы королевского секретаря столь многочисленны, что важнейшие государственные документы, пергаменты и свитки, ждущие подписи и печати, приходится отодвигать на край стола. Просители

шлют ему мускат и мальвазию, коней, дичь и золото, дары и подношения, талисманы и амулеты. Они хотят услуг, а за услуги принято платить. Так происходит с тех пор, как он в милости у короля. Он богат.

И ему, конечно, завидуют. Враги вызнаю2 т, что могут, про его юность.

— Я побывал в Патни, — сообщил Гардинер. — Вернее, отправил туда человека. Там говорят: кто бы угадал, что Ножи-Точу заберется так высоко? Мы думали, его раньше повесят.

Его отец точил ножи. Люди, увидев младшего Кромвеля на улице, кричали: «Том, отнесешь отцу?» — и он, забирая тупой инструмент, говорил: «Не волнуйтесь, отец наточит».

— Хорошенько наточить нож — большое искусство, — сказал он Гардинеру.

— Вы убивали людей. Я знаю.

— Не в этой стране.

— Другие страны не в счет?

— Ни один европейский суд не признает виновным человека, который защищал свою жизнь.

— А вы спрашивали себя, почему вас хотят убить?

Он рассмеялся:

— Знаете, Стивен, в жизни много загадок, но

как раз это — не загадка. Я всегда первый вставал, последний ложился, всегда был при деньгах. Меня любили девушки. Покажите мне гору — я уже на ней.

— Или шлюху, — пробормотал Стивен.

— Вы тоже были когда-то молодым. И что, уже показали королю свои разыскания?

— Король должен знать, кого взял к себе на службу.

Гардинер не договорил, потому что он, Кромвель, с улыбкой подошел ближе.

— Давайте, Стивен. Шлите своих людей. Не жалейте денег. Обшарьте всю Европу. Вы не узнаете ни об одном моем таланте, который не пригодился бы Англии. — Он вытащил из-за пазухи воображаемый нож, легко, без усилия, приставил Гардинеру к животу. — Стивен, разве я не умолял вас, снова и снова, помириться со мной? И разве вы не отказывались?

К чести Гардинера, тот не дрогнул, только чуть поежился и, подобрав епископскую мантию, отступил от призрачного ножа.

— Мальчишка, которого вы ранили в Патни, умер. Вы правильно сделали, что убежали. Его родные хотели отправить вас на виселицу. Ваш отец от них откупился.

— Что?! Уолтер? Уолтер за меня заплатил?

— Не очень много. У них были и другие дети.

— Все равно. — Он стоял, ошеломленный. Уолтер. Уолтер от них откупился. Уолтер, от которого он не получал ничего, кроме затрещин.

Гардинер рассмеялся:

— Вот видите. Я знаю о вашей жизни больше, чем вы сами.

Вечереет; он еще поработает за столом, затем отправится в кабинет почитать. Перед ним опись имущества из Вустерского аббатства. Его люди ничего не упустили, в документе перечислено все, от грелки для рук до ступки для чеснока. Стихарь золотой парчи, фелонь переливчатого атласа с Агнцем Божьим из черного шелка, гребень слоновой кости, бронзовая лампа, три кожаные бутыли и серп, псалтири, требники, шесть лисьих капканов с колокольчиками, две тачки, некое количество лопат и мотыг, мощи святой Урсулы и ее одиннадцати тысяч дев, а также митра святого Освальда и столы на козлах, разборные.

Осенью 1535 года дом полон звуками: дети-певчие разучивают мотет, сбиваются, начинают снова. Мальчишеские голоса перекликаются на лестнице, ближе, в коридоре, собака скребет

лапой пол. Звякают ссыпаемые в сундук золотые монеты. Журчит, приглушенная шпалерами, многоязыкая речь. Скрипят перья по бумаге. За стенами городские шумы: гудит толпа у ворот, от реки доносятся крики. В голове течет внутренний монолог. О Вулси Кромвель вспоминает в парадных покоях, эхо кардинальских шагов слышнее под высокими сводами. Дома он думает о своей жене Элизабет. Теперь она — неясное очертание, промельк платья в глубине коридора. В последнее утро ее жизни он вроде бы увидел, что она спускается за ним по лестнице, заметил краем глаза ее белый чепец и полуобернулся, чтобы сказать: «Иди досыпай», но там никого не было. Когда он вернулся вечером, у Лиз была подвязана челюсть, а в изголовье и в изножье кровати горели свечи.

Год спустя от той же болезни умерли его дочери. В Стипни есть запертая шкатулка, где он хранит их жемчужные и коралловые бусы, а также тетрадь Энн с латинскими упражнениями. А в кладовке, куда убирают рождественские театральные костюмы, до сих пор висят крылья из павлиньих перьев, сделанные для Грейс, когда та играла ангела. После представления она так в крыльях и ушла по лестнице в спальню. «Я

прочту молитвы», — сказала она, ушла от него, завернувшись в перья, растаяла в полумраке.

А теперь на Остин-фрайарз ложится ночь. Лязгают засовы, щелкает ключ в замке, громыхает тяжелая цепь на задней калитке, гремит щеколда главных ворот. Дик Персер спускает с цепи сторожевых псов. Они бегут по саду и с ворчанием укладываются под деревьями: голова на лапах, уши чутко подрагивают.

Когда дом затихает — когда весь его дом затихает — на лестницу выходят мертвые.

Вечер. Анна-королева вызвала его к себе. Идти недалеко — во всех больших дворцах ему отведены комнаты рядом с королевскими покоями. Только подняться по лестнице. Трепетное пламя свечи играет на золотом ободе канделябра и новехоньком дублете Марка Смитона. В дублете — сам Марк, лицо скрыто темнотой.

Что привело Марка сюда? Музыкант разодет не хуже иного лорда, и лютни при нем нет. Где справедливость? Марк бездельничает и хорошеет день ото дня, а я делаю все за всех, и у меня с каждым днем больше седины и морщин.

Они друг друга недолюбливают, так что он думает пройти, ограничившись кивком, но Марк приосанивается и говорит с улыбкой:

— Здравствуйте, лорд Кромвель.

— Нет, нет, не лорд. Все тот же «мастер Кромвель».

— Ошибиться немудрено. Вы с ног до головы — истинный лорд. И конечно, король скоро сделает вас пэром королевства.

— Едва ли. Я нужен ему в палате общин.

— И все равно, — вкрадчиво продолжает Марк, — нехорошо, что король обходит милостями вас, а других награждает за куда меньшие заслуги. Скажите, правду ли говорят, что вы у себя дома обучаете музыкантов?

Полтора десятка мальчишек, спасенных из монастыря. Они учатся по книгам, упражняются с инструментами, набираются манер, за ужином развлекают гостей. Стреляют из лука, играют со спаниелями, а самые маленькие скачут по двору на деревянных лошадках или бегают за ним и кричат: сэр, сэр, гляньте на меня, хотите, я пройдусь на руках?

— С ними веселее, — говорит он.

— Если захотите довести их мастерство до совершенства, вспомните обо мне.

— Хорошо, Марк.

Он думает: я и близко тебя к моим мальчикам не допущу.

— Королева сейчас в большом неудовольствии, — предупреждает Марк. — Как вы знаете, ее брат Рочфорд отправился во Францию с особым посольством, а сегодня прислал письмо: оказывается, при французском дворе все знают, что Екатерина в письмах уговаривает Папу провозгласить мерзостную буллу об отлучении нашего государя от церкви. И это сулит Англии бесчисленные беды и горести.

Он кивает: да, да, да. Неужто Марк не может говорить короче? Он и без этого музыкантишки знает, что такое отлучение.

— Королева сердится, — продолжает Марк. — Потому что теперь ясно, что Екатерина — изменница, и королева не понимает: почему мы ничего не делаем?

— Допустим, Марк, я объясню тебе почему; передашь ли ты мои слова королеве? Мне бы это сберегло час или два.

— Если бы вы доверили мне такое… — начинает юноша, видит его холодную усмешку, краснеет.

— Я бы доверил тебе разучить с певчими мотет. Хотя… — (задумчивый взгляд), — сдается мне, что ты в большой милости у королевы.

— Да, господин секретарь, надеюсь, что так. — Марк уже оправился от удара. — Нам, людям

низкого рождения, монархи охотнее всего раскрывают душу.

— Что ж, скоро вы будете именоваться барон Смитон? Я первый вас поздравлю, даже если сам буду по-прежнему на черной работе в палате общин.

Небрежным взмахом руки Анна прогоняет фрейлин; они, сделав реверанс, выпархивают за дверь. Жена Джорджа Болейна мешкает. Анна говорит:

— Спасибо, леди Рочфорд, вы мне сегодня больше не нужны.

Остается только дурочка-карлица — спряталась за креслом королевы и выглядывает украдкой. Волосы у Анны распущены, на голове только маленькая шапочка в форме полумесяца, отделанная серебряной сеткой. Надо будет рассказать племянницам: они вечно пытают его, что носит королева. Так она принимает короля: густые темные пряди можно видеть только супругу, да еще Кромвелю, ведь тот — сын ремесленника и значит не больше мальчишки Марка.

Она начинает в своей обычной манере, будто с середины фразы.

— Вы должны поехать. К ней. Тайно. Возьмите только самых необходимых слуг. Вот письмо мо-

его брата Рочфорда. — Анна театральным жестом протягивает письмо, но в последний миг передумывает, отдергивает руку и со словами «ой… нет» прячет письмо под себя. Может, помимо новостей, там хула в адрес Томаса Кромвеля? — Екатерина внушает мне сильнейшие подозрения, сильнейшие. Судя по всему, во Франции знают то, о чем мы лишь догадываемся. Может быть, ваши люди недостаточно бдительны? Милорд мой брат считает, что королева уговаривает императора вторгнуться в Англию, и посол Шапюи тоже. Его, кстати, надо выслать.

— Дело в том, — говорит он, — что мы не можем швыряться послами. Иначе мы вообще ничего не будем знать.

По правде сказать, он не боится Екатерининых интриг. Отношения между Францией и Священной Римской империей сейчас накалены до предела: если начнется война, императору станет не до Англии. Маятник качается туда-сюда, и сегодня все не так, как было неделю назад. Болейны немного отстают от времени и слишком уж стараются показать, что при дворе Валуа у них влиятельные союзники. Анна по-прежнему хочет выдать свою рыжую дочку за французского принца. В прежние годы его восхищала ее

способность учиться на ошибках, сдавать назад, переигрывать, но когда она что-нибудь вобьет себе в голову, то становится упрямей Екатерины, прежней королевы. Джордж Болейн снова во Франции, снова пытается устроить этот брак, и все без толку. Зачем вообще существует Джордж Болейн? Этот вопрос он задает себе, а вслух говорит:

— Король не может пятнать свою честь дурным обращением с бывшей королевой. Если о чем-нибудь таком прослышат, ему будет неловко.

Анна смотрит скептически: какая-такая неловкость? о чем вообще речь? В комнате полумрак. Карлица за креслом возится, хихикает, бормочет, разговаривает сама с собой. Анна, сидя на бархатных подушках, болтает ногой в бархатной домашней туфле, словно ребенок над ручьем.

— На месте Екатерины я бы тоже интриговала. Я бы не забыла. Я бы действовала, как она. — Тонкие губы недобро улыбаются, серебристый полумесяц на маленькой головке поблескивает в полутьме. — Понимаете, я знаю, что она думает. Пусть она испанка, но я могу поставить себя на ее место. Если бы Генрих меня бросил, я бы не сдалась. Я бы тоже требовала войны. — Королева задумчиво тянет себя за длинную прядь. — Так

или иначе. Король думает, будто она больна. Она и ее дочь. То у них понос, то озноб, то зубы выпадают, то в носу хлюпает, всю ночь они блюют в тазик, весь день лежат-стонут, и все их недуги от Анны Болейн. Так что поезжайте, Кремюэль. Нагряньте без предупреждения, а потом расскажете мне, больна она или притворяется.

Это такая же кокетливая манерность, как и проскальзывающий по временам французский акцент: Анна якобы не в состоянии выговорить его имя. Дверь открывается, входит король. Он склоняется перед королем. Анна не встает с кресла и не делает реверанс.

— Я велела ему ехать, Генрих, — говорит она без всякого вступления.

— Да, Кромвель, пожалуйста. И расскажите нам, что там и как. Вы как никто видите людей насквозь. Когда император хочет меня укорить, он говорит, его тетка умирает от заброшенности, холода и стыда. Так вот, у нее есть слуги. Есть дрова.

— А что до стыда, — вставляет Анна, — она бы давно умерла, если бы стыдилась своей *лжи*.

— Ваше величество, — говорит он, — я отправлюсь на рассвете и завтра, если позволите, пришлю к вам Рейфа Сэдлера с перечнем дел

на день.

Король стонет:

— Значит, мне никак не спастись от вашего длинного списка?

— Никак, сэр. Если я единожды дам вам передышку, вы будете вновь и вновь отсылать меня под разными предлогами. А до моего возвращения не могли бы вы… просто сидеть спокойно и ничего не предпринимать?

Анна сидит как на иголках, как будто письмо брата ее колет.

— Без вас я ничего делать не буду, — говорит Генрих. — Осторожно, дороги сейчас опасны. Я буду за вас молиться. Доброй ночи.

Он оглядывает комнату, примыкающую к спальне, однако Марка здесь нет, только стайка девиц и молодых дам. Мэри Шелтон, Джейн Сеймур и Элизабет, жена графа Вустерского. Кого не хватает?

— Где леди Рочфорд? — с улыбкой спрашивает он. — Не там ли за портьерой? — указывает пальцем туда, откуда вышел. — Думаю, будет укладываться. Так что вы, милые, уложите ее в постель, и у вас будет на шалости вся ночь.

Они хихикают. Леди Вустер качает пальцем:

— Девять часов, идет Гарри Норрис без штанов.

Беги, Мэри Шелтон. Беги медленно-медленно.

— А от кого убегаете вы, леди Вустер?

— Томас Кромвель, так я вам и сказала. Разве может замужняя женщина ответить на подобный вопрос? — Она кокетливо гладит его по рукаву. — Мы все знаем, где мечтает спать Гарри Норрис. Мэри Шелтон для него — лишь грелка на время, а метит он куда выше. Он сам кому хочешь расскажет, что умирает от любви к королеве.

— Я сыграю в карты, — объявляет Джейн Сеймур. — Сама с собой, чтобы не наделать долгов. Господин секретарь, есть ли известия о леди Екатерине?

— Очень сожалею, но мне нечего вам рассказать.

Леди Вустер провожает его глазами. Она ровесница королевы, хороша собой, беспечна и расточительна, особенно сейчас, когда муж в отъезде. Он подозревает, что ему довольно кивнуть, и она тоже будет убегать медленно-медленно. С другой стороны, она графиня, а он — смиренный простолюдин. И обещал выехать до рассвета.

Они едут к Екатерине без шума и помпы, маленький отряд вооруженных людей. Воздух прозрачный, ледяной, бурая кочковатая земля вся в плотном инее, цапли взлетают над замерзшими

озерцами. По краю неба ползут свинцово-серые облака с обманчиво нежным, розовым подбрюшьем; луна, ущербная, как подпиленная монета, плывет впереди всадников по бледному вечернему небу. Кристоф скачет рядом с господином, и чем дальше они забираются в глушь, тем больше ворчит.

— Говорят, король нарочно сослал Екатерину в эти края, чтобы та проплесневела до костей и умерла.

— У него и в мыслях такого не было. Кимболтон хоть старый замок, но очень хороший. У нее есть все, что нужно. Ее содержание обходится в четыре тысячи фунтов ежегодно.

Кристоф довольно долго молчит, потом объявляет:

— Да и вообще все испанцы merde[4].

— Смотри на дорогу, чтобы Дженни не наступила в яму. Обезножишь лошадь — домой будешь возвращаться на осле.

— И-а! — кричит Кристоф так громко, что другие всадники оборачиваются.

Дурачок, беззлобно говорит кто-то. Под темными кронами деревьев на исходе первого дня пути

---

[4] Примечания: 4
Дерьмо (фр.).

они затягивают песню — она согреет усталое сердце и прогонит лесных духов. Средний англичанин насквозь пропитан суевериями. Сейчас, под Новый год, чаще всего поют королевское «В кругу друзей забавы век будут мне по нраву» с различными изменениями. Изменения лишь самую чуточку скабрезны, иначе ему пришлось бы одернуть спутников.

Трактирщик — тощий суетливый человечек, который тщетно пытается выведать, кто его гость. Жена трактирщика — громогласная молодая женщина с недовольным лицом. Он взял в поездку собственного повара. «Зачем, милорд? — возмущается она. — Думаете, мы вас отравим?» Слышно, как она ругается на кухне, объясняя, какие сковородки брать, а какие — нет.

Позже она заходит к нему в комнату и спрашивает: «Угодно что-нибудь еще?» Он отвечает, нет, но она возвращается: «Точно ничего не нужно?» «Говори потише», — отвечает он. Уж на таком-то расстоянии от Лондона королевский викарий по делам церкви может немного ослабить бдительность? «Коли так, оставайся», — говорит он. Лучше эта горлопанка, чем леди Вустер, — меньше опасность, что пойдут разговоры.

Он просыпается до рассвета и не может понять,

где очутился. В комнате темно, с первого этажа долетает женский голос; в первый миг ему кажется, что это орет его сестра Кэт и что он дома накануне бегства от отца, а впереди — целая жизнь. Осторожно двигает рукой, потом ногой — ушибов и порезов нет — и тут наконец вспоминает, кто он и где он. Перекатывается в теплую ямку от женского тела и вновь задремывает, обхватив рукой подушку.

Вскоре снизу доносится пение трактирщицы: та, видимо, хочет сообщить всему дому, что двенадцать дев пошли гулять веселым майским днем, а дальше с ними приключилось что-то нехорошее. Деньги, которые он ей оставил, она прибрала. Когда гости садятся на коней, она не улыбается ему, но говорит с ним, и говорит тихо. Кристоф с барским видом платит трактирщику за постой. День не такой морозный, они едут быстро и без приключений. От всей поездки по Центральной Англии у него останется лишь несколько ярких образов. Пламенеющие ягоды остролиста на темных кустах. Испуганный полет вальдшнепа, который вспорхнул с дороги чуть ли не из-под копыт. Чувство, что они въезжают во влажные края, где земля одного цвета с болотом и так же зыбка.

Кимболтон — оживленный ярмарочный город, однако в сумерках улицы пусты. Нельзя сказать, что они долетели сюда как ветер: незачем утомлять коней, когда дело важное, но не спешное. Екатерина умрет в свой час, их не спросит. К тому же ему полезно выбраться из Лондона. В узких городских улочках, труся на лошади или на муле под карнизами и балконами, под бедной холстиной неба, прорванной островерхими крышами, забываешь, какова она, Англия, как широки поля, как бескрайни небеса, как груб и невежественен народ. Они проезжают мимо придорожного креста, видят свежеразрытую землю. Один из телохранителей говорит:

— Люди думают, что монахи закапывают сокровища. Прячут от нашего хозяина.

— Прячут, конечно, — говорит он. — Но не под крестами. Не настолько они глупы.

На главной улице они останавливаются рядом с церковью.

— Зачем? — спрашивает Кристоф.

— Мне нужно получить благословение, — отвечает он.

— Вам нужно исповедаться, сэр, — говорит телохранитель.

Все улыбаются. Они не стали думать о нем

хуже, просто немного завидуют. Он подметил: заочно его ненавидят все, из знающих — только некоторые. Мы могли бы заночевать в монастыре, посетовал вчера кто-то из слуг, да только там нет женщин.

Он обернулся в седле:

— Ты уверен?

Остальные загоготали.

В стылом пространстве церкви его спутники охлопывают себя по плечам, притопывают и говорят «брр», словно плохие актеры.

— Свистнуть настоятелю? — предлагает Кристоф.

— Не вздумай! — Однако он ухмыляется, вспоминая себя молодого: он бы не только предложил, но и свистнул.

Впрочем, надобности в этом нет. Какой-то подозрительный служка уже заглядывает с фонарем. Без сомнения, кто-нибудь бежит к замку с известием: приехали важные господа, готовьтесь. Уместно предупредить Екатерину заранее, но не обязательно делать это явно и сообщать имена.

— Вообразите, — говорит Кристоф, — мы входим, а она усики выщипывает. Старухи все так делают.

Для Кристофа бывшая королева — старая кар-

га. Он думает: а ведь Екатерина примерно моя сверстница. Однако к женщинам время немилосердней, особенно к тем, кому Бог дал много детей и почти всех забрал.

Робко подходит священник — тихонький старичок. Предлагает показать церковь и ее святыни.

— Вы, должно быть… — Он мысленно пробегает глазами список. — Уильям Лорд?

— Э… нет…

Какой-то другой Уильям. Следует долгое объяснение.

— Не важно, — обрывает он. — Лишь бы ваш епископ знал, кто вы такой.

Перед ними святой Эдмунд, человек с пятью сотнями пальцев; святой изящно тянет носок, как будто танцует.

— Поднимите-ка фонарь, — говорит он. — Там кто, русалка?

— Да, милорд. — Священник испуганно хмурится. — А что, нельзя? Надо убрать?

Он улыбается:

— Просто я подумал, что она далековато от моря.

— Рыбой разит! — хохочет Кристоф.

— Простите мальчишку. Он не поэт.

Священник несмело улыбается. На дубовой

перегородке святая Анна наставляет по книге свою дочь, Деву Марию; Архангел Михаил рубит ятаганом дьявола, обвившего ему ноги.

— Вы к королеве, сэр? Я хотел сказать, — поправляется священник, — к леди Екатерине?

Он думает: старик понятия не имеет, кто я. Какой-то королевский посланник. Может, Чарльз Брэндон, герцог Суффолк. Или Томас Говард, герцог Норфолк. Оба они в свое время испытали на Екатерине весь свой скудный арсенал убеждений и угроз.

Он не называет своего имени, но оставляет пожертвование. Священник держит деньги в руке, будто согревает.

— Вы простите мою оговорку, милорд? Когда я неверно назвал леди Екатерину? Клянусь, я не имел в виду ничего дурного. Здесь в глуши трудно уследить за всеми переменами. Пока мы уясним одно письмо из Лондона, приходит другое, и там все иначе.

— Нам всем непросто. — Он пожимает плечами. — Вы молитесь за королеву Анну каждое воскресенье?

— Конечно, милорд.

— И что на это говорят ваши прихожане?

— Поймите, сэр, они люди простые, — виновато

говорит священник. — Я и не слушаю, что они говорят. — И тут же торопливо добавляет: — Но они все глубоко преданы королю. Глубоко преданы.

— Не сомневаюсь. Сделайте милость, помяните в это воскресенье усопшего Тома Вулси.

Покойного кардинала? По лицу священника видно, как ворочаются старческие мозги. Гость явно не Томас Говард и не Чарльз Брэндон; если при них упомянуть Вулси, они плюнут тебе под ноги.

Когда он выходит из церкви и садится на лошадь, уже темно, в воздухе плывут редкие снежинки. День был долгий, одежда тяжело давит на плечи. Он не верит, что мертвым нужны наши молитвы, однако всякий, читавший Библию, как он, знает: наш Бог — своенравный Бог. Всегда невредно подстелить соломки. Когда с дороги ярким всполохом взмыл вальдшнеп, сердце на миг оборвалось и застучало сильнее. Птица упорхнула в лес, сделалась серой, а он ощущал каждый удар в груди, как взмах крыльев.

Они подъезжают к воротам в полутьме. Окрик со стены, громкий ответ Кристофа:

— Томас Кремюэль, государственный секретарь и начальник королевских архивов!

— Почем нам знать, кто вы? — орет часовой. —

Предъявите грамоту!

— Скажи, пусть отворяет, — говорит он, — или я предъявлю свой башмак его заду.

Здесь, в глуши, церемониться не следует: от него, королевского советника-простолюдина, ждут грубости.

Опускают подъемный мост, гремят древние засовы и цепи. В Кимболтоне запираются рано, молодцы.

— Не повторяйте ошибку священника, — говорит он спутникам. — Во всех разговорах со здешней челядью Екатерина для вас — вдовствующая принцесса Уэльская.

— Кто? — удивляется Кристоф.

— Она не жена короля. Никогда ею не была. Она — супруга усопшего королевского брата Артура, принца Уэльского.

— Слово «усопший» я знаю, — говорит Кристоф. — Оно значит «мертвый».

— Она не королева, не бывшая королева, поскольку ее второй так называемый брак противоправен.

— Она имела глупость переспать сперва с одним братом, Артуром, потом с другим, Генрихом, а это не по закону, — расшифровывает мальчишка.

— И как нам называть такую женщину? — улыбается он.

Появляются факелы, из темноты выступает сэр Эдмунд Бедингфилд, тюремщик Екатерины.

— Могли бы нас предупредить, Кромвель.

— А вот Грейс не в обиде, что я внезапно, ведь правда? — Он целует леди Бедингфилд. — Я не привез с собой ужина, но завтра подоспеет мул с повозкой. Там дичь для вашего стола, а для королевы — миндаль и сладкое вино, которое она, по словам Шапюи, любит.

— Я рада всему, что может пробудить ее аппетит. — Грейс Бедингфилд ведет гостя в большой зал, у камина поворачивается к нему. — Врач подозревает, что у нее в животе опухоль, но это может оказаться надолго. Как будто она без того мало настрадалась, бедняжка.

Он отдает перчатки и плащ Кристофу.

— Вы сразу пойдете засвидетельствовать ей почтение? — спрашивает Бедингфилд. — Мы-то вас не ждали, а она, может, и ждет. Нам непросто: в городе ее любят, так что она многое узнает через слуг, и мы ничего с этим поделать не можем. Я подозреваю, горожане подают сигналы из-за рва, так что ей известно, кто подъезжает.

Две престарелые дамы в испанском платье

вжались в стену и смотрят на него осуждающе. Он кланяется им, и одна на родном языке говорит другой: «Вот человек, который продал душу короля Англии». На стене за ними поблекшая фреска: Адам и Ева рука об руку идут среди зверей, пока еще безымянных. Из листвы робко выглядывает пучеглазый слоник. Он никогда не видел слонов, но по книгам те гораздо больше лошади; может, этот еще не успел вырасти. Ветки дерева гнутся под тяжестью райских плодов.

— Порядок вам известен, — продолжает Бедингфилд. — Она живет в своих покоях, ее женщины — вот эти две — там же ей и готовят. Вы стучите и входите. Если говорите ей «леди Екатерина», она выставляет вас вон, если «ваше высочество», разрешает остаться. Так что я никак ее не называю, словно она — безымянная поломойка.

Екатерина сидит у огня, кутаясь в очень хороший горностаевый плащ. Король захочет после ее смерти забрать меха, думает он. Она протягивает руку для поцелуя, неохотно, но это скорее от холода, чем от неприязни к гостю. Кожа желтая, и в комнате тяжелая духота: слабый звериный запах мехов, торфяной душок колодезной воды, рвотная вонь от таза, который торопливо унесла служанка. Возможно, по ночам вдовствующей

принцессе снятся сады Альгамбры, где она выросла: мраморные мостовые, журчание прозрачной воды в фонтанах, белые павлины, волочащие по земле хвосты, аромат лимонов. Надо было привезти в седельной сумке лимон.

Словно читая его мысли, она заговаривает по-кастильски:

— Мастер Кромвель, давайте отбросим утомительное притворство, будто вы не знаете моего языка.

Он кивает:

— Тяжело бывало стоять, пока ваши служанки меня обсуждают. «Господи, что за урод, у него небось и тело волосатое, как у дьявола».

— Мои служанки так говорили? — Екатерина улыбается уголками губ, прячет руку под плащ. — Где они теперь, те бойкие девушки? Только старухи остались да записные предатели.

— Мадам, все ваше окружение вас любит.

— Они доносят на меня. Передают каждое мое слово. Даже подслушивают мои молитвы. Что ж, сударь. — Она поднимает лицо к свету. — Как, по-вашему, я выгляжу? Что вы ответите королю на его расспросы? Я не видела себя в зеркале много месяцев. — Она похлопывает по горностаевому плащу, натягивает его на уши. Смеется. — Король

называл меня ангелом. Называл прекрасным цветком. Мой первый сын родился в середине зимы, когда вся Англия была засыпана снегом. Я думала, цветов не будет, но Генрих прислал мне розы — шесть дюжин белых шелковых роз. «Они белые, как твоя рука, любовь моя», — сказал он, целуя мои пальцы.

Горностаевые складки шевелятся, и понятно, что рука под ними сжимается в кулак.

— Я храню их в сундуке. Они по крайней мере не увядают. Я дарила их по одной тем, кто был ко мне добр. — Губы шевелятся: безмолвная молитва по усопшим. — Расскажите мне, как нынче поживает дочка Болейна? Говорят, она много молится своему реформированному Богу.

— Она известна своей набожностью. Епископы и богословы ее поддерживают.

— Они ее используют. А она — их. Будь они настоящие служители церкви, бежали бы от нее, как от язычницы. Однако, полагаю, она молится о сыне. Мне сказали, она потеряла ребенка. Я знаю, что это такое, и сочувствую ей от всего сердца.

— Они с королем надеются, что скоро будет еще ребенок.

— Вообще надеются? Или уже есть основания для надежды?

Он медлит. Ничего определенного пока не объявляли, а Грегори мог ошибиться.

— Я думала, она вам сказала по секрету. — Екатерина пытливо всматривается в его лицо: нет ли тени отчуждения. — Говорят, Генрих волочится за ее фрейлинами. — Пальцы гладят мех, рассеянно, круг за кругом. — Как быстро. Они ведь женаты совсем недолго. Наверное, она смотрит вокруг, на своих женщин, и все время спрашивает себя: вы, мадам? или вы? Меня всегда удивляло, что те, у кого нет совести, слепо доверяют другим. Ла Ана думает, у нее есть друзья. Однако если она в ближайшее время не родит королю сына, от нее все отвернутся.

Он кивает:

— Возможно, вы правы. Кто отвернется первым?

— Зачем мне ее предупреждать? — сухо спрашивает Екатерина. — Говорят, в злобе она бранится, как сварливая баба. Немудрено. Королева, а она зовет себя королевой, живет и страдает на глазах у всех. Из женщин над ней одна Царица Небесная, и не к кому обратиться за сочувствием, так что приходится страдать в одиночку. Чтобы снести это, нужна особая твердость духа, и дочь Болейна, сдается, этой твердости лишена.

Екатерина умолкает и сжимается, словно хочет вылезти из одежды. «Вам больно?» — хочет спросить он, но она лишь отмахивается: пустяки, пустяки.

— Королевские джентльмены, которые сегодня клянутся, что отдадут жизнь за ее улыбку, завтра будут обожать другую. Когда-то они обожали меня. Ко мне это отношения не имело и объяснялось лишь тем, что я — жена короля. Однако Ла Ана приписывает свой успех собственным чарам. И к тому же ей следует опасаться не только мужчин. Джейн Рочфорд, сестра ее брата, очень наблюдательна… в бытность моей фрейлиной она частенько рассказывала мне секреты, любовные секреты, которые я предпочла бы не знать. Едва ли время притупило ее зрение и слух. — Пальцы по-прежнему движутся, трут место под ложечкой. — Вы удивляетесь, откуда Екатерина в ссылке знает, что происходит при дворе? Поразмыслите на досуге.

Мне незачем долго гадать, думает он. Жена Николаса Кэрью ваша сердечная подруга. И Гертруда Куртенэ, жена маркиза Экстерского; в прошлом году я поймал ее на участии в заговоре и напрасно не заточил в Тауэр. Возможно, даже крошка Джейн Сеймур, хотя у Джейн после Вулфхолла

появился собственный интерес.

— Я знаю, что у вас есть источники, — говорит он, — но стоит ли им верить? Они действуют от вашего имени, но не в ваших интересах. И не в интересах вашей дочери.

— Вы разрешите принцессе ко мне приехать? Если вы считаете, что ей нужно присоветовать более разумное поведение, кто справится с этим лучше меня?

— Если бы решал я…

— Чем она может навредить королю?

— Поставьте себя на его место. Насколько я знаю, ваш посол Шапюи написал леди Марии, что может вывезти ее из Англии.

— Неправда! Шапюи не стал бы так делать, я ручаюсь за него жизнью.

— Король опасается, что Мария подкупит стражу и, если отпустить ее в путешествие, сбежит на корабле во владения своего двоюродного брата императора.

Он едва сдерживает улыбку при мысли, что худенькая, запуганная девочка пускается в такое дерзкое предприятие. Екатерина тоже улыбается, криво, со злостью.

— И что дальше? Генрих думает, что моя дочь прискачет назад с мужем-иноземцем и свергнет

отца? Убедите его, что у принцессы нет подобных намерений. За нее я тоже ручаюсь жизнью.

— Уж слишком за многих вы ручаетесь жизнью, мадам, хотя умереть можете лишь раз.

— Я бы хотела умереть так, чтобы Генрих, когда придет его срок, мог взять с меня пример.

— Ясно. Вы много думаете о смерти короля?

— Я думаю о его будущей жизни.

— Если вы заботитесь о его душе, то почему все время чините ему препоны? От этого он лучше не становится. Вам никогда не приходило в голову, что Генрих не порвал бы с Римом, если бы вы ушли в монастырь и дали ему возможность жениться во второй раз? Законность вашего брака была поставлена под сомнение; вы могли добровольно принять постриг и сохранить всеобщее уважение. А теперь титулы, за которые вы цепляетесь, пустой звук. Генрих был добрым сыном католической церкви. Вы довели его до крайности, вы, не он, раскололи христианский мир. И я уверен, что вы это знаете не хуже меня. Что по ночам вас терзает совесть.

Молчание, покуда Екатерина перелистывает фолиант своего гнева, ища в нем точное слово.

— Кромвель, то, что вы сказали… омерзительно.

Возможно, она права, думает он. Однако я буду и дальше раскрывать ей глаза, заставлю трезво и безжалостно заглянуть в собственное сердце. Это нужно ради ее дочери. Мария — будущее. Единственный взрослый ребенок короля, единственная надежда Англии, если Господь призовет Генриха к себе и трон опустеет.

— Значит, вы не подарите мне шелковую розу. Жаль.

Долгий взгляд.

— По крайней мере в качестве врага вы на виду. Моим бы друзьям такую откровенность. Англичане — нация лицемеров.

— Неблагодарные люди, — соглашается он. — Насквозь лживые. То ли дело итальянцы. Чистые душой флорентийцы. Венецианцы, известные своей правдивостью. И ваши соплеменники испанцы. Честнейший народ. Про вашего отца Фердинанда говорили, что его погубит открытость.

— Вы смеетесь над умирающей.

— Вы очень многого хотите на правах умирающей. Одной рукой предлагаете в залог жизнь, другой — требуете привилегий за скорую смерть.

— К тем, кто, как я, стоит на краю могилы, обычно бывают добры.

— Я пытаюсь быть добрым, а вы этого не видите. Неужели вы не можете напоследок отбросить упрямство и ради дочери примириться с королем? Если вы при жизни не уладите ссору, после вашей смерти вина ляжет на Марию. А она молода, ей нужно устраивать собственную судьбу.

— Король не станет вымещать обиду на дочери. Я знаю его благородство.

Он молчит. Она по-прежнему любит мужа; в какой-то складочке иссохшего сердца живет надежда услышать знакомые шаги. И как забыть, что Генрих ее любил, если с ней его подарок? На то, чтобы изготовить шелковые розы, ушло несколько недель, значит, король заказал их задолго до того, как узнал, что ребенок — мальчик. «Мы называли его Новогодним принцем, — рассказывал Вулси. — Он прожил пятьдесят два дня, и я считал каждый». Зимняя Англия, снег сыплет густой завесой, ложится на фронтоны и черепицу, бесшумно скользит по оконному стеклу, припорашивает дороги, укутывает поля и крыши, клонит ветви тиса и дуба; птицы примерзают к веткам, рыбы замурованы подо льдом. Колыбель под алым пологом, вся в золотых королевских гербах, закутанные няньки дрожат от холода, в камине горит огонь, свежий новогодний воздух

пахнет корицей и можжевельником. Гордой роженице приносят розы… как? В золоченой корзине? В длинном футляре наподобие гроба, в шкатулке с перламутровой инкрустацией? Или высыпают на одеяло из шелкового чехла, расшитого гранатами? Летят счастливые недели. Ребенок жив. Весь мир знает, что у Тюдоров есть наследник. И вдруг на пятьдесят второй день тишина за пологом: дыхание было — и нет. Женщины хватают принца, плачут от ужаса и горя, крестятся, шепчут молитвы.

— Я постараюсь сделать что могу, — говорит он. — Касательно вашей дочери. Касательно ее приезда.

Насколько опасно провезти одну восемнадцатилетнюю девушку через несколько графств?

— Думаю, король позволит леди Марии вас навестить, если вы посоветуете ей во всем почитать отцовскую волю и признать короля главой церкви.

— В вопросах совести я ничего принцессе указывать не могу. — Екатерина поднимает руку, ладонью к нему. — Я вижу, Кромвель, вы меня жалеете. Не стоит. Я давно готова к смерти и верю, что Господь вознаградит мое служение. И я вновь увижу моих деток, которые ушли на небо

раньше меня.

Его сердце могло бы сжаться от боли, не будь оно в надежной броне. Она хочет мученической смерти на эшафоте, а умрет в болотном краю, одна, задохнувшись собственной рвотой. Он говорит:

— А леди Мария тоже готова умереть?

— Принцесса Мария размышляет о страстях Христовых с самого детства. Когда Господь призовет, она будет готова.

— Да есть ли в вас родительское чувство? Всякий человек оберегал бы свое дитя.

Однако он вспоминает Уолтера Кромвеля. Уолтер топтал меня башмаками, меня, своего единственного сына.

— Я показал вам пример, мадам, когда ваше упрямое противостояние королю и совету привело к ужасающим последствиям. Так что вы можете ошибаться. Я умоляю вас допустить мысль, что вы ошибаетесь и на сей раз. Ради Христа, убедите Марию слушаться короля.

— Принцессу Марию, — устало поправляет она. У нее больше нет сил спорить. Он уже думает уйти, но тут Екатерина поднимает голову: — Давно хотела спросить, на каком языке вы исповедуетесь? Или вы не ходите к исповеди?

— Богу ведомы наши сердца, мадам. Нет надобности в посредниках, в пустых словах.

И в языке тоже, думает он. Бог не нуждается в переводе.

Он вываливается за дверь и чуть не падает на руки Эдмунду Бедингфилду.

— Моя спальня готова?

— А как же ужин?

— Пришлите мне миску похлебки. Я уболтался вусмерть, мне нужна только постель.

— Не желаете грелку? — ухмыляется Бедингфилд.

Значит, телохранители уже все разболтали.

— Нет, Эдмунд, только подушку.

Грейс Бедингфилд огорчена, что он так рано уходит спать. Она надеялась услышать придворные новости; ей тоскливо здесь взаперти с молчаливыми испанками, а впереди еще вся зима. Он вынужден повторить королевские указания: не допускать никакой связи с внешним миром.

— Не беда, если дойдут письма от Шапюи. Будет ей хоть какое-то занятие — разбирать шифр. Императору она больше не важна, его заботит Мария. Но никаких посетителей, кроме тех, кто предъявит королевскую печать или мою. Хо-

тя… — Он представляет себе следующую весну, вторжение императора. Если Екатерина будет еще жива и ее потребуется срочно увезти подальше от племянника, чтобы держать в заложницах, а Эдмунд откажется ее выдать, получится нехорошо. — Вот, видите? — Он показывает кольцо с бирюзой. — Это подарок покойного кардинала, я постоянно его ношу.

— То самое, волшебное? — Грейс Бедингфилд берет его за руку. — Которое разрушает каменные стены и привораживает к вам принцесс?

— Оно самое. Если гонец прибудет с этим кольцом, впустите его.

Сидя на постели, он закрывает глаза, и перед ним встают резные своды Кимболтонской церкви. Человек с колокольчиком Лебедь, агнец, нищий с клюкой, два сердца — символ влюбленных. И гранатовое дерево. Эмблема Екатерины. Надо убрать. Он зевает. Стесать их под яблоки, и довольно. Стар я для лишних усилий. Он вспоминает женщину в гостинице, и ему становится стыдно. Придвигает подушку. Только подушку, Эдмунд.

Когда они садились на коней, трактирщица сказала ему: «Пришлите мне подарок. Пришлите из Лондона что-нибудь, чего здесь не достать».

Надо будет отправить ей что-нибудь из одежды, иначе постояльцы украдут. Он не забудет свое обещание, хотя к возвращению в Лондон едва ли вспомнит, как она выглядела. Он видел ее при свече, потом свеча погасла, а утром, при дневном свете, она казалось совсем другой. Может, это и была не она.

Во сне он видит райский плод на пухлой Евиной ладони и тут же просыпается: если плод спелый, то почему деревья в цвету? Какой это может быть месяц? Какой весны? Ученые-богословы с этим разберутся. Десять поколений неусыпных трудов. Склоненные над книгами тонзуры. Скрюченные пальцы с трудом разворачивают свитки. Для таких бессмысленных вопросов и существуют монахи. Я спрошу Кранмера, думает он, моего архиепископа. Почему Генрих не спросит Кранмера, как ему избавиться от Анны? Кранмер развел короля с Екатериной и уж точно не скажет тому вернуться в ее стылую постель.

Но нет, Генрих не станет говорить о своих сомнениях с Кранмером. Архиепископ любит Анну, считает ее образцом христианской супруги, надеждой евангелистов всей Европы.

Он вновь засыпает и видит во сне цветы, созданные до рождения мира. У них нет стебля; они

из белого шелка и лежат на голой несотворенной земле.

Он входит с докладом и еще издали по журчанию голосов понимает, что сегодня в королевской семье царит согласие. Анна-королева выглядит гладкой, довольной. Они с Генрихом склонились над столом, что-то обсуждают. Перед ними чертежи фризов и капителей, линейки и циркули, чернильницы и ножи для очинки перьев.

Он кланяется и сразу переходит к делу:

— Она нездорова. Визит министра Шапюи стал бы для нее утешением, и, я полагаю, ваше величество могли бы это дозволить.

Анна взвивается с кресла:

— Что?! Позволить им интриговать вместе?

— Ее врач говорит, что скоро она будет лежать в могиле и больше не сможет вам досаждать.

— Она вылетит из гроба, хлопая саваном, если увидит возможность мне навредить.

Генрих умиротворяюще поднимает руку:

— Милая, Шапюи так тебя и не признал. Но когда Екатерина умрет, я заставлю его склониться.

— И все равно я считаю, что его нельзя выпускать из Лондона. Он подстрекает Екатерину, а та подстрекает дочь. Ведь так, Кремюэль? Марию надо вызвать ко двору. Пусть на коленях принесет

клятву отцу, покается в преступном упрямстве и признает, что наследница трона — не она, а моя дочь.

Он указывает на чертежи:

— Это ведь не здание, сир?

Генрих смущается, как ребенок, которого застали за кражей цукатов. Архитектурные элементы на чертежах, все еще непривычные английскому глазу, напоминают те, что он видел в Италии. Рифленые вазы и урны, крылья и драпировки, незрячие маски императоров и богов. Нынче деревья и цветы, вьющиеся стебли и бутоны уступают место победным лаврам, оружию, рукояти ликторского топора, копейному древку. Простотой Анне не угодишь; уже больше семи лет Генрих приноравливается к ее вкусам. Раньше король любил английскую брагу, теперь пьет заморские вина, сладкие, душистые, навевающие дрему. С каждым годом его величество все грузнее.

— Мы строим с основания? — спрашивает он. — Или просто украшаем? И то, и другое стоит денег.

— Какой вы неблагодарный, — говорит Анна. — Король хочет отправить вам дубовые бревна для вашего нового дома в Хакни. И для мастера

Сэдлера, для его нового дома.

Он благодарит наклоном головы, но мысли короля по-прежнему далеко, с женщиной, которая считает себя его женой.

— Что проку Екатерине жить дальше? — спрашивает Генрих. — Я уверен, она устала препираться. Я так точно устал. Лучше ей уйти к святым и мученикам.

— Они ее заждались. — Анна смеется; чересчур громко.

— Воображаю, как она будет умирать, — говорит король. — Как будет говорить, что простила меня. Она вечно меня прощает. А на самом деле прощение нужно ей. За ее гнилую утробу. За то, что она отравила моих детей еще до рождения.

Он, Кромвель, смотрит на Анну: уж конечно, ей есть что сказать? Однако та берет на колени своего спаниеля Пуркуа и зарывается лицом в густую собачью шерсть. Разбуженный песик, поскуливая и вырываясь, глядит, как королевский секретарь с поклоном отступает к дверям.

* * *

У дверей его поджидает жена Джорджа Болейна, тянет в сторону, доверительно шепчет. Если кто-нибудь скажет леди Рочфорд, что идет дождь,

она и из этого раздует интригу; в ее устах новость станет постыдной, невероятной, но, увы, верной.

— Так как? — спрашивает он. — Она и впрямь?

— Неужто она вам не сказала? Что ж, разумная женщина будет молчать до последнего.

Он смотрит без всякого выражения.

— Да, — говорит леди Рочфорд наконец, опасливо поглядывая через плечо. — Ей случалось ошибаться. Но сейчас да.

— Король знает?

— Скажите ему вы, Кромвель. Будьте добрым гонцом. Кто знает, может, он сразу посвятит вас в рыцари.

Он думает: свистнуть Рейфа Сэдлера, позвать Томаса Ризли, отправить письмо Эдварду Сеймуру, вызвать моего племянника Ричарда, отменить ужин с Шапюи, а чтобы не выкидывать еду, пригласим сэра Томаса Болейна.

— Удивляться нечему, — говорит Джейн Рочфорд. — Она была с королем почти все лето. Неделю там, неделю здесь. А когда они расставались, король писал ей любовные письма и отправлял с Гарри Норрисом.

— Миледи, я вынужден вас оставить, у меня дела.

— Ничуть не сомневаюсь. И вы всегда так вни-

мательно меня слушаете. Вникаете в каждое слово. А я говорю, что летом король писал ей любовные письма и отправлял с Гарри Норрисом.

Он не успевает толком разобрать последние слова, хотя задним числом станет ясно, что они застряли в памяти и дополнили некоторые собственные его фразы, пока не сформулированные. Всего лишь фразы. Уклончивые. Неопределенные. Сейчас все зыбко. Екатерина увядает, Анна цветет. Они видятся ему девочками на качелях: раскисшая дорога, на ней камень, на камне доска, на доске, подобрав юбки, сосредоточенно качаются две подружки.

Томас Сеймур говорит с порога:

— Джейн повезло. Он больше не будет раздумывать. К королеве он не притронется, пока она не родит, не станет так рисковать. Значит, ему нужна другая на замену.

Он думает: может быть, у сокрытого короля Англии уже есть пальцы, есть лицо. Впрочем, я уже думал об этом раньше. На коронации Анна так гордо несла живот, а родилась девочка.

— Все равно не понимаю, — говорит старый сэр Джон, снохач. — Не понимаю, зачем ему Джейн. Вот если бы это была Бесс, другая моя дочь. Король с ней танцевал, и она ему очень нравилась.

— Бесс замужем, — напоминает Эдвард.

Томас Сеймур хохочет:

— Это даже лучше!

Эдвард недоволен:

— Не будем о Бесс. Она не согласится. Речь не о ней.

— Может, что и получится, — задумчиво произносит сэр Джон. — До сих пор нам от Джейн не было никакой пользы.

— Верно, — говорит Эдвард. — От Джейн проку как от молочного киселя. Пусть теперь отрабатывает свой хлеб. Королю нужна женщина. Однако не будем ее подталкивать. Пусть все идет, как советует Кромвель. Генрих ее видел. Возымел желание. Теперь она должна его избегать. Нет, она должна дать ему отпор.

— Фу-ты, ну-ты! — фыркает старый Сеймур. — Дороговатое удовольствие!

— Целомудрие дороговато? Пристойность? — возмущается Эдвард. — Ну да, вам они всегда были не по средствам. Молчите уж, старый потаскун. Король закрыл глаза на ваши грехи, но все их помнят. Указывают на улице пальцем: вот старый козел, который развратил жену собственного сына.

— Да, отец, полегче, — соглашается Том. — Мы

говорим с Кромвелем.

— Я боюсь одного, — отвечает он. — Ваша сестра любит свою прежнюю госпожу, Екатерину. Нынешняя королева, зная это, не упускает случая ее обидеть. Если станет известно, что король благоволит к Джейн, боюсь, станет еще хуже. Анна не из тех, кто будет спокойно смотреть на… э… новое увлечение короля. Даже если понимает, что это лишь на время.

— Джейн терпелива, — говорит Эдвард. — Что ей тычок или пощечина? Она будет переносить их со всей кротостью.

— Она будет отказывать королю, чтобы набить себе цену, — добавляет старый Сеймур.

Том Сеймур смеется:

— Он сделал Анну маркизой, прежде чем она уступила.

Лицо Эдварда сурово, как будто тот отдает приказ палачу.

— Сперва маркизой. Затем королевой.

В работе парламента назначен перерыв, но лондонские юристы, по-вороньи хлопая черными мантиями, устраиваются на зимнюю сессию. Радостная новость постепенно расползается из дворца. Анна расслабляет шнуровку. Заключаются пари. Скрипят перья. Печати вжимают в

горячий воск. Седлают коней. Корабли поднимают паруса. Древние английские семейства на коленях вопрошают Бога, за что Тот милостив к Тюдорам. Король Франциск хмурится. Император Карл закусывает губу. Король Генрих танцует.

Ночного разговора в Элветхеме будто и не было. Король вновь уверен в законности своего брака.

Доносят, что Генрих прогуливался по зимнему саду с Джейн Сеймур.

Ее семья зовет его; все собрались вокруг Джейн.

— Что он говорил, сестра? — спрашивает Эдвард Сеймур. — Расскажи мне все, все, что от него слышала.

— Он спросил, буду ли я его любезной.

Все переглядываются. Есть разница между возлюбленной и любезной, известно ли это Джейн? Второе подразумевает подарки, целомудренное обожание, долгие ухаживания… впрочем, они не могут быть слишком долгими, иначе Анна родит и Джейн упустит свой шанс. Женщины не могут предсказать, когда появится на свет их ребенок, и врачи Анны тоже ничего толком не говорят.

— Послушай, Джейн, — говорит Эдвард. — Сейчас не время стыдиться. Рассказывай все.

— Он спросил, буду ли я к нему благосклонна.

— В каком случае?

— Например, если он напишет мне стихи. Восхваляющие мою красоту. Я ответила, что да, буду благосклонна. Выражу признательность. Не стану смеяться, даже тайком. И не стану оспаривать ни одно утверждение, сделанное в стихах. Даже если оно преувеличенное. Потому что в стихах всегда преувеличивают.

Он, Кромвель, поздравляет ее.

— Вы предусмотрели совершенно все, мистрис Сеймур. Из вас вышел бы толковый юрист.

— Вы хотите сказать, родись я мужчиной? — Она хмурится. — Хотя все равно вряд ли, господин секретарь. Сеймуры никогда не были стряпчими.

Эдвард говорит:

— Любезная. Стихи. Отлично. Пока отлично. Но если он попытается тебя тронуть, кричи.

— А если никто не прибежит? — спрашивает Джейн.

Он кладет руку Эдварду на плечо, чтобы прекратить этот разговор.

— Послушайте, Джейн. Не надо кричать. Молитесь. Молитесь вслух, я хочу сказать. Про себя не поможет. Читайте молитву Пресвятой Деве. Любую, какая затронет благочестие его величества.

— Понятно, — отвечает Джейн. — У вас есть с

собой молитвенник, господин секретарь? А у вас, братья? Не важно. Я схожу за своим. Там наверняка есть что-нибудь подходящее.

В начале декабря приходит письмо от врача Екатерины: она ест лучше, хотя молится все так же много. Смерть, судя по всему, отступила от изголовья кровати к изножью. Боли немного ослабели, Екатерина в ясном сознании и воспользовалась этим, чтобы написать духовную. Дочери Марии она отказала золотое ожерелье, привезенное из Испании, и меха. Просит отслужить за упокой ее души пятьсот месс и совершить паломничество в Уолсингем.

Подробности завещания доходят до Уайтхолла.

— Вы их видели, эти меха, Кромвель? — спрашивает король. — Как они вам показались? Если хорошие, я хочу их забрать к себе.

Качели. Один конец доски вверх, другой — вниз.

Фрейлины Анны говорят, и не поверишь, что она носит под сердцем дитя. В октябре выглядела здоровой, а теперь совсем с лица спала. Не полнеет, а только сохнет.

Джейн Рочфорд говорит ему:

— Как будто она стыдится своей беременности. И его величество не так заботлив, как когда она

ходила с огромным пузом. Тогда он надышаться на нее не мог. Исполнял любые капризы, прислуживал ей, как горничная. Я раз видела: она сидит, положила ноги ему на колени, а он их растирает, будто конюх — кобыле со шпатом.

— При шпате растирать бесполезно, — с жаром отвечает он. — Тут нужна особая ковка.

Леди Рочфорд смотрит на него пристально.

— Вы разговаривали с Джейн Сеймур?

— А что?

— Не важно, — отвечает она.

Он видел лицо Анны, когда та смотрела, как Генрих смотрит на Джейн. Ждешь приступа ярости, театральной сцены: изрезанного шитья, разбитого стекла. Но нет: она поджимает губы, обхватывает узорчатым рукавом живот, в котором растет дитя. «Мне нельзя волноваться, это может повредить принцу». Когда Джейн проходит рядом, Анна подбирает юбки. Съеживается, поднимает узкие плечи, словно сиротка на морозе.

Качели.

Ходят слухи, что королевский секретарь привез женщину из Хертфордшира, а может, из Бедфордшира, и поселил у себя в Стипни или в Остин-фрайарз, а может, в Хакни, и заново отделывает для нее дом. Она трактирщица, а ее

мужа бросили в тюрьму за новое преступление, измышленное Томасом Кромвелем. Бедного рогоносца осудят и повесят в ближайшую выездную сессию. Впрочем, многие говорят, что его тайно умертвили в тюрьме: забили дубиной, отравили и перерезали ему горло.

III
Ангелы

Стипни и Гринвич
Рождество 1535 г. — Новый год 1536 г.

Рождественское утро; он быстрым шагом выходит навстречу очередным неведомым передрягам. Путь ему загородила исполинская жаба.

— Это Мэтью?

Из безобразной пасти — детский смешок.

— Саймон. С Рождеством, сэр! Как вы себя чувствуете?

— Усталым. Ты отправил поздравления родителям?

Дети-певчие на лето уезжают домой. В Рождество они при деле — поют.

— Вы идете к королю, сэр? Бьюсь об заклад, при дворе спектакли хуже наших. Мы показываем пьесу про Робин Гуда, и в ней есть король Артур. Я играю жабу Мерлина. Мастер Ричард Кромвель играет Папу Римского. У него миска для подаяния, он кричит: «Мумпсимус-сумпсимус, хокус-по-

кус»{4}. Мы вместо хлеба кидаем ему камни, а он грозит нам адским огнем.

Он хлопает Саймона по бородавчатой спине. Жаба мощным скачком отпрыгивает с дороги.

* * *

После возвращения из Кимболтона Лондон сомкнулся вокруг него: поздняя осень, серые тоскливые вечера, ранняя темнота. Утомительное течение дворцовой жизни затянуло его, приковало к столу; при свечах дневные труды незаметно перетекают в ночные, и порой думаешь, что отдал бы все сокровища мира за один солнечный лучик. Он покупает земли на юге Англии, однако посетить их все недосуг, так что эти пашни, старинные усадьбы за каменными стенами, речки с миниатюрными пристанями, пруды, где клюет рыба, виноградники, цветники, рощи и аллеи остаются для него бумажными и плоскими: не овечьими выгонами, не лугами, где

{4} Примечания: 21

«Мумпсимус-сумпсимус, хокус-покус» — псевдолатинская абракадабра. Слово «мумпсимус» происходит из рассказанного Эразмом Роттердамским анекдота о священнике, который в литургической фразе «Quod ore sumpsimus» («Что мы приняли устами») произносил бессмысленное mumpsimus; хокус-покус (вошедшее в русский язык как «фокус-покус») имитирует произношение слов «Hoc est corpus meum» (сие есть Тело Мое).

коровы стоят по колено в густой траве, не опушками, где трепещет, подняв копыто, белая лань, но пергаментными угодьями, титульными и арендными; их разделяют не древние межевые камни и колючие изгороди, а статьи купчей. Его акры умозрительны, они — источник дохода, источник сосущего беспокойства; он просыпается до серой холодной зари и думает о них — не о вольготной жизни владетеля обширных земель, но о ненадежности границ, сервитутах прохода, проезда и прогона скота, обо всем, что дозволит другим попирать его собственность ногами, вторгаться в прочный мир его будущей старости. Видит Бог, он не селянин по рождению, хотя сразу за улочками его детства начиналась вересковая пустошь. Он целыми днями пропадал там с другими мальчишками, точно так же бежавшими от отцовских кулаков и ремней, от науки, ждавшей их, если хоть минуту простоять на месте. Однако уже тогда его засасывало лондонское городское нутро; задолго до того, как проплыть по Темзе на барке государственного секретаря, он знал ее течения и приливы, знал все, что можно узнать, разгружая лодки и возя на тачке ящики к богатым домам на Стрэнде, домам епископов и лордов, с которыми он теперь ежедневно заседает в совете.

Зимой двор совершает свой положенный круг: Гринвич и Элтхем, дома Генрихова детства, Уайтхолл и Хэмптон-корт, бывшие дворцы кардинала. Король нынче повсюду обедает один в личных покоях. В примыкающем к ним помещении, как бы оно ни называлось в том дворце, где мы остановились сегодня — кордегардией или караульной, — есть стол для знати, за которым председательствует лорд-канцлер. За этим столом восседает дядя Норфолк, когда тот с нами, и Чарльз Брэндон, герцог Суффолкский, и отец королевы, граф Уилтширский. Есть и другой стол, чуть менее почетный, для чиновников вроде него, и для тех старых королевских друзей, кто почему-то до сих пор не получил титула. Здесь сидят Николас Кэрью, шталмейстер, и Уильям Фицуильям, казначей, знающий Генриха с малолетства, а председательствует Уильям Полет, гофмаршал. Его, Кромвеля, долго удивлял обычай людей за этим столом поднимать кубки (и брови), выпивая за кого-то отсутствующего. Пока Полет не объяснил чуть смущенно: «Мы пьем за того, кто сидел тут до меня. За прежнего гофмаршала, сэра Генри Гилфорда, светлая ему память. Вы его, конечно, знали».

Конечно. Кто не знал Гилфорда, искуснейшего

дипломата, первого из царедворцев? Сверстник короля, Генри Гилфорд был правой рукой Генриха с той поры, когда тот восторженным девятнадцатилетним принцем вступил на престол. Хозяин и слуга, одинаково рьяные в поисках славы и удовольствий, вместе мужали, вместе достигли зрелости. Можно было смело биться об заклад, что Гилфорд переживет землетрясение, но тот не пережил Анну Болейн. Гофмаршал не скрывал, что любит свою государыню, королеву Екатерину. («А если бы не любил, — были его слова, — то вступился бы за нее по христианской совести и ради приличий».) Король по старой дружбе простил его, только сказал, давай не будем об этом. Не упоминай Анну Болейн, не спорь, не вынуждай меня с тобой ссориться.

Однако Анне мало было молчания. В тот день, когда я стану королевой, сказала она Гилфорду, вы проститесь со своей должностью.

Мадам, ответил сэр Генри Гилфорд, в тот день, когда вы станете королевой, я подам в отставку.

И сдержал слово. Генрих сказал: «Брось! Это всего лишь женские ревность и злоба. Что они тебе? Не обращай внимания».

«Но я боюсь за себя, — ответил Генри Гилфорд. — За свою семью и доброе имя».

«Не оставляй меня», — взмолился король.

«Вините свою новую жену», — сказал Гилфорд.

И уехал от двора в деревню.

— И там через несколько месяцев умер. Как утверждают, от разбитого сердца, — говорит Уильям Фицуильям.

Общий вздох за столом. Вот так оно и бывает, труд всей жизни позади, впереди — сельская тоска: вереница неотличимых дней от воскресенья до воскресенья. Без Генриха, без света его улыбки. Вечный ноябрь, вечные унылые сумерки.

— Посему мы вспоминаем его, — говорит сэр Николас Кэрью, — нашего старого друга. И пьем — Полет не в обиде — за того, кто был бы гофмаршалом и сейчас, иди все законным чередом.

Кэрью мрачен, как на похоронах; этому чопорному господину неведома легкомысленная веселость. Он, Кромвель, просидел за столом неделю, прежде чем сэр Николас удостоил его взглядом и подвинул блюдо с мясом к нему поближе. Однако за прошедшее время отношения немного смягчились; с ним, Кромвелем, вообще ладить легко. Он видит: меж этими людьми, которых Болейны оттеснили от трона, царит дух товарищества, дух стойкости перед лицом общей беды. Они похожи на тех европейских сектантов,

что ждут конца света, однако верят, что после вселенского пожара воссядут одесную Господа: поджаренные с одного боку, обугленные по краям, но, по Его милости, живые и бессмертные.

Уильям Полет верно напомнил: он и сам знал Генри Гилфорда. Лет пять назад тот радушно принимал его в Лидском замке. Разумеется, Гилфорд чего-то хотел, каких-то кардинальских милостей. И все равно он, Кромвель, многому научился от сэра Генри: как тот ведет светскую беседу, как управляет домом, как осмотрителен и осторожен во всем. Позже он на примере сэра Генри узнал, как Анна Болейн может погубить человека и насколько его сотрапезники далеки от того, чтобы ее простить. Кэрью и иже с ним винят его, Кромвеля, который помог Анне возвыситься, убрав препятствия к новому браку короля. Он не ждет, что его примут в дружеский круг, лишь бы в тарелку не плевали. Однако когда он начинает говорить, Кэрью слегка оттаивает. Порой шталмейстер обращает к нему длинное, и впрямь лошадиное, лицо, порой моргает, как свойственно тугодумам, и спрашивает: «Надеюсь, господин секретарь, сегодня вы в добром здравии?»

И покуда он ищет ответ по разуму сэра Николаса, Уильям Фицуильям ловит его взгляд и

ухмыляется чуть заметно.

В декабре на него рушится лавина бумаг. Часто под конец дня он кипит от злости, потому что отправил Генриху спешные документы, а королевские джентльмены решили придержать их на то время, пока государь не в духе. Несмотря на добрые известия от королевы, Генрих постоянно взвинчен. В любую минуту может задать самый неожиданный вопрос. Почем сегодня на рынке беркширская шерсть? Вы знаете турецкий? А почему нет? А кто знает? Кто основал Гексхемский монастырь?

Семь шиллингов за мешок, и цена растет, ваше величество. Нет. Потому что никогда не бывал в тех краях. Если такого человека можно сыскать, я его найду. Святой Уилфред, сир.

Он закрывает глаза.

— Если не ошибаюсь, шотландцы сровняли его с землей, а Генрих Первый отстроил заново.

— Почему Лютер уверен, что я должен признать догматы его церкви, а не он — мои? — вопрошает король.

Накануне Дня святой Люсии Анна вызывает его к себе, отрывая от дел Кембриджского университета. На подходе к дверям сторожит леди Рочфорд, кладет руку ему на локоть.

— На нее страшно смотреть. Ревет белугой. Вам еще не рассказали? Песик ее погиб. Мы побоялись говорить, передали через короля.

Пуркуа? Ее любимец? Джейн Рочфорд вводит его к королеве. У бедной Анны лицо заревано так, что глаза превратились в щелочки.

— Знаете? — шепчет леди Рочфорд. — Когда она выкинула прошлого ребенка, то не проронила ни слезинки.

Фрейлины держатся от Анны на расстоянии, словно она в шипах. Как там сказал Грегори? «Анна вся локти и колючки». Ее не утешить, не приголубить — протянешь руку, гневно отпрянет, как от угрозы. Екатерина права. Королева одна со своим горем, будь то утрата мужа, собачки или ребенка.

Анна приказывает женщинам уйти: машет на них, как малыш на ворон. Неспешно, словно вороны в павлиньих перьях, дамы подбирают шлейфы, оставляя по себе обрывки разговора: неоконченные сплетни и каркающий смех. Леди Рочфорд, самая упорная из птиц, снимается с места последней, как будто нехотя.

Теперь они с Анной один на один, только в углу что-то бормочет карлица, шевелит руками перед лицом.

— Глубоко соболезную, — произносит он, глядя в пол. Сейчас не время говорить, что она может завести другую собаку.

— Его нашли… — Анна вскидывает руку, — вон там. Во дворе. Окно было открыто. Он лежал со сломанной шеей.

Она не говорит, что Пуркуа сам выпал из окна, потому что, очевидно, думает иначе.

— Помните, как мой кузен Фрэнсис Брайан привез его из Кале? Это было при вас. Фрэнсис вошел, и я сразу схватила Пуркуа на руки. Бедняжка никому не причинял зла. Какому злодею хватило духу его убить?

Анну хочется утешить; она страдает, как будто мучили ее саму.

— Наверное, он вспрыгнул на подоконник и поскользнулся. Про маленьких собачек думаешь, что они умеют падать на четыре лапы, как кошки, ан нет. Наша спаниелиха увидела мышь, спрыгнула у моего сына с рук и сломала лапу. У них косточки такие хрупкие.

— И что с ней сталось?

— Мы не смогли ее вылечить.

Он смотрит на карлицу. Та ухмыляется в углу, ударяет кулаком о кулак. Зачем Анна держит при себе эту умалишенную? Ее надо отправить

в богадельню. Анна, позабыв про изысканные французские манеры, трет глаза кулаками.

— Что слышно из Кимболтона? — Она сморкается в платок. — Говорят, Екатерина проживет еще полгода.

Он не знает, что ответить. Может, она ждет, что он отправит в Кимболтон человека — выбросить Екатерину из окна?

— Французский посол жалуется, что дважды приходил к вам домой и вы его не приняли.

Он пожимает плечами:

— Я был занят.

— Чем же?

— Катал шары в саду. Да, оба раза. Я постоянно упражняюсь в игре, потому что если случается проиграть, бываю весь день не в духе и срываю зло на папистах.

В другой раз Анна бы рассмеялась, сейчас даже не улыбается.

— Я этого посла тоже не люблю, он не выказывает мне должного уважения, как прежний. И все равно вам следует быть к нему внимательнее, поскольку только король Франциск и защищает нас от Папы, иначе бы тот давно вцепился нам в горло.

Фарнезе, как волк, оскаленный, из пасти каплет

кровавая слюна. Едва ли Анна сейчас расположена говорить о политике, но попытаться стоит.

— Франциск помогает нам не из любви.

— Знаю. — Она перебирает в руках платок, ищет сухое место. — И уж точно не из любви ко мне. Я не настолько глупа, чтобы так думать.

— Он всего лишь не дает Карлу нас захватить и стать единовластным повелителем мира. И булла об отлучении ему не по нраву. Не по нраву, что священник, будь он хоть римский епископ, берется свергать королей. Вот бы кто-нибудь умный открыл Франциску глаза на его собственный интерес. Присоветовал встать во главе церкви, как наш государь.

— У него нет своего Кремюэля. — Анна улыбается сквозь слезы.

Он ждет. Знает ли Анна, как относятся к ней французы? Они уже не верят в ее влияние на Генриха. И пусть вся Англия присягнула ее будущим детям, никто за границей не представляет маленькую Елизавету на троне. Как сказал ему французский посол (при последней встрече): коли выбор из двух женщин, почему бы не предпочесть старшую? Да, Мария испанских кровей, ну так хоть королевских. И она по крайней мере уже не пачкает пеленки.

Карлица выезжает из угла на заду, тянет хозяйку за юбки.

— Отстань, Мария! — Анна видит выражение его лица и смеется. — Так вы не знали, что я заново окрестила мою дурочку? Королевская дочка почти карлица, ведь верно? Даже ниже матери. Увидели бы ее французы, пришли бы в ужас. Думаю, у них и мысли бы не осталось, что она может наследовать королю. О да, Кремюэль, я отлично знаю, что они интригуют за моей спиной. Они принимали моего брата, но на самом деле и не собирались договариваться о браке Елизаветы.

Ну вот, думает он, значит, она все-таки поняла наконец, что к чему.

— Все это время они пытались устроить брак дофина с испанской приблудой. Улыбались мне в лицо, а сами строили против меня козни. А вы знали и молчали.

— Мадам, — говорит он, — я пытался вам сказать.

— Как будто меня не существует. Как будто моей дочери нет. Как будто Екатерина все еще королева. — Ее голос становится резче. — Я этого не потерплю.

«Что вы сделаете?» — думает он, и она почти без паузы отвечает на незаданный вопрос:

— Я придумала, как поступить. С Марией.

Он ждет.

— Я поеду к ней. И не одна. А с приятными молодыми джентльменами.

— В них у вас недостатка нет.

— Или почему бы вам, Кремюэль, ее не навестить? В вашей свите тоже красавцев хватает. Вы знаете, что несчастная в жизни не слышала комплимента?

— Думаю, от отца все-таки слышала.

— Для восемнадцатилетней девицы отец уже ничто. Ей нужно совсем другое внимание. Поверьте мне, я сама была такой же дурочкой, как и все. Она мечтает, чтобы кто-нибудь писал ей стихи и вздыхал, когда она входит в комнату. Признайте, что этот подход мы еще не испробовали. Соблазнить ее.

— Вы предлагаете мне ее скомпрометировать?

— Нам с вами это вполне по силам. Можете даже соблазнить ее сами, кто-то сказал мне, что вы ей нравитесь. А мне было бы занятно посмотреть, как Кремюэль разыгрывает влюбленного.

— Лишь глупец станет приближаться к Марии. Король его убьет.

— Я не предлагаю с ней переспать. Видит Бог, я не стану требовать от друзей такой жертвы.

Только и нужно, чтобы она публично выставила себя дурой.

— Нет, — отвечает он.

— Почему?

— Это не моя цель и не мои методы.

Анна багровеет. Кожа у нее на горле идет пятнами от злости. Он думает: сейчас она готова на все, для нее нет границ.

— Вы пожалеете, что так со мной говорили. Вы думаете, что достигли вершин власти и я вам больше не нужна. — Голос у нее дрожит. — Мне все известно про вас и Сеймуров. Вы думаете, это тайна, но я знаю все. Когда мне сказали, я была потрясена. Я не думала, что вы поставите свои деньги на такую дрянную карту. Чем может похвалиться Джейн Сеймур, кроме девственности, и что проку от девственности на следующее утро? Вчера она королева его сердца, сегодня — очередная девка, которой не хватило мозгов держать ноги вместе. У Джейн ни ума, ни красоты. Она за неделю Генриху надоест, он отправит ее назад в Вулфхолл и забудет.

— Возможно, — говорит он. И впрямь не исключено, что так и будет; этот вариант не следует сбрасывать со счетов. — Мадам, когда-то вы прислушивались к моим советам, прислушайтесь и

теперь. Не утомляйте себя дурными мыслями. Вы сами говорили, что они могут повредить ребенку. Склонитесь перед желаниями короля. Что до Джейн, она бледна и незаметна, ведь так? Вот и не замечайте ее. Отворачивайтесь и не смотрите на то, чего вам видеть не надо.

Анна, сцепив руки на коленях, подается вперед.

— Я тоже дам вам совет, Кремюэль. Примиритесь со мной до того, как родится ребенок. Даже если это будет девочка, я рожу еще. Генрих меня не бросит. Он слишком долго ждал, и я не обманула его ожиданий. А отвернуться от меня значит зачеркнуть те великие и дивные труды, что совершены в этой стране при мне. Я о евангельских трудах. Генрих не склонится перед Римом. После моей коронации Англия стала иной, и без меня она не устоит.

Ошибаетесь, мадам, думает он, если надо будет, я вычеркну вас из истории. А вслух говорит:

— Надеюсь, мы не в ссоре. Я всего лишь даю вам дружеский совет. Вы знаете, я — отец семейства, вернее, был им прежде. Я всегда советовал жене не волноваться, пока она в тяжести. Если я чем-нибудь могу быть вам полезен, скажите, я все исполню. — Он поднимает на нее глаза. — Но

не угрожайте мне, сударыня, я этого не люблю.

— Мне плевать, что вы любите. Помните, мастер Кромвель, тех, кого подняли из грязи, можно сбросить обратно в грязь.

— Полностью согласен.

Он откланивается. Ему жалко Анну: она пускает в ход женское оружие, поскольку не имеет другого. В соседней комнате поджидает Джейн Рочфорд.

— Все хнычет? — спрашивает она.

— Нет, уже взяла себя в руки.

— Она подурнела, вам не кажется? Может, слишком много была этим летом на солнце? У нее появляются морщины.

— Я ее не разглядывал, мадам. Подданному это не пристало.

— Вот как? — со смехом отвечает Джейн. — Так я вам скажу. Она выглядит на свои годы и даже старше. Наши лица не случайны, они несут следы всех наших грехов.

— Господи! Чем же я так нагрешил?

Она хохочет:

— Господин секретарь, это мы все очень хотели бы знать. Однако, быть может, не у всех лицо — зеркало души. Говорят, Мэри Болейн у себя в деревне цветет, как майский день. Где справед-

ливость? Мэри — с которой кто только не спал. А поставить их рядом — так Анна покажется… как это сказать? Истасканной.

Щебеча, в комнату впархивают другие дамы.

— Она там одна? — спрашивает Мэри Шелтон (как будто Анну нельзя оставлять и на минуту) и, подхватив юбки, бежит в соседнюю комнату.

Он прощается с леди Рочфорд, но кто-то путается под ногами, мешает идти. Это карлица на четвереньках. Она рычит и как будто хочет его укусить. Он еле сдерживается, чтобы не отпихнуть ее ногой.

Дневные заботы идут своим чередом. Он гадает, каково Джейн Рочфорд быть замужем за человеком, который ее унижает и открыто путается с другими. Этого не узнать: у него нет способа проникнуть в ее чувства. Однако ему неприятно, когда Джейн трогает его за руку: у нее из пор словно сочится несчастье. Она смеется ртом, но не глазами; они так и стреляют по сторонам, примечая все и вся.

В тот день, когда из Кале доставили Пуркуа, он, Кромвель, поймал Фрэнсиса Брайана за рукав: «Где мне раздобыть такого же?» А, для вашей милой, сказал одноглазый черт в надежде подцепить сплетню. Нет, с улыбкой ответил он, для

себя.

Письма полетели через пролив, Кале забурлил. Государственный секретарь хочет песика. Отыщите ему, отыщите скорее, пока кто другой не расстарался. Леди Лайл, супруга губернатора, почти готова была расстаться с собственным любимцем. Ему прислали целый пяток спаниелей, пятнистых и улыбающихся, с миниатюрными лапками и пушистым хвостом. Однако ни один не умел, как Пуркуа, смотреть, вопросительно подняв уши. Pourquoi?

Хороший вопрос.

Рождественский пост. В кладовых изюм, миндаль, мускатный орех и мускатный цвет, инжир, лакрица, гвоздика, имбирь. Послы английского короля в Германии ведут переговоры со Шмалькальденской лигой, союзом немецких протестантских князей. Император в Неаполе. Барбаросса в Константинополе. Антони в главном зале Стипни, сидит на деревянной лестнице в балахоне, расшитом звездами и полумесяцами. Кричит:

— Как дела, Том?

Над головой у Антони качается Рождественская звезда. Он, Кромвель, смотрит на ее посеребренные лучи, острые, как ножи.

Антони в доме только с прошлого месяца, но уже невозможно представить его нищим у ворот. Когда возвращались из Кимболтона, у входа в Остин-фрайарз собралась огромная толпа. В провинции его, может быть, и не знают, однако здесь, в Лондоне, королевский секретарь известен всем. Народ пришел поглазеть на ливрейных слуг, на свиту и лошадей, но он в тот раз ездил без шума, в сопровождении лишь нескольких усталых телохранителей. «Где были, лорд Кромвель?» — закричал кто-то, словно он должен отчитываться перед лондонцами обо всех своих делах. Порой он видит себя в лохмотьях, солдатом разбитой армии, бездомным мальчишкой, бродягой у собственных ворот.

Они уже собирались въехать во двор, когда через толпу пробился тощий человечек и вцепился в его стремя. Человечек безудержно рыдал и был настолько жалок, настолько явно не мог причинить никому вреда, что телохранители не стали его отгонять, хотя у самого Кромвеля мороз пробежал по коже: вот так тебя и ловят, отвлекают твое внимание, в то время как убийца с кинжалом подбирается со спины. Однако позади надежная стена телохранителей, а человечек трясется так, что выхвати сейчас клинок — бух-

нется на колени. Он наклоняется в седле.

— Я тебя знаю? Вроде бы я видел тебя здесь раньше.

По впалым щекам катятся слезы. Во рту ни единого зуба — тут поневоле заплачешь.

— Да благословит вас Бог, милорд. Да подаст Он вам богатство и процветание.

— Подает, не жалуюсь.

Ему надоело объяснять всем и каждому, что он им не милорд.

— Возьмите меня к себе, — молит человечек. — Как видите, я в лохмотьях. Я готов, если вам будет угодно, спать вместе с собаками.

— Собакам это едва ли будет по вкусу.

Кто-то из телохранителей говорит:

— Вытянуть его хлыстом, сэр?

Человечек вновь принимается рыдать.

— Ш-ш-ш, — говорит он, как ребенку. Плач становится громче, слезы хлещут так, будто их качают насосом. Может, этот бедолага все зубы себе выплакал? Такое бывает?

— Я остался без хозяина, — рыдает несчастный. — Мой бедный господин погиб при взрыве.

— Господи помилуй, что за взрыв?

Это уже серьезно: на что люди переводят порох, который нужен нам для войны с императором?

Человечек шатается, обхватив себя за грудь — ноги не держат. Он, Кромвель, наклонившись, хватает его за шиворот; не хватало только, чтобы этот оборванец рухнул на землю и напугал лошадей.

— Стой прямо. Как тебя зовут?

Сдавленный всхлип.

— Антони.

— Что ты умеешь, кроме как рыдать?

— С вашего позволения, на прежнем месте меня очень ценили. До того как… увы! — Человечек заходится в рыданиях.

— До взрыва, — терпеливо говорит он. — Так что ты делал? Поливал сад? Чистил нужники?

— Увы, — плачет несчастный. — Ничего такого полезного. — Грудь его вздымается. — Сэр, я был шутом.

Он, Кромвель, выпускает шиворот человечка и принимается хохотать. В толпе недоверчиво хмыкают. Телохранители прыскают от смеха.

Человечек выпрямляется и смотрит ему в лицо. Слезы больше не текут, на губах — робкая улыбка.

— Так я иду с вами, сэр?

Сейчас, под Рождество, Антони без устали рассказывает домашним о разных бедах, при-

ключавшихся с его знакомцами в это время года: кого-то поколотил трактирщик, у кого-то сгорела конюшня, у кого-то разбежался скот. Домашние слушают, раскрыв рот. Антони умеет говорить разными голосами, мужскими и женскими, заставляет собак дерзко отвечать хозяевам, передразнивает посла Шапюи и вообще любого — только назови имя.

— А меня ты изображаешь? — спрашивает он.

— Где уж мне! — отвечает шут. — Хорошо иметь хозяина, который картавит, или поминутно крестится и восклицает: «Святые угодники!», или хмурится, или у него дергается веко. А вы не насвистываете, не шаркаете ногами, не щелкаете пальцами.

— У моего отца был исключительно дурной нрав, так что я с детства приучен вести себя тихо. Если он меня замечал, то колотил.

— А что там, — Антони, глядя ему в глаза, постукивает себя по лбу, — никому не ведомо. Мне проще изобразить ставень. У доски и то больше выражения. У кадки.

— Если хочешь другого хозяина, я дам тебе рекомендации.

— Я придумаю, как вас изобразить. Когда научусь изображать дверной косяк. Межевой

камень. Статую. На севере есть статуи, которые двигают глазами.

— У меня таких несколько. Под замком.

— А ключ не дадите? Хочу посмотреть, как они двигают глазами в темноте, без служителей.

— Ты папист, Антони?

— Возможно. Я люблю чудеса. Совершал паломничества. Но кулак Кромвеля ближе, чем рука Божья.

В Сочельник Антони поет «В кругу друзей забавы», изображает короля, нацепив вместо короны миску, раздувается на глазах: тощие руки и ноги становятся мясистыми. У короля смешной голос, слишком высокий для такого здоровяка. Обычно при дворе мы делаем вид, будто не замечаем этого. Однако сейчас он смеется, прикрывая рукой рот. Где Антони видел короля? Да так близко, что запомнил каждое движение? Может, много лет вертелся во дворце, получая поденную плату, и никто не спросил, откуда такой взялся. Если можешь изобразить короля, сумеешь изобразить и деловитого слугу.

Наступает Рождество. Звонят колокола Святого Дунстана. В воздухе порхает снег. У спаниелей на шее ленточки. Первым приходит мастер Ризли, который в свои кембриджские деньки блистал

на тамошней сцене, а теперь руководит всеми домашними спектаклями.

— Дайте мне маленькую роль, — упрашивал его Кромвель. — Скажем, дерева. Тогда мне не придется ничего учить. Деревья шутят экспромтом.

— В Индии, — встревает Грегори, — деревья умеют ходить. В сильный ветер они поднимаются на корнях и уходят туда, где меньше дует.

— Кто тебе сказал?

— Боюсь, что я, — отвечает Зовите-Меня-Ризли. — Но, думаю, беды не случилось, а Грегори зато порадовался.

Хорошенькая жена Ризли наряжена девой Мэрион, волосы распущены и ниспадают до талии. Сам Ризли в женском платье, его двухлетняя дочь цепляется за юбки.

— Я — девственница, — объявляет Зовите-Меня. — Сегодня они такая редкость, что на их поиски отправляют единорогов.

— Фу. Подите переоденьтесь. — Он поднимает вуаль на лице Ризли. — Не больно вы похожи на девицу, с вашей-то бородой.

Зовите-Меня делает реверанс.

— Но мне нужно маскарадное платье, сэр.

— У нас остался костюм червяка, — вставляет Антони. — Или можете нарядиться исполинской

розой.

— Святая Ункумбера{5} была девственница, и у нее выросла борода, — сообщает Грегори. — Борода отпугивала ухажеров и защищала ее целомудрие. Женщины молятся святой Ункумбере, когда хотят избавиться от мужей.

Зовите-Меня уходит переодеваться. В червяка или в цветок?

— Нарядитесь червяком в цветке! — кричит вслед Антони.

Входят Рейф и племянник Ричард, переглядываются. Он, Кромвель, берет на руки дочку мастера Ризли, хвалит ее чепец, спрашивает про новорожденного братца.

— Мистрис, я позабыл ваше имя.

— Меня зовут Элизабет, — отвечает дитя.

— Вас теперь всех, что ли, так называют? — смеется Ричард Кромвель.

Я переманю Зовите-Меня на свою сторону, думает он, окончательно докажу ему, что служить Гардинеру невыгодно, а выгодно быть верным

{5} Примечания: 22

Святая Ункумбера (известная также под именами Либерата, Вильгефорта и др.) — вымышленная святая, которая якобы вымолила себе бороду, чтобы не выходить замуж, за что была распята родным отцом. Легенда возникла из-за того, что на раннесредневековых распятиях Христос изображался в длинной одежде; когда эта традиция исчезла, их стали принимать за изображения бородатой женщины на кресте.

только мне и королю.

Когда приходит Ричард Рич с женой, он восхищается ее новыми рукавами червленого атласа.

— Роберт Пакингтон запросил за них шесть шиллингов, — негодует она. — И четыре пенса за подкладку.

— А Рич ему заплатил? — смеется он. — Лучше не платить, а то Пакингтон совсем обнаглеет.

Приходит и сам Пакингтон, насупленный и мрачный, явно хочет что-то сказать — и не просто осведомиться о здоровье. С Пакингтоном Гемфри Монмаут, член гильдии суконщиков, несгибаемый реформат.

— Уильям Тиндейл по-прежнему в тюрьме и приговорен к казни. — Пакингтон собирается с духом. — В наш праздник я думаю о его страданиях. Что ты сделаешь для нашего брата, Томас Кромвель?

Пакингтон евангелист, реформат, один из старейших друзей Кромвеля, и Кромвель по-дружески излагает ему свои затруднения: для переговоров с властями Нидерландов нужно королевское разрешение Генриха, которого Генрих не даст, поскольку Тиндейл не признал его развод. Как и Мартин Лютер, Тиндейл считает брак с Екатериной законным и упрямо стоит на

своем, не слушая никаких резонов. Уж казалось бы, для спасения собственной жизни можно и уступить королю, но Тиндейла сдвинуть не легче, чем гранитную глыбу.

— Так пусть идет на костер, ты это хочешь сказать? Счастливого тебе Рождества, господин секретарь. Люди говорят, деньги бегут за тобой, как спаниели за хозяином.

Он берет Пакингтона за локоть.

— Роберт… — И тут же отступает на шаг. — Да, люди говорят правду.

Он знает, о чем думает его друг. Государственный секретарь способен повлиять на короля, но не заступается за Тиндейла, потому что озабочен только своей мошной. Хочется сказать: Бога ради, дайте мне хоть день передышки.

Монмаут говорит:

— Ты помнишь наших братьев, которых сжег Томас Мор? И тех, кого он затравил до смерти? Тех, кого сломило заточение?

— Тебя оно не сломило. И ты дожил до казни Мора.

— Однако он тянет руки из могилы, — говорит Пакингтон. — Мор разослал агентов, они и выдали Тиндейла голландским властям. Коли тебе не по силам убедить короля, может, его умилости-

вит королева?

— Королева сама нуждается в помощи. И если вы хотите ей помочь, скажите женам — пусть придержат свои злые языки.

Дочери (вернее, падчерицы) Рейфа зовут его полюбоваться их нарядами, однако от разговора остался горький привкус во рту, который не пройдет до конца праздника. Антони сыплет шутками; он, Кромвель, не слушая, смотрит на девочку в костюме ангела. За спиной у нее крылья из павлиньих перьев, сделанные им для Грейс когда-то давным-давно.

Давным-давно? Еще и десяти лет не минуло. Глазки2 на перьях мерцают; день темный, но свечи озаряют алые ягоды остролиста в венках из золотой мишуры, серебряную Рождественскую звезду. Вечером, когда за окном сыплет снег, Грегори спрашивает его:

— Где теперь живут мертвые? Есть у нас Чистилище или нет? Говорят, оно по-прежнему существует, но никто не знает где. Говорят, без толку молиться за страдающие души. Мы уже не можем, как раньше, их отмолить.

Когда умерли его близкие, он сделал все, что тогда было положено: внес пожертвования, заказал мессы.

— Не знаю. Король не позволяет проповедовать о Чистилище, слишком это спорный вопрос. Можешь побеседовать с епископом Кранмером. — Он кривит рот. — Узнаешь от него, как принято думать сегодня.

— Очень грустно, что мне не разрешают молиться за маменьку. Или говорят: молись, если хочешь, но тебя все равно никто не услышит.

Как вообразить полнейшую тишину в преддверии Божьих покоев, где каждый час — десять тысяч лет? Раньше представлялось, что души усопших лежат в огромной сети, в протянутой Богом паутине — хранятся там до поры, когда им придет время вступить в Его свет. Но коли она порвана, высыпались ли души в ледяное ничто, падают ли с каждым годом все дальше в безмолвие, чтобы в конце концов исчезнуть без следа?

Он подводит малышку к зеркалу — показать крылья. Девочка ступает мелкими шажками, благоговея перед самой собой. Павлиньи глазки2 говорят с ним из зеркала. Не забывай нас. На исходе каждого года мы здесь: шепот, касание, веяние перышка между тобой и нами.

На четвертый день Святок в Стипни приезжает Эсташ Шапюи, посол Священной Римской империи. Все радушно встречают гостя, желают ему

счастья на латыни и на французском. Эсташ — савойяр, немного знает испанский, английским не владеет совсем, хотя последнее время начал кое-что понимать на слух.

В Лондоне они сдружились домами после того, как в особняке Шапюи случился пожар и черные от копоти погорельцы, таща на себе уцелевшие пожитки, заколотили в ворота Остин-фрайарз. Посол лишился мебели и гардероба; нельзя было без смеха смотреть, как бедолага кутается в обгорелую занавеску поверх одной лишь ночной рубашки. Шурину Джону Уилкинсону пришлось освободить для нежданного визитера свою комнату; домашние посла ночевали в гостиной на соломенных тюфяках. На следующий день щуплый испанский посланник вынужден был, к своему смущению, явиться на людях в непомерно большой одежде с хозяйского плеча — не надевать же кромвелевскую ливрею, а другого платья в доме не сыскали. Кромвель тут же задал работу портным. «Не знаю, найдем ли мы ваш любимый огненно-алый шелк, но я уже написал в Венецию». На следующий день они вместе обошли полусгоревший дом. Разгребая палкой мокрую черную массу — все, что осталось от официальных бумаг, — Шапюи тихонечко всхлипнул. «Как

вы думаете, это Болейны?»

Посол так и не признал Анну Болейн, так и не был ей представлен. Генрих сказал, что Шапюи не увидит новую королеву, пока не согласится приветствовать ее, как положено. Шапюи верен старой королеве, той, что сейчас в Кимболтоне. Генрих говорит: когда-нибудь, Кромвель, надо ткнуть его носом в реальность. Хотел бы я видеть, как поведет себя Шапюи, если окажется перед Анной и увильнуть будет некуда.

Сегодня на голове у посла курьезная шапка — такая больше пристала бы повесе вроде Джорджа Болейна, чем солидному дипломату.

— Как она вам, Кремюэль? — Посол сдвигает шапку набекрень.

— Очень к лицу. Мне надо будет раздобыть себе такую же.

— Позвольте вам презентовать… — Шапюи изысканным жестом сдергивает убор с головы, но тут же замирает. — На вашу голову не налезет. Я закажу для вас чуть больше. — Берет Кромвеля под руку. — Мон шер, общество ваших домашних, как всегда, чрезвычайно приятно, но нельзя ли нам поговорить с глазу на глаз?

Наедине посол сразу бросается в бой:

— Говорят, король прикажет священникам

жениться.

Атака застает его врасплох, но он решает не терять благодушия.

— Тут есть свои хорошие стороны — лицемерия было бы меньше. Однако могу вас заверить, этого не будет. Король и слышать о таком не желает. — Он пристально смотрит на Шапюи: уж не прознал ли тот, что Кранмер, архиепископ Кентерберийский, тайно женат? Нет, в таком случае посол не стал бы молчать. Все они, так называемые католики, ненавидят Томаса Кранмера почти как Томаса Кромвеля. Он указывает послу на лучшее кресло. — Может, присядем и выпьем немного кларету?

Шапюи не дает сменить разговор.

— Я слышал, вы хотите выбросить на улицу всех монахов и монахинь.

— Кто вам сказал?

— Подданные вашего короля.

— Послушайте, сударь. Мои проверяющие только и слышат от монахов, что просьбы их отпустить. А монахини в слезах умоляют моих людей избавить их от неволи. Я собираюсь назначить монахам пенсии или отыскать полезное занятие. Если они учены, пусть идут в университеты. Если рукоположены — в прихо-

ды. И монастырские деньги, хотя бы отчасти, я хочу отдать приходским священникам. Не знаю, как в вашей стране, а у нас иные приходы дают четыре-пять шиллингов в год. Как печься о душах за деньги, которых не хватает на дрова? А когда священники получат доход, на который возможно жить, я поручу каждому наставлять и поддерживать одного бедного студента, чтобы тот мог окончить университет. Начиная со следующего поколения у нас будет образованное духовенство. Передайте своему господину мои слова. Объясните, что я хочу не растоптать религию, а возрастить.

Однако Шапюи нервно теребит рукав и гнет свое:

— Я не лгу своему господину. Я рассказываю о том, что вижу. А вижу я народное недовольство, Кремюэль, нищету и голод. Вы покупаете зерно во Фландрии. Благодарите императора, что тот позволяет своим землям вас кормить. Вы же знаете, он может закрыть порты.

— Чего ради ему морить голодом моих соотечественников?

— Чтобы они поняли, как дурно ими управляют, до чего довели их королевские непотребства. Что ваши послы делают в Германии? Говорят с

тамошними князьями, говорят, говорят, месяц за месяцем. Знаю, они хотят заключить союз с лютеранами и завести здесь такие же порядки.

— Король не позволит изменить чин мессы. Он ясно об этом говорит.

Шапюи поднимает палец.

— Однако еретик Меланхтон посвятил ему книгу! Книгу не спрячешь, верно? Сколько бы вы это ни отрицали, Генрих рано или поздно отменит половину таинств и войдет в союз с еретиками против моего господина, их законного императора. Генрих начал с насмешек над Папой, а закончит дружбой с дьяволом.

— Сдается, вы знаете его лучше меня. Генриха, я хочу сказать. Не дьявола.

Ничто не предвещало такого поворота событий. Всего десять дней назад они с Шапюи дружески ужинали, и посол сказал, что император думает только о безопасности страны. Тогда и речи не было о блокаде, о том, чтобы уморить Англию голодом.

— Эсташ, — спрашивает он, — что стряслось?

Тот резко садится, упирает локти в колени и подается вперед. Шапка сползает на лоб, и посланник без всякого сожаления бросает ее на стол.

— Томас, мне написали из Кимболтона. Сообщают, что королева не может есть, даже пить не может — ее тошнит. За шесть ночей она не проспала двух часов кряду. — Шапюи трет кулаками глаза. — Ей остались считанные дни. Я не хочу, чтобы она умерла одна, не видя рядом ни одного любящего лица, и боюсь, что король меня к ней не пустит. Вы позволите мне поехать?

Горе Шапюи неподдельно, оно идет от сердца, а не от обязанностей посла.

— Мы поедем в Гринвич и спросим короля, — говорит он, Кромвель. — Сегодня. Сейчас. Надевайте свой колпак.

На барке он говорит:

— Ветер почти весенний. Будет оттепель.

Шапюи только сильнее кутается в овечий мех.

— Сегодня король собирался участвовать в турнире.

— На снегу? — фыркает посол.

— Поле можно расчистить.

— Уж конечно, руками монахов.

Ну как тут не рассмеяться!

— Нам надо надеяться, если турнир состоялся — тогда Генрих сейчас настроен благодушно. Он только что навещал маленькую принцессу в Элтхеме. Спросите о ее здоровье. И вам следует

сделать ей новогодний подарок, вы этим озаботились?

Посол только злобно сверкает глазами: ему бы хотелось пристукнуть маленькую Елизавету, а не слать ей подарки.

— Хорошо, что река не встала. Иногда мы не можем путешествовать на лодках несколько недель. Видели замерзшую Темзу?

Никакого ответа.

— Екатерина сильна, вы же знаете. Если не наметет еще снега и король разрешит, сможете выехать завтра утром. Она болела и прежде, но всегда выкарабкивалась. Вот увидите: она будет сидеть на постели и еще удивится, чего вы приехали.

— Зачем вы болтаете? — мрачно спрашивает посол. — На вас это непохоже.

И впрямь, зачем? Смерть Екатерины станет для Англии избавлением. Карл, при всей своей нежной любви к тетке, не будет продолжать ссору из-за покойницы. Угроза войны исчезнет. Начнется новая эра. Лишь бы Екатерина не слишком мучилась — в этом нет никакой надобности.

Они швартуются у королевской пристани. Посол говорит:

— У вас такая долгая зима. Хотел бы я помоло-

деть и вновь оказаться в Италии.

Пристань расчищена, но поля по-прежнему заметены снегом. Посол учился в Турине. Там нет такого ветра, завывающего между башнями, словно неупокоенный дух.

— Вы забыли про болота? Про вредные испарения? Я, как и вы, помню только солнце. — Он под локоток сводит посла на берег. Шапюи двумя руками придерживает колпак. Бахрома намокла и обвисла, сам посол выглядит так, будто сейчас расплачется.

Их встречает Гарри Норрис.

— «Добрый Норрис», — шепчет Шапюи. — Нам еще повезло, мог бы оказаться кто-нибудь похуже.

Норрис, как всегда, сама учтивость.

— Было несколько поединков, — отвечает он на вопрос Кромвеля. — Его величество выиграл во всех и сейчас пребывает в отличном расположении духа. Мы переодеваемся для маски{6}.

Всякий раз при виде Норриса ему вспоминается бегство Вулси в пустой и холодный Эшерский

{6} Примечания: 23

Маска — представление, в котором участвовали сами придворные, обычно с аллегорическим или мифологическим сюжетом. Маски включали балет и музыку, но главным в них была невероятная роскошь костюмов и декораций.

дом: кардинал на коленях в грязи, бормочет благодарности, потому что король отправил ему вдогонку Норриса с ободряющими словами. Вулси встал на колени, чтобы вознести хвалу Богу, но казалось, что он бухнулся в грязь перед Норрисом. И всей обходительности Норриса не изгладить из памяти Кромвеля эту картину.

Во дворе беготня, толчея, музыканты настраивают инструменты, старшие слуги нещадно гоняют младших. Король выходит к ним вместе с французским послом — неприятный сюрприз для Шапюи. Обязательный обмен преувеличенными любезностями. Как легко Шапюи возвращается в свой всегдашний образ, как изысканно кланяется королю. У такого бывалого дипломата даже колени и поясница гнутся послушнее, чем у других людей. Ни дать ни взять танцмейстер. Курьезную шапку держит в руке.

— С Рождеством, посол, — говорит король и добавляет с надеждой: — Французы прислали мне великолепные подарки.

— Подарки от императора доставят вашему величеству к Новому году, — обещает Шапюи. — Вы найдете их еще более великолепными.

— С Рождеством, Кремюэль, — обращается к нему французский посол. — Сегодня в шары не

играете?

— Сегодня я в полном вашем распоряжении, сударь.

— Я откланиваюсь, — произносит француз, желчно глядя в сторону короля, который уже взял другого посла под руку. — Ваше величество, позвольте на прощание заверить в сердечной любви короля Франциска. — Косится на Шапюи. — При поддержке Франции вы сможете царить невозбранно и больше не страшиться Рима.

— Невозбранно? — переспрашивает он, Кромвель. — Вы чрезвычайно любезны, господин посол.

Француз, небрежно кивнув, идет к двери, на ходу задевает Шапюи рукавом узорчатого атласа. Шапюи весь подбирается, отдергивает колпак, словно боится заразы.

— Подержать вашу шапку? — шепотом предлагает Норрис.

Однако Шапюи смотрит только на короля.

— Королева Екатерина…

— Вдовствующая принцесса Уэльская, — строго поправляет Генрих. — Да, мне сообщили, что старушку опять рвет. Так вы здесь из-за этого?

Гарри Норрис шепчет:

— Мне надо нарядиться мавром. Вы простите,

если я отлучусь, господин секретарь?

— Идите, мы как-нибудь управимся, — отвечает он.

Норрис выскальзывает из комнаты. Следующие десять минут король пылко лжет. Французы-де надавали ему обещаний, и во все эти обещания он верит. Герцог Миланский скончался, на герцогство претендуют и Карл, и Франциск, и если они не договорятся полюбовно, будет война. Разумеется, он друг императору, но французы обещали ему города, замки, даже морской порт, так что его долг правителя — задуматься о заключении военного союза. С другой стороны, он понимает, что император может сделать столь же, если не более выгодное предложение…

— Я ничего от вас не скрываю, — говорит Генрих. — Мы, англичане, честны и прямодушны. Англичанин не станет лукавить даже ради собственного блага.

— Вы чересчур хороши для нашего бренного мира, — буркает Шапюи. — Коли вы не в силах позаботиться о благе собственной страны, придется мне сделать это за вас. Позвольте напомнить: в последние месяцы, когда вам нечем было кормить народ, друзья-французы ничем вам не помогли, и если бы не разрешение моего

господина вывозить фламандское зерно, ваша страна являла бы сейчас груды трупов отсюда и до шотландской границы.

Легкое преувеличение. По счастью, Генрих сегодня настроен празднично. Короля радуют пиры, забавы, предстоящая маска. Еще больше радует мысль, что бывшая жена далеко в болотистом краю скоро испустит дух.

— Идемте, Шапюи, побеседуем наедине. — Его величество тянет посла к двери во внутренние покои и, обернувшись, подмигивает Кромвелю.

Однако посол не идет, так что король тоже вынужден остановиться.

— Ваше величество, об этом можно будет поговорить позже. Мое дело не терпит отлагательств. Умоляю, дозвольте мне поехать к… к Екатерине. И ради всего святого, разрешите дочери с ней увидеться. Возможно, это будет последний раз.

— Я не могу отпустить леди Марию, не спросивши моих советников, и вряд ли их удастся сегодня собрать. Сами знаете, что нынче с дорогами. А вы-то сами как намерены ехать? Вы отрастили крылья?

Король со смехом берет посла под локоток и уводит. Он, Кромвель, стоит и смотрит на закрытую дверь. Какая ложь за ней сейчас звучит?

Шапюи должен будет наобещать золотые горы, чтобы перебить ту цену, которую Генриху якобы дает Франция.

Как бы поступил сейчас кардинал? Вулси говорил: «И чтобы я не слышал отговорок, мол, неизвестно, о чем беседуют за закрытыми дверями. Пойдите и выведайте».

Итак. Нужно под каким-то предлогом войти вслед за королем и послом. Однако дорогу преграждает Норрис в наряде мавра, с начерненным сажей лицом, улыбающийся, но бдительный. Веселая рождественская забава: сделай Кромвелю пакость. Он уже хочет взять Норриса за плечо и убрать с пути, когда мимо них вразвалку проходит небольшой дракон.

— Фрэнсис Уэстон, — фыркает Норрис и сдвигает с высокого лба курчавый шерстяной парик. — Сейчас этот дракон шмыг-шмыг в королевины покои — выпрашивать сласти.

— Сдается мне, Гарри Норрис, вы недовольны, — со смехом говорит Кромвель.

Чему удивляться? Разве сам Норрис не стоял у королевы под дверью?

Тот отвечает:

— Она будет забавляться с ним и хлопать его по крупу. Она любит щенят.

— Выяснили, кто убил Пуркуа?

— Не говорите так, — умоляет мавр. — Он сам выпал из окна.

Сбоку возникает Уильям Брертон, вопрошает громко:

— Где этот треклятый дракон? Мне выходить сразу за ним.

Брертон наряжен древним охотником, в шкуре самолично добытого зверя.

— Это настоящий леопард, Уильям? Где вы его убили? В Честере? — Он критически оглядывает наряд. Судя по всему, шкура надета прямо на голое тело. — Прилично ли так?

— На Святках разрешено все! Не может же древний охотник быть в джеркине!

— Лишь бы взгляд королевы не оскорбило что-нибудь недолжное.

— Она не увидит ничего такого, чего не видела прежде! — смеется мавр.

— Вот как? — Кромвель поднимает бровь.

Для мавра Норрис чересчур легко краснеет.

— Вы понимаете, о чем я. Не видела бы у короля.

Кромвель поднимает руку:

— Заметьте, не я начал этот разговор. Дракон, кстати, ушел туда.

Год назад Брертон шел по Уайтхоллу, насвистывая, как конюх, и остановился, чтобы сказать ему:

— Говорят, король, когда бывает недоволен бумагами, бьет вас по голове.

Тебе самому дадут по макушке, подумал он тогда. Что-то в Уильяме Брертоне заставляет его вновь почувствовать себя патнемским драчуном. Этот оскорбительный слух передавали ему и раньше. Всякий, знающий Генриха, поймет, что такого не может быть. Король — зерцало учтивости и, когда хочет кого-нибудь поколотить, не марает рук, а поручает это подданным. Да, они иногда спорят. Однако если бы Генрих хоть раз его тронул, он бы развернулся и ушел. Европейские правители зазывают его к себе, сулят деньги и замки.

Брертон, повесив лук на леопардовое плечо, направляется к покоям королевы. Кромвель вновь заговаривает с Норрисом, но его голос тонет в лязге и криках: «Дорогу герцогу Суффолкскому!»

Герцог от пояса и выше в доспехе — небось упражнялся в одиночку на турнирном дворе. Широкое лицо раскраснелось, борода — она с каждым годом все пышнее и пышнее — почти закрывает кирасу. Храбрый мавр выступает впе-

ред: «Его величество занят беседой с…» — однако Брэндон отбрасывает помеху с дороги, словно идет отвоевывать Гроб Господень.

Он, Кромвель, следует за герцогом по пятам, жалея, что не может набросить на того сеть. Брэндон ударяет кулаком в дверь и распахивает ее, не дожидаясь ответа.

— Бросайте все, чем заняты, ваше величество. Клянусь Богом, у меня для вас отличные вести. Старуха вот-вот отдаст Богу душу, вы не сегодня завтра станете вдовцом. Тогда вы прогоните нынешнюю, женитесь на французской принцессе и возьмете в приданое Нормандию… — Брэндон замечает Шапюи. — А, посол. Убирайтесь-ка восвояси, не ждите объедков с нашего стола. Езжайте домой к собственному Рождественскому ужину, вы нам тут без надобности.

— Думайте, что говорите. — Генрих, бледный как полотно, надвигается на Брэндона с таким видом, будто хочет его убить. Держал бы в руке секиру — может, и убил бы. — Моя жена носит под сердцем дитя. Мы обвенчаны по закону.

Чарльз Брэндон раздувает щеки:

— Да, пока всё так. Но вы вроде бы говорили…

Он, Кромвель, бросается к герцогу. Кто, во имя дьявола, подсказал Чарльзу эту мысль? Женить

короля на французской принцессе! Наверняка затея принадлежит самому королю, потому что Брэндон бы до такого не додумался. Судя по всему, у короля две внешних политики: одна известна Кромвелю, другая — нет. Он хватает Брэндона. Тот на голову выше. Казалось бы, не в человеческих силах сдвинуть полтонны безмозглого мяса, облаченного от пояса в броню, однако у него получается. Скорее, скорее вытолкнуть Брэндона туда, где ошеломленный посол их не услышит. Только на другом конце королевской приемной он останавливается и спрашивает:

— Суффолк, как вам такое взбрело на ум?

— Мы, лорды, осведомлены лучше вас. Король открывает нам свои истинные намерения. Вы думаете, будто знаете его секреты, но вы ошибаетесь.

— Вы слышали, что он сказал. Анна носит под сердцем его дитя. Вы безумец, если думаете, что он сейчас от нее откажется.

— Он безумец, если думает, что ребенок его.

— Что? — Он отшатывается от Брэндона, словно кираса раскалена. — Если вы знаете что-то порочащее королеву, ваш долг подданного говорить без утайки.

— Я говорил без утайки, и сами знаете, чего

мне это стоило. Я сказал про Уайетта, и король вышвырнул меня от двора в деревню.

— Втяните в это дело Уайетта, и я зашвырну вас в Китай.

Лицо герцога темнеет от гнева. Как между ними до такого дошло? Всего несколько недель назад он крестил Брэндонова сына от новой малютки жены. Теперь герцог злобно скалится.

— Щелкайте своими счётами, Кромвель. Вас зовут, когда королю нужны деньги. Государственные дела не про вашу честь. Вы — никто, король сам так говорит. Не вам, безродному простолюдину, беседовать с государями.

Брэндон отодвигает его с дороги и вновь устремляется к королю. Удивительно, но некое подобие порядка вносит Шапюи, окаменевший от горя и возмущения. Посол встает между королем и разгоряченной герцогской тушей.

— Позвольте откланяться, ваше величество. Вы, как всегда, показали себя любезнейшим из государей. Если я успею — а я надеюсь успеть, — для моего господина будет утешением узнать о последних часах своей тетки от собственного посла.

— Это было моим долгом, — произносит Генрих, трезвея. — Доброго пути.

— Я отправлюсь завтра с первым светом, — говорит посол, и они торопливо идут прочь, через толпу разряженных танцоров и скачущих деревянных лошадок, через стаю рыб, следующих за морским божеством. Огибают крепость — расписанное под камень, дощатое сооружение на смазанных колесах, едущее прямо на них.

Такие же смазанные колеса наверняка крутятся в голове у посла: все, сказанное о женщине, которую Шапюи называет конкубиной, ложится в шифрованные строки будущих депеш. Бесполезно притворяться, будто кто-то чего-то не слышал: когда Брэндон орет, в Германии падают деревья. Вполне возможно, что посол сейчас внутренне ликует: конечно, не от того, что Генрих женится на французской принцессе, но от мысли, что Анне уже недолго называть себя королевой.

Однако если и так, дипломат не подает виду.

— Кремюэль, — говорит Шапюи, обратив к нему бледное сосредоточенное лицо. — Я слышал, что сказал герцог. О вас. О вашем положении. Кхе-хм. Не знаю, насколько вас это утешит, но я и сам низкого рода. Может быть, не настолько низкого…

Отец и дед Шапюи были простыми стряпчими, прадед — крестьянином.

— И опять-таки не знаю, насколько вас это уте-

шит, но я убежден, что вы достойны своего места. На этом свете я готов поддержать вас против кого угодно. Вы учены и красноречивы. Если бы мне потребовалось защищать свою жизнь в суде, я пригласил бы вас.

— Вы меня изумляете, Эсташ.

— Возвращайтесь к Генриху. Убедите его, что принцесса должна повидаться с матерью. Женщина на смертном одре… чьим политическим интересам она может повредить? — Короткий сухой всхлип, и посол вновь берет себя в руки. Снимает шапку, смотрит на нее так, будто не может понять, откуда она взялась. — Едва ли мне прилично в ней ехать. Она больше пристала Рождеству, вы согласны? И все же мне жаль было бы ее лишиться. Она единственная в своем роде.

— Отдайте ее мне. Я отошлю ее вам домой — будете носить, когда вернетесь. — («Когда закончится срок траура», — думает он про себя). — Послушайте. Я не стану обнадеживать вас касательно Марии.

— Поскольку вы англичанин и не умеете лукавить. — Короткий злой смешок. — Святые угодники!

— Король не позволит Марии видеться с теми, кто укрепит в ней дух непокорства.

— Даже с умирающей матерью?

— Особенно с ней. Не хватало нам только клятв у смертного одра, понимаете?

Он говорит капитану барки: я останусь здесь, хочу посмотреть, съест ли дракон охотника. Доставьте посла в Лондон, ему надо собираться в дорогу.

— А как вернетесь вы? — спрашивает Шапюи.

— Ползком, дай Брэндону волю. — Он кладет руку на щуплое плечо дипломата. — Теперь ведь препятствие устранится? К союзу с вашим господином. Что станет огромным благом для Англии и для ее торговли. И я, и вы этого хотим. Нас разделяла только Екатерина.

— А как насчет женитьбы на французской принцессе?

— Не будет никакой женитьбы. Это все сказки. Отправляйтесь. Через час стемнеет. Вам надо хорошенько выспаться.

На Темзу уже наползают сумерки, между набегающими волнами залегли тени, синий вечер сгустился по берегам. Он спрашивает лодочника: как, по-твоему, сейчас дороги на севере — проехать можно? Бог с вами, сэр, отвечает тот, я только реку и знаю, да и на севере дальше Энфилда не бывал.

Стипни встречает его ярко освещенными окнами, дети-певчие выводят в саду святочные колядки, собаки лают, черные тени мечутся на снегу, а над замерзшей колючей изгородью призрачно белеют снеговики. У одного, самого высокого, на голове митра; одна увядшая морковка изображает нос, другая, поменьше, — срам.

Навстречу выбегает Грегори. Кричит, захлебываясь:

— Гляньте, сэр, мы слепили из снега Римского Папу!

Еще одно раскрасневшееся лицо — это Дик Персер, начальник над сторожевыми псами.

— Сперва Папу, сэр, потом решили, что он нестрашный, и сделали ему кардиналов. Вам нравится?

Рядом прыгают мокрые от снега поварята. Все домашние высыпали в сад, по крайней мере все кто младше тридцати. Развели костер — подальше от снеговиков — и пляшут в круг, а заводилой у них Кристоф.

Грегори немного остыл и пришел в чувства.

— Мы их слепили, чтобы лучше подчеркнуть супрематию короля. Тут ведь нет ничего дурного, да? Потом мы затрубим в трубу и растопчем их. Кузен Ричард сказал, что можно, и сам слепил

Папе голову, а мастер Ризли — он как раз заглянул сюда и не застал вас — воткнул ему пипиську. Очень смеялся.

— Какие же вы, право, дети! — говорит он. — Отличные кардиналы. Атаку под фанфары устроим завтра, когда будет светлее.

— А можно будет выстрелить из пушки?

— Где я возьму вам пушку?

— Попросите у короля, сэр.

Грегори шутит; он понимает, что пушка — это уже чересчур.

Остроглазый Дик Персер заметил посольский колпак.

— Не дадите нам шапку? Мы не знали, как выглядит тиара, так что получилось не очень.

Он вертит колпак в руках.

— Да, это больше похоже на то, что носит Фарнезе. Но нет. Шапка доверена мне на сохранение, я отвечаю за нее перед императором. А теперь дайте мне пройти, — говорит он со смехом. — Мне надо написать письма, у нас впереди важные перемены.

— Стивен Воэн приехал, — сообщает Грегори.

— Вот как? Отлично. Очень кстати.

Он идет к дому, отблески костра пляшут на снегу у его ног.

— Бедный мастер Воэн, — говорит Грегори. — Думаю, он рассчитывал поужинать.

— Стивен! — Торопливые объятия. — Надо спешить. Екатерина умирает.

— Что? — удивляется его друг. — В Антверпене я ничего такого не слышал.

Воэн все время в дороге, здесь тоже не засидится. Он слуга Кромвеля и короля, королевские глаза и уши по ту сторону Ла-Манша. Обо всем, что рассказывают фламандские купцы и торговцы в Кале, Стивен знает и доносит в Лондон.

— Должен сказать, господин секретарь, у вас в доме никакого порядка. Легче поужинать в чистом поле.

— Вы и есть в чистом поле, — говорит он. — Вернее, скоро будете. Вам надо ехать.

— Но я только что с корабля!

Вот так Стивен проявляет дружбу: вечными жалобами и недовольством. Он приказывает слугам: накормите Воэна, напоите Воэна, уложите Воэна спать, приготовьте Воэну к утру хорошего коня.

— Не волнуйтесь, эту ночь вы спите в моем доме. Утром поедете с Шапюи в Кимболтон. Вы знаете языки, Стивен! Я должен знать каждое сказанное там слово, будь оно на французском, испанском или латыни.

— Ясно. — Теперь Стивен деловит и сосредоточен, больше не ворчит.

— Поскольку я думаю, как только Екатерина умрет, Мария постарается сбежать во владения императора. Как-никак он ее двоюродный брат. Верить ему нельзя, но Марию в этом не убедить. И мы не можем приковать ее к стене.

— Держите ее подальше от моря. В каком-нибудь замке, откуда до ближайшего порта — два дня езды.

— Если Шапюи сумеет ее выкрасть, она полетит с ветром и пустится по морю в решете.

— Томас. — Неулыбчивый Воэн кладет ему руку на плечо. — Из-за чего столько волнений? Это на вас непохоже. Вы боитесь, что маленькая девочка обведет вас вокруг пальца?

Ему хочется рассказать Воэну обо всем, но как передать словами осязаемость вещества: плавное журчание лжи, неподатливый вес Брэндона, когда он толкал, тащил стальную махину герцога прочь от короля, саднящий ветер в лицо, привкус крови во рту? Так будет всегда, думает он. Так будет всегда. Рождественский пост, Великий пост, неделя Пятидесятницы.

Он вздыхает:

— Мне надо пойти и написать Стивену Гарди-

неру во Францию. Если Екатерина умирает, он должен узнать об этом от меня.

— Больше незачем лебезить перед французами, — говорит Воэн.

Что это, улыбка? Скорее волчья ухмылка. Стивен — купец и понимает, как важна для нас торговля с Нидерландами, а значит — и добрая воля императора. Когда мы на ножах, у Англии заканчиваются деньги. Когда император за нас, мы богатеем.

— Теперь разногласия уладятся, — продолжает Воэн. — Все они были из-за Екатерины. Ее племянник вздохнет с облегчением, в точности как мы. Ему и прежде не хотелось с нами воевать, а тут еще Милан. Пусть дерется с французами. Это развяжет руки нашему королю. Он сможет делать что заблагорассудится.

Вот это меня и тревожит, думает он. Что заблагорассудится королю? Он желает Стивену доброй ночи, тот говорит:

— Томас, вы себя в могилу загоните, если не будете отдыхать. Вы когда-нибудь вспоминаете, что половина вашей жизни уже позади?

— Половина? Стивен, мне пятьдесят.

— Я забыл. — Короткий смешок. — Уже пятьдесят? Сколько мы знакомы, вы ничуть не

меняетесь.

— Вам так кажется. Но я обещаю дать себе роздых, как только вы дадите себе.

В кабинете жарко натоплено. Он закрывает ставни, запечатывается от белого сияния за окном. Садится писать Гардинеру. Король очень доволен успехами посольства, ждите денег.

Он откладывает перо. Какая муха укусила Чарльза Брэндона? Да, сплетничают, будто ребенок Анны — не от короля. Или что Анна и не беременна вовсе, только притворяется. И впрямь она очень неопределенно говорит о сроках. Но он думал, сплетни идут из Франции, а что могут знать при французском дворе? Просто злопыхают. Это Аннина беда — вызывать ненависть. Одна из многих бед.

Под рукой письмо из Кале, от лорда Лайла. При одной мысли о том, чтобы взяться за ответ, накатывает безмерная усталость. Лайл во всех подробностях расписал, что делал в Рождество, с той минуты, как морозным утром вышел из дома. Где-то в середине дня лорда Лайла оскорбили: бургомистр Кале заставил его ждать. В отместку он чуть позже заставил ждать бургомистра… и теперь оба пишут Томасу Кромвелю: господин секретарь, ответьте, кто главнее, губернатор или

бургомистр? Скажите, что я главнее!

Артур лорд Лайл — милейший человек (когда не спорит с бургомистром, конечно), однако задолжал королю и уже семь лет не платит ни пенни. Надо как-то с этим разобраться; вот и казначей королевской палаты недавно прислал напоминание. И кстати, о королевских финансах… Гарри Норрис как главный из джентльменов Генриха, по какому-то загадочному обычаю, ведает всеми тайными сбережениями короля, припрятанными на черный день в различных дворцах. Не вполне ясно, что за черный день, и откуда средства, и много ли монет в кубышках, и кто, кроме Норриса, может их брать… если Норриса в нужное время не окажется рядом. Или если с Норрисом приключится какая-нибудь беда. Он вновь откладывает перо и начинает воображать различные беды. Подпирает голову руками, зажимая пальцами усталые глаза. Видит, как Норрис падает с лошади. Как барахтается в грязи. Говорит себе: «Щелкайте своими счётами, Кромвель».

Уже начали прибывать подарки к Новому году. Какой-то его сторонник из Ирландии прислал одеяла белой ирландской шерсти и флягу aqua

vitae[5]. Можно завернуться в шерсть, напиться до бесчувствия и уснуть прямо на полу.

Ирландия в это Рождество спокойна, спокойнее, чем когда-либо за последние сорок лет. Он умиротворил ее главным образом повешениями: вешал не то что много, но кого следовало. Это искусство, необходимое искусство: вожди ирландских кланов призывали императора высадиться на их острове и оттуда напасть на Англию.

Он смотрит на стол. Лайл, бургомистр, оскорбление. Кале, Дублин, королевские тайники с деньгами. Только бы Шапюи успел доехать до Кимболтона, и только бы Екатерина не поправилась. Нехорошо желать другому смерти. Смерть твоя госпожа, а не служанка: думаешь, она стучит в чужую дверь, а она уже входит в твою, чтобы вытереть о тебя ноги.

Он перебирает бумаги — новые хроники непотребств. Монахи ночи напролет сидят в кабаке, а наутро, пошатываясь, бредут в монастырь, приора застукали под забором с гулящей девкой, нерадивый священник отказывается крестить детей и отпевать покойников. Жалобы, мольбы. Он отшвыривает письма. Довольно. Кто-то — су-

---

[5] Примечания: 5
Живая вода — старинное название виски (лат.).

дя по почерку, старик — пишет о неизбежном обращении магометан. Какую церковь мы им предложим? Если не очистить ее самым решительным образом, новообращенные язычники погрузятся во тьму еще более глубокую, чем их прежняя ложная вера. Что вы, генеральный викарий короля по делам церкви, делаете для ее исправления?

Интересно, думает он, изнуряет ли турецкий султан своих подданных так же, как меня — герцог? Родись я магометанином, мог бы стать пиратом. Разбойничал бы сейчас в Средиземном море.

Над следующей бумагой он едва не разражается хохотом: кто-то отправил ему жалованную грамоту на земельные владения. От короля Чарльзу Брэндону. Леса и пастбища, вереск и дрок, многочисленные усадьбы. Гарри Перси, граф Нортумберлендский, в уплату долга отдал короне земли. Он думает: когда Гарри Перси пришел арестовывать кардинала, я поклялся, что разорю его. Видит Бог, я себя не утруждал: Гарри Перси все сделал за меня. Мне осталось лишь отнять у него титул.

Тихонько приоткрывается дверь: это Рейф Сэдлер.

Он удивленно поднимает глаза:

— Почему ты не веселишься со всеми?

— Мне сказали, вы были при дворе, сэр. Я подумал, может, вы захотите написать письма.

— Прочти вот это, но не сегодня. — Он придвигает Рейфу кипу документов на землю. — Брэндону нечасто достаются такие новогодние подарки.

Он рассказывает Рейфу о том, что было сегодня во дворце, умалчивая о последних словах герцога, будто государственные дела не про его, Кромвеля, честь. Качает головой:

— Глядел я сегодня на Чарльза Брэндона… а ты знаешь, ведь он когда-то считался красавцем. Королевская сестра влюбилась в него без памяти. А теперь… Лицо поперек себя шире. Не краше медного таза.

Рейф придвинул к столу низенькую скамеечку, положил голову на руки и сидит, задумавшись. Они привыкли молчать вместе. Он продолжает читать бумаги, делает пометы на полях. Перед ним возникает король: не сегодняшний, а тогда в Вулфхолле, растерянный, мокрый от дождя. И лицо Джейн Сеймур бледным овалом рядом с королевским плечом.

Через некоторое время он смотрит на Рейфа:

— Нравится тебе здесь, малыш?

— Этот дом всегда пахнет яблоками.

Верно. Дворец утопает в садах, и в кладовках, где лежат яблоки, даже зимой сохраняется запах лета. В Остин-фрайарз яблони совсем молодые — саженцы, привязанные к столбикам. А здесь дом старый. Сэр Генри Колет, отец высокоученого настоятеля собора Святого Павла, перестроил его для себя. Здесь доживала свои дни леди Кристиана, вдова сэра Генри, а потом по его завещанию дом отошел гильдии торговцев шелком. У Кромвеля аренда на пятьдесят лет — больше, чем на его век. Когда-нибудь этот дом перейдет к Грегори. Внуки будут расти в густом благоухании меда, резаных яблок, изюма и корицы.

— Рейф. Грегори надо женить.

— Я запишу для памяти, — со смехом отвечает Рейф.

Год назад Рейф бы не засмеялся. Томас, его первенец, умер на второй день после крестин. Рейф снес горе по-христиански, но сделался тише, серьезнее, при том что и прежде не отличался легкомыслием. У Хелен есть дети от первого брака, однако ребенка она похоронила впервые и долго не могла оправиться. Наконец в этом году, после долгих и тяжких мук, напугавших ее саму, Хелен родила еще одного сына, и его

тоже назвали Томасом. Дай Бог тому оказаться счастливее братца; малыш хоть и появился на свет с трудом, выглядит крепким, и Рейф теперь — счастливый отец.

— Сэр, я все хотел спросить: это ваша новая шапка?

— Нет, — серьезно отвечает он. — Это шапка посла Испании и Священной Римской империи. Хочешь примерить?

С грохотом влетает Кристоф: не может войти по-человечески, бросается на дверь, как на врага. Лицо все еще в копоти от костра.

— К вам женщина, сэр. Говорит, очень срочно, и не соглашается уйти.

— Что за женщина?

— Старая. Но не настолько, чтобы спустить ее с лестницы в такой мороз.

— Фи, Кристоф! Пойди лучше умойся. — Он поворачивается к Рейфу. — Незнакомая женщина. Я в чернилах?

— Нет, сэр. Не очень.

В парадном зале, озаренная светом факелов, ждет дама. Она приподнимает вуаль и заговаривает с ним по-кастильски. Мария, леди Уиллоби, урожденная Мария Салинас. Он ужасается, как она могла приехать из Лондона одна, в снежную

ночь.

Дама обрывает его охи и ахи.

— Вы — последняя моя надежда. Я не могу попасть к королю, а медлить нельзя. Выпишите мне бумагу, иначе, когда я приеду в Кимболтон, меня не впустят.

Однако он переходит на английский; во всех разговорах касательно Екатерины ему нужны свидетели.

— Миледи, вы не можете ехать в такой снег.

— Вот. — Она протягивает письмо. — Прочтите, это пишет врач королевы собственной рукой. Моя госпожа одна, ей больно и страшно.

Лет двадцать пять назад, когда Екатерина впервые прибыла в Англию, Томас Мор написал, что ее свита состоит из горбатых карлиц, босоногих пигмеев, словно сбежавших из преисподней. Ему трудно судить — он был тогда далеко от Англии и тем более от двора, — но, сдается, Мор позволил себе поэтическую гиперболу. Мария Салинас приехала чуть позже и была любимицей Екатерины, пока не оставила госпожу ради замужества. Она уже давно вдова, но все так же поразительно красива и помнит о своих чарах даже сейчас, когда сжалась от горя и посинела от холода. Небрежным движением она бросает плащ Рейфу

Сэдлеру, будто он для того тут и поставлен, затем, пройдя через комнату, берет Кромвеля за руки.

— Бога ради, Томас Кромвель, пустите меня к ней. Вы не можете мне отказать.

Он смотрит на Рейфа. Того испанские страсти трогают не больше, чем скулеж мокрого пса под дверью.

— Поймите, леди Уиллоби, — холодно произносит Рейф, — этот вопрос не в ведении государственного секретаря и даже совета. Можете сколько угодно осаждать моего господина просьбами, но только король решает, кого допустить к вдовствующей принцессе.

— Послушайте, миледи, — говорит он, — дороги замело. А если и потеплеет, они все равно будут непроезжими. Я не могу гарантировать вашу безопасность, даже если отправлю с вами людей. Вы можете упасть с лошади…

— Тогда я пойду дальше пешком! Как вы остановите меня, господин секретарь? Закуете в цепи? Прикажете вашим чернорожим мужланам держать меня в чулане, покуда королева не скончается?

— Не глупите, мадам. — Рейф, очевидно, считает, что должен защитить его, Кромвеля, от женских нападок. — Все именно так, как говорит

господин секретарь. Вы не можете ехать в такую погоду. Вы уже не молоды.

Дама что-то шепчет — не то молитву, не то проклятие.

— Спасибо за галантное напоминание, мастер Сэдлер, без вас я бы считала, что мне шестнадцать. Да, видите, теперь я настоящая англичанка! Умею говорить прямо противоположное тому, что думаю. — В ее глазах вспыхивает расчетливый огонек. — Кардинал бы разрешил мне поехать.

— Жаль, что его с нами нет, чтобы это сказать. — Однако он берет у Рейфа плащ, надевает на гостью. — Что ж, поезжайте. Вижу, вас не отговорить. Шапюи едет с пропуском, так что, возможно…

— Я поклялась выехать на заре. Господь отвернется от меня, если я нарушу клятву. Шапюи не станет так торопиться.

— Даже если вы туда доберетесь… там не дороги, одно название. Может случиться так, что вы упадете с лошади перед самыми воротами замка.

— Что?.. А, понимаю.

— Бедингфилду приказано никого не пускать, но он не сможет оставить даму в сугробе.

Она целует его:

— Томас Кромвель. Господь и император вас

вознаградят.

Он кивает:

— Я уповаю на Господа.

Она выходит и уже на пороге спрашивает удивленно:

— Что там за снежные фигуры?

— Надеюсь, ей не скажут, — говорит он Рейфу. — Она папистка.

— Меня никогда так не целовали, — жалуется Кристоф.

— Может, если бы ты умылся… — Он пристально смотрит на Рейфа. — Ты бы ее не отпустил.

— Не отпустил бы, — признает Рейф. — Не додумался бы до такой уловки. А если бы и додумался… Нет, я бы побоялся рассердить короля.

— Вот поэтому ты спокойно доживешь до старости. — Он пожимает плечами. — Она поедет. Шапюи тоже. А Стивен Воэн будет приглядывать за обоими. Завтра утром придешь? Возьми с собой Хелен и девочек. Малыша брать не стоит, слишком холодно. Грегори говорит, мы будем трубить в трубы и топтать Папу с кардиналами.

— Ей очень понравились крылья, — говорит Рейф. — Нашей девочке. Она спрашивает, можно ли ей надевать их каждый год.

— Почему бы нет? Пока у Грегори не будет до-

чери таких лет.

Они обнимаются на прощание.

— Постарайтесь уснуть, сэр.

Он знает, что в постели будет вспоминать слова Брэндона: «Государственные дела не про вашу честь. Вы — никто, и не вам, простолюдину, беседовать с государями». Незачем придумывать месть — герцог Медный Таз сам себя погубит, если будет орать на весь Гринвич, что Генрих — рогоносец. Такое даже старому другу с рук не сойдет.

К тому же Брэндон прав. Герцог может представлять своего господина при иноземном дворе. Кардинала, даже если тот, как Вулси, незнатного рода, возвышает церковный сан. Гардинер, хоть и бастард, на правах епископа, предстоятеля богатейшей английской епархии, зовется Стивеном Винчестерским. Только он, Кремюэль, по-прежнему никто. Король дает ему звания, которых никто за границей не понимает, и работу, которую никто на родине выполнить не может. Обязанностей и постов все больше, однако он как выходит утром из дома простым мастером Кромвелем, так и возвращается простым мастером Кромвелем. Король предложил ему место лорд-канцлера; нет, ответил он, не трогайте лорда Одли. Лорд Одли

отлично справляется: делает все, что ему говорят. Может, стоило согласиться? Он вздыхает при мысли о канцлерской цепи. Ведь нельзя же совмещать посты лорд-канцлера и государственного секретаря? А от своей должности он не откажется, пусть она и не дает такого почета. Плевать, что французы не понимают. Они еще увидят результат. Брэндон может ворваться с криком, хлопнуть короля по спине и назвать «Гарри», может вместе с Генрихом хохотать над старыми шутками и вспоминать турнирные подвиги. Однако время рыцарства уходит. Когда-нибудь турнирные дворы зарастут мхом. Пришло время ростовщика и хвастливого капера; банкир сидит с банкиром, а короли им прислуживают.

Напоследок он распахивает ставни, чтобы пожелать Папе Римскому доброй ночи. С крыши капает. Рыхлый снег, шурша, срывается с черепицы, так что мгновение за окном — сплошная белая пелена. Он смотрит вниз. На истоптанном месиве лежит свежая заплата, над ней, медленно оседая, клубится белое облачко. Ему не почудилось насчет ветра: и впрямь началась оттепель. Он захлопывает ставни. Великий губитель душ вместе со своим конклавом остается подтаивать в ночи.

На Новый год он у Рейфа в недавно построенном доме: три этажа кирпича и стекла рядом с церковью Святого Августина. В свой первый приезд, летом, он убедился, что все необходимое для семейного уюта, продумано как следует: в кухне на подоконнике стоят горшки с базиликом, грядки в огороде засеяны, ульи поставлены, на голубятне воркуют голуби, шпалеры ждут, когда по ним начнут виться розы, темные дубовые панели ждут живописцев.

Теперь дом закончен, обустроен. Стены расписаны Евангельскими сюжетами: Христос — ловец человеков, ошарашенный распорядитель пробует вино в Кане Галилейской. На втором этаже, куда ведет крутая деревянная лестница, Хелен читает шьющим служанкам Тиндейлово Евангелие: «Ибо благодатию вы спасены». Апостол Павел не позволяет жене учить, но Хелен и не совсем учит. Она рассталась с бедностью; муж, который ее бил, умер или уехал так далеко, что мы сочли его мертвым. Теперь она супруга Рейфа Сэдлера, который успешно делает карьеру при дворе, хозяйка большого дома и может со временем сделаться образованной женщиной, однако ей не по силам зачеркнуть свое прошлое. Когда-нибудь Генрих спросит: «Сэдлер, почему

вы не представите свою жену ко двору? Она что, настолько уродлива?»

Он вмешается: «Нет, она красавица», но Рейф добавит: «Хелен низкого происхождения и не знает придворных манер».

«Так зачем вы на ней женились?» — удивится Генрих. Потом его глаза потеплеют. А, ясно, по любви.

Сейчас Хелен берет его за руки и говорит:

— Довольства вам и благополучия в Новом году. Я каждый день о вас молюсь, ведь не возьми вы меня к себе в дом, ничего бы этого не было. Я прошу Его даровать вам здоровье, удачу и королевское расположение.

Он целует ее и прижимает к себе, как родную дочь. В соседней комнате заливается криками его крестник.

В Двенадцатую ночь доедают последний марципановый полумесяц. Под руководством Антони Рождественскую звезду уносят в чулан, аккуратно зачехлив острые углы. Павлиньи крылья вздыхают под покрывалом на крючке за дверью.

Воэн доносит, что старой королеве лучше. Настолько лучше, что Шапюи выехал обратно в Лондон. Екатерина была так слаба, что не могла даже сесть, теперь приободрилась в обще-

стве старой подруги Марии де Салинас — с той приключилось несчастье под самыми стенами замка, так что тюремщики вынуждены были ее впустить.

Однако позже Кромвелю сообщат, что вечером шестого января — как раз когда мы снимали звезду, подумает он, — Екатерине стало гораздо хуже. Ночью она говорит капеллану, что хочет причаститься, и обеспокоенно спрашивает, который час. Еще нет четырех, отвечает тот, но в случае крайней нужды канонические часы допустимо сдвинуть. Екатерина выжидает положенное время, шевеля губами, сжимая в кулаке образок.

Сегодня я умру, говорит она, я давно думаю о смерти, давно ее жду и потому не боюсь. Затем диктует указания касательно похорон, не рассчитывая, что ее воля будет исполнена. Просит расплатиться с прислугой и по долгам.

В десять утра священник соборует ее, мажет святым миром веки и губы, ладони и ступни. Веки теперь запечатаны и больше не откроются. Губы отшептали последнюю молитву. Руки не подпишут ни одного документа. Ноги закончили свой путь. К полудню дыхание становится затрудненным. В два часа она отходит в иной мир. За окном белеют снега, и в их отблесках над

кроватью склоняются тюремщики. Им неловко тревожить дряхлого капеллана и старух, которые были с умирающей до последнего. Еще до того, как покойницу омыли, Бедингфилд отрядил в Лондон самого быстрого гонца.

* * *

Восьмое января: известие доставили во дворец. Оно просачивается из королевских покоев и оглашает все закоулки: комнаты, где одеваются камеристки, уголки, где прикорнули поварята, пивоварни и холодные кладовые для рыбы. Оно разносится по галереям и эхом врывается в убранную коврами опочивальню, где Анна Болейн, упав на колени, восклицает: «Наконец-то, Господи! Давно было пора!»

Музыканты настраивают инструменты, готовясь праздновать.

Анна надевает желтое платье, как четырнадцать лет назад, когда первый раз была при дворе и танцевала в маске. Все помнят (или уверяют, будто помнят) тот день: младшую Болейн, ее дерзкие темные глаза, стремительную грациозность движений. Мода на желтое возникла среди базельских богачей; в то время портной, раздобывший кусок желтой материи, мог просить за

него, сколько захочет. И внезапно все сделалось желтым: рукава, чулки. Те, у кого хватало денег только на узкую полоску ткани, украсились желтыми лентами. В 1521-м, когда Анну представили ко двору, за границей этот цвет уже считался несколько вульгарным. Сегодня во владениях императора публичные женщины затягивают свои жирные телеса в желтые корсеты.

Знает ли это Анна? Ее нынешнее платье стоит впятеро больше того, что она носила в бытность дочерью простого банкира. Оно сплошь расшито жемчугами, так что Анна движется в облаке лимонного света. Он спрашивает леди Рочфорд: будем считать этот цвет новым или вернувшимся старым? Наденете ли вы желтое, миледи?

— Оно мне не идет, — отвечает та. — А что до Анны, лучше бы ей нарядиться в черное.

Генрих на радостях решает показать двору принцессу. Ей два с половиной года. Казалось бы, такой маленький ребенок должен испугаться незнакомых людей, но Елизавета весело хохочет, пока ее передают с рук на руки, дергает джентльменов за бороды, лупит кулачком по шляпам. Отец подбрасывает ее в воздух.

— Ей не терпится увидеть братика, верно, утеночек?

По залу пробегает шепоток: вся Европа знает, что Анна в счастливом ожидании, однако впервые об этом сказано прилюдно.

— И мне тоже, — говорит король. — Заждался я.

Личико Елизаветы уже теряет младенческую пухлость; у нас будет принцесса-лисичка. Старые придворные говорят, что она похожа на королевского отца и на покойного брата, принца Артура. Впрочем, глаза у нее материнские — подвижные и выпуклые. Он, Кромвель, считает, что у Анны красивые глаза, хотя особенно они хороши, когда зажигаются интересом, словно у кошки при виде мелкого зверька.

Король сюсюкает с дочкой. Снова подбрасывает ее, ловит, опускает на пол. Целует в макушку.

Леди Рочфорд говорит:

— Генрих такой добряк — умиляется на любого ребенка. Как-то при мне он вот так же целовал чужое дитя.

Как только девочка начинает капризничать, ее уносят, закутав в меха. Анна провожает дочку глазами. Генрих говорит, будто только сейчас припомнил:

— Придется потерпеть, что страна наденет траур по вдовствующей принцессе.

Анна отвечает:

— Англичане ее не знали. С чего им скорбеть? Кто она была для них? Чужестранка.

— Думаю, так приличнее, — не сдается король. — Поскольку она была коронована.

— По ошибке, — стоит на своем Анна.

Музыканты начинают играть. Король подхватывает Мэри Шелтон, та смеется. Последние полчаса ее не было видно, сейчас она раскраснелась, глаза блестят — ясно, чем занималась. Он думает: увидел бы старый епископ Фишер это гулянье, решил бы, что настали последние времена. И тут же удивляется, что, пусть на миг, увидел мир глазами старого Фишера.

После казни голову епископа выставили на Лондонском мосту. Она так долго сохранялась нетленной, что лондонцы заговорили о чуде. Пришлось отдать распоряжение, чтобы смотритель моста положил ее в мешок с камнями и утопил в Темзе.

В Кимболтоне тело Екатерины уже готовят к погребению. Ему чудится шорох в ночи, общий вздох: Англия встает на молитву.

— Она прислала мне письмо. — Генрих вынимает бумагу из складок желтого кафтана. — Даже читать не хочу. Заберите его, Кромвель.

Складывая письмо, он видит строчку: «И в последних словах клянусь: очи мои желают тебя более всего на свете».

После танцев Анна зовет его к себе. Она суха, деловита.

— Я хочу изложить вам свои соображения насчет королевской дочери.

Не «принцессы Марии». Но и не «испанской приблуды».

— Теперь, когда мать больше не может ее науськивать, — продолжает Анна, — можно надеяться, что она поумерит свое упрямство. Видит Бог, я в ее любви не нуждаюсь, но думаю, король будет мне признателен, если я улажу их ссору.

— Он будет чрезвычайно вам благодарен. И вы поступите милосердно.

— Я хочу стать ей матерью. — Анна краснеет; возможно, стыдится уж чересчур явной неискренности. — Она может не называть меня «госпожа матушка», но пусть обращается ко мне, как положено. Если она помирится с королем, я буду рада держать ее при дворе. Ей отведут почетное место, не многим ниже моего. Я не стану требовать глубокого реверанса, только обычных форм вежливости, принятых в королевских семьях по отношению к старшим. Передайте, что я не

заставлю ее носить мой шлейф. Ей не придется сидеть за одним столом с принцессой Елизаветой, так что вопрос о ее более низком статусе не возникнет. Думаю, это более чем щедро.

Он ждет.

— Если она будет вести себя с должной почтительностью, я не стану выходить прежде ее, кроме как на торжественных церемониях. Мы будем появляться под руку.

Для Анны уступки беспрецедентны, однако он воображает лицо Марии, когда ей все это изложат, и радуется, что обязанность поехать к королевской дочери выпадет кому-то другому.

Он почтительно желает доброй ночи, но Анна его не отпускает. Говорит тихо:

— Кремюэль, вот мои условия, больше я не уступлю и на волос. Я сделала первый шаг, и меня упрекнуть не в чем, но, думаю, она откажется. И тогда мы обе пожалеем, потому что нам останется лишь война до последнего вздоха. Я — ее смерть, она — моя. Так и передайте: я сделаю все, чтобы она не дожила до моих похорон.

* * *

Он идет к Шапюи выразить соболезнования. По дому гуляют сквозняки, тянет речной сыро-

стью. Посол с ног до головы в черном и горько себя корит.

— Зачем я только уехал?! Но ей и впрямь было лучше. Утром смогла сесть, женщины ее причесали. Я сам видел, как она два и три раза откусила хлеб, и уехал обнадеженный, а через несколько часов она умерла.

— Не стоит себя винить. Вы сделали все, что в человеческих силах, и ваш государь об этом узнает. В конце концов, вы посланы следить за королем и не можете зимой надолго отлучаться из Лондона.

Он думает: я здесь с тех пор, как начался бракоразводный процесс — сто богословов, тысяча юристов, десять тысяч часов, истраченных на прения. Знаю все почти с самого начала: кардинал делился со мной подробностями — поздно вечером за вином рассказывал про желание короля развестись с женой и про то, как думает подступиться к делу.

— Безобразие, — говорит он.

— А, вы про камин… И вы зовете это камином? Вы зовете это погодой?

По комнате плывет дым от сырых дров.

— Дым, чад и никакого тепла! — продолжает Шапюи.

— Поставьте печь. У меня печи.

— Да уж. А потом слуги наталкивают в них мусор, и они взрываются. Или труба рушится, так что надо посылать через Ла-Манш за печником. Знаю я эти печки. — Шапюи трет синие от холода руки. — Я ведь сказал ее духовнику. Спросите у нее на смертном одре, осталась ли она девственной в первом браке. Словам умирающей поверит весь мир. Но он старик, так что за горем позабыл спросить. Теперь мы никогда не узнаем.

Хм. Раньше посол и мысли не допускал (по крайней мере вслух), что Екатерина все эти годы могла говорить неправду.

— Но знаете, — говорит Шапюи, — перед самым отъездом она сказала слова, которые очень меня смутили. Она сказала: «Возможно, я сама во всем виновата. Что перечила королю, а не ушла в монастырь и не дала ему жениться снова». Я ответил: «Что вы такое говорите, мадам?» Потому что я и сам удивился. «Что вы такое говорите, правда на вашей стороне, так говорят и церковные юристы, и светские». — «И все же у них были сомнения. А если я была не права, значит, я своим упорством заставила короля, не терпящего возражений, действовать в соответствии с худшими качествами натуры, а значит,

частично разделяю его вину». Я сказал ей: добрая госпожа, вы чересчур строги к себе, пусть король сам несет вину за свои грехи, сам за них отвечает. Но она покачала головой. — Шапюи, расстроенный, потерянный, тоже качает головой. — Все те, кто отдал жизнь, добрый епископ Фишер, Томас Мор, благочестивые монахи-картезианцы… «Я ухожу из жизни, — сказала она, — таща на себе их трупы».

Он молчит. Шапюи подходит к столу, открывает инкрустированную шкатулку.

— Знаете, что это?

Он берет шелковый цветок — осторожно, боясь, что лепестки рассыплются в прах.

— Да. Подарок от Генриха. На рождение Новогоднего принца.

— Я стал лучше думать о короле. Прежде мне и в голову не приходило, что он может быть чувствительным и нежным. Я бы точно до такого не додумался.

— Вы горький старый холостяк, Эсташ.

— А вы горький старый вдовец. Что вы подарили своей жене на рождение своего очаровательного Грегори?

— Золотое блюдо… наверное. Или золотой кубок. Что-нибудь, что можно поставить в бу-

фет. — Он возвращает послу цветок. — Жены и дочери лондонских торговцев предпочитают весомые подарки.

— Екатерина подарила мне розу при расставании. Она сказала: мне больше нечего завещать. И еще сказала: выберите себе цветок и уходите. Я поцеловал ей руку и пустился в путь. — Шапюи со вздохом роняет розу на стол и прячет замерзшие руки в рукава. — Говорят, что конкубина выспрашивает у знахарей пол ребенка, хотя уже делала это прежде, и все ей пообещали мальчика. Что ж, смерть королевы изменит положение этой женщины. Но возможно, не так, как ей хотелось бы.

Он молчит. Ждет продолжения. Шапюи говорит:

— Мне сообщили, что король, узнав о смерти супруги, вывел к придворным свою незаконную дочь.

Елизавета умна и развита не по годам, говорит он послу. Впрочем, чему дивиться: Генрих был едва ли на год старше, чем теперь его дочь, когда проехал по Лондону на боевом коне, сжимая луку пухлыми детскими кулачками. Не сбрасывайте ее со счетов по малолетству. Тюдоры — воины от колыбели.

— Хм… — Шапюи стряхивает пепел с рукава. —

Если она Тюдор, в чем некоторые сомневаются. Цвет волос ничего не значит, Кремюэль. Я могу выйти на улицу и поймать полдюжины рыжих.

— Так вы думаете, — смеется он, — что Анна могла зачать от любого прохожего?

Посол медлит с ответом: не хочет признаваться, что слушает французские сплетни.

— Так или иначе, она если и дочь Генриха, то незаконная.

— Мне пора идти. — Он встает. — Ах да, я не принес вам ваш рождественский колпак.

— Держите его у себя, — Шапюи обнимает себя за плечи, — пока я в трауре. Только не надевайте, Томас, а то растянете.

Зовите-Меня-Ризли заявляется прямиком от короля с вестями о подготовке похорон.

— Я спросил его: ваше величество, вы распорядитесь доставить тело в собор Святого Павла? Он ответил, что ее можно похоронить в Питерборо. Там древняя и чтимая церковь, а похороны обойдутся дешевле. Я был потрясен. Я убеждал, мол, такие вопросы решаются в соответствии с прецедентами. Сестра вашего величества, жена герцога Суффолкского, погребена в соборе Святого Павла, а разве вы не называете Екатерину своей сестрой? А он ответил: «Моя сестра была

в первом браке супругой французского короля, и, значит, она — королевская особа». — Ризли хмурится. — А Екатерина, выходит, не королевская особа, хотя ее родители — монархи. Король сказал, ей будут оказаны все почести, какие положены вдовствующей принцессе Уэльской. Спросил, где геральдический балдахин, которым накрывали гроб Артура? Наверняка где-нибудь в гардеробной. Можно взять его.

— Разумно, — говорит он. — Иначе ей придется очень долго лежать непогребенной, пока соткут новый балдахин.

— Она попросила отслужить по ней пятьсот месс, — продолжает Ризли, — но я не стал Генриху об этом говорить. Сегодня он верит в одно, завтра в другое — не угадаешь. Так или иначе, запели трубы. И он ушел к обедне. И королева с ним. Она улыбалась. А на короле была новая золотая цепь.

Ризли не осуждает Генриха — просто пересказывает занятные обстоятельства.

— Что ж, — говорит он, — для покойника Питерборо не хуже любого другого места.

Ричард Рич ездил в Кимболтон описывать имущество и неожиданно сцепился с Генрихом из-за Екатерининых вещей. Не из любви к старой королеве, а из желания, чтобы все было по закону.

Генрих хочет получить меха и столовое серебро, но Рич возражает: «Ваше величество, коли вы не были на ней женаты, то она feme sole, а не feme covert[6]; коли вы не были ее мужем, то не можете ей наследовать».

Он от души посмеялся:

— Генрих получит меха. Уж поверьте мне, Рич отыщет лазейку. Знаете, как ей надо было поступить? Собрать их в мешок и подарить Шапюи. Вот кто все время мерзнет.

Анне приходит письмо от леди Марии — ответ на любезное предложение стать ей матерью. Мария пишет, что потеряла лучшую в мире мать и не нуждается в замене. Что до дружбы с конкубиной, она не станет так себя унижать. Она отталкивает руку, пожимавшую лапу дьяволу.

Он говорит:

— Наверное, время было выбрано неудачно. Возможно, ей сообщили про танцы. И про желтое платье.

Мария пишет, что будет послушна отцовской воле, насколько позволяют приличия и совесть,

---

[6] Примечания: 6

Средневековые термины англо-норманского права: feme sole — (букв. «одинокая женщина») вдова либо незамужняя, feme covert — (букв. «покровенная женщина») замужняя; по англосаксонскому праву ее состоянием распоряжался супруг.

но не более того. Она не станет делать заявлений и приносить клятв, требующих признать, что ее мать не состояла в законном браке с ее отцом или что дочь Анны Болейн — наследница трона.

Анна говорит:

— Как она смеет? С чего взяла, будто может торговаться? Если у меня родится мальчик, ей несдобровать. Пусть помирится с отцом сейчас, а не умоляет его о милосердии, когда будет поздно.

— Добрый совет, — отвечает он, — но едва ли она им воспользуется.

— Тогда я ничего больше сделать не могу.

— Я вполне с вами согласен.

Он тоже не видит, что еще можно сделать для Анны Болейн. Она коронована, вписана в статуты, в документы, однако народ так и не признал ее королевой…

Похороны Екатерины намечены на двадцать девятое января. Начинают приходить счета: за траурные наряды и свечи. Король по-прежнему ликует. Отдает повеление устроить придворные празднества. В третью неделю месяца будет турнир, и Грегори записан в участники. Мальчик целиком захвачен подготовкой: чуть не каждый день вызывает оружейника, отпускает того и тут же зовет снова; никак не решит, какого коня

взять.

— Отец, я надеюсь, что мне не выпадет биться с королем. Я его не боюсь, но так трудно будет помнить, что это он, чтобы коснуться копьем, но, Боже упаси, не ударить со всей силы. А если я ненароком собью его с лошади? Каково будет, если он проиграет новичку вроде меня?

— Я бы на твоем месте не беспокоился. Генрих бился на турнирах, когда ты еще ходить не умел.

— В том-то и беда, сэр. Он уже не так быстр, как раньше. Джентльмены так говорят. Норрис говорит, король утратил чутье. Норрис говорит, если не бояться, ничего не выйдет, а король думает, он лучше всех, и не боится. А Норрис говорит, бояться надо. Иначе теряешь бдительность.

— Следующий раз тебе надо с самого начала по жребию попасть в королевскую команду. Это устранит все затруднения.

— А как такое можно сделать?

— Господи Боже мой. Ну как вообще все делается, Грегори? Я поговорю с кем надо.

— Нет уж, пожалуйста. — Грегори расстроен. — Какая обо мне пойдет слава, если вы все будете для меня улаживать? Я должен сам. Я понимаю, что вы все знаете, отец, но вы никогда не бились на турнирах.

Он кивает. Как тебе будет угодно. Сын уходит, звеня латами. Его нежный мальчик.

В новом году Джейн Сеймур по-прежнему при королеве. Загадочные выражения сменяются на ее лице, словно она живет в облаке. Мэри Шелтон пересказывает ему:

— Королева говорит, если Джейн уступит королю, то надоест ему через день, а если не уступит, то все равно надоест. Тогда Джейн отошлют в Вулфхолл, и семья отправит ее в монастырь, потому что кому такая нужна. А Джейн молчит. — Шелтон смеется, впрочем, вполне беззлобно. — Для нее это большой разницы не составит. Она и сейчас в передвижном монастыре, связана собственными обетами. Она говорит: «Господин секретарь считает, будет очень грешно, если я позволю королю взять себя за руку, хотя его величество все время просит: “Джейн, дай твою лапку”. А поскольку господин секретарь в делах церкви идет сразу после короля и вообще человек очень благочестивый, я буду следовать его совету».

Как-то раз Генрих хватает проходящую Джейн и усаживает себе на колени. Это безобидное мальчишество, оправдывается потом король. Джейн не улыбается, просто сидит молча, пока ее не

отпускают, будто король не мужчина, а табурет.

Кристоф заходит к нему и шепчет:

— Сэр, на улицах говорят, что Екатерину убили. Что король запер ее в комнате и уморил голодом. Что вы прислали ей миндаль, она съела и отравилась. Что вы отрядили двух убийц с кинжалами, и те вырезали ей сердце, а когда его осмотрели, оказалось, что на нем большими черными буквами выжжено ваше имя.

— Что? У нее на сердце? «Томас Кромвель»?

Кристоф не знает, что ответить.

— Ну… Может быть, только ваши инициалы.

Часть вторая

I
Черная книга

Лондон, январь — апрель 1536 г.

При крике «Пожар!» он поворачивается на другой бок и засыпает крепче прежнего, уверенный, что горело во сне. Ему частенько снится что-нибудь в таком роде.

Потом его будит Кристоф, вопя в самое ухо:

— Вставайте! Королева горит!

Он выпрыгивает из постели в ледяной холод. Кристоф орет:

— Скорее! Скорее! От нее одни угольки остались!

Через секунду он на этаже королевы. Сильно пахнет гарью, женщины взволнованно тараторят, но Анна жива-здорова: сидит на стуле, закутанная в черный шелк, держит кубок с подогретым вином. Кубок дрожит, вино льется через край. Генрих, чуть не плача, обнимает жену и будущего наследника у нее в пузе.

— Если бы я только был с тобой, милая. Если бы я ночевал у тебя. Я бы сразу потушил пожар.

Снова и снова по кругу. Благодарению Богу, Ко-

торый нас не оставил. Слава Господу, пекущемуся об Англии. Если бы только я. Одеялом, затушил бы одеялом. Я бы сразу сбил пламя, не дал ему разгореться.

Анна выпивает глоток вина.

— Все позади. Со мной ничего не случилось. Пожалуйста, господин супруг. Успокойтесь. Дайте мне допить.

Ей неприятен Генрих с его причитаниями и объятиями. Посреди январской ночи она не может скрыть досаду. Лицо серое, недовольное. Анна обращается к нему, Кромвелю, по-французски:

— Есть пророчество, что королева Англии сгорит. Едва ли это означает «в собственной постели». Занялось от свечи, которую забыли потушить. По крайней мере так мне сказали.

— Кто забыл?

Анна вздрагивает и отводит взгляд.

— Надо распорядиться, — говорит он королю, — чтобы в спальне держали воду, и назначить женщин из числа фрейлин — проверять, погашены ли свечи рядом с королевой. Удивляюсь, почему этого до сих пор не заведено.

Все обычаи собраны в Черной книге, составленной при короле Эдуарде. Там прописан регламент

жизни всего дворца, кроме личных покоев монарха, где порядки свои, никому не ведомые.

— Если бы только я был с ней, — говорит Генрих. — Но, как вы понимаете, мы надеемся…

Король не может делить ложе с супругой, когда та носит его ребенка, слишком велика опасность выкидыша. Сейчас Анна словно каменеет от мужниных прикосновений, отодвигается от него, но в дневные часы все наоборот. Он наблюдал, как Анна пытается втянуть Генриха в разговор. Как резко тот отвечает. Как отворачивается, не желая показывать, что она ему нужна. И в то же время следит за ней глазами…

Ему неприятны все эти бабские дела. И то, что королева, в одном только ночном платье узорчатого атласа, чересчур худа для женщины, которой весной рожать, — тоже бабские дела.

Король говорит:

— Ее огнем не задело. Горел угол балдахина, где Авессалом на дереве. Прекрасная шпалера, и хорошо бы вы…

— Я выпишу из Брюсселя, — обещает он.

Огонь не тронул Давидова сына: тот по-прежнему висит на ветке, зацепившись длинными волосами, глаза выпучены от испуга, рот разверст в крике.

Рассвет еще не скоро. Дворцовые комнаты притихли, как будто ждут объяснений. Где была ночная стража с ее обходами? Разве кто-нибудь из женщин не должен спать на лежанке у королевы в ногах? Он спрашивает леди Рочфорд:

— Я знаю, что у королевы есть враги, но как допустили в опочивальню?

Джейн Рочфорд вскидывается: думает, что обвиняют ее.

— Послушайте, господин секретарь. Могу ли я говорить с вами откровенно?

— Я бы ничего иного не желал.

— Во-первых, это внутреннее дело, оно вас не касается. Во-вторых, никакой опасности для нее не было. В-третьих, я не знаю, кто зажег свечу. В-четвертых, если б и знала, не сказала.

Он молчит.

— В-пятых, никто вам не скажет.

Он молчит.

— Если случится такое, что кто-нибудь войдет к королеве, когда огни уже потушены, нам об этом распространяться не след.

— Кто-нибудь. — Он переваривает услышанное. — Кто-нибудь, кто войдет с целью совершить поджог или для чего-либо еще?

— Для того, для чего заходят в спальни. Я не

утверждаю, будто такой человек есть. Я бы все равно о нем не знала. Королева умеет хранить свои тайны.

— Джейн, — говорит он, — когда захотите облегчить душу, не идите к священнику, идите ко мне. Священник наложит на вас епитимью, от меня же вы получите презент.

Какова граница между правдой и ложью? Она проницаема и размыта, поскольку густо обросла слухами, домыслами, искажениями намеренными и нечаянными. Истина может ломиться в ворота и вопить на улицах, но если она не услаждает наши зрение и слух, ее удел — хныкать у черного хода.

Разбираясь с бумагами, которые остались от Екатерины, он вынужден был углубиться в некоторые легенды касательно ее молодости. Приходно-расходные книги — повесть не менее захватывающая, чем рассказы о морских чудищах и каннибалах. Екатерина всегда говорила, что после смерти Артура, до того как вышла за юного принца Генриха, жила в нищете и забвении: ела вчерашнюю рыбу и так далее. Все винили старого короля, но из счетов ясно, что тот не был таким уж скупцом. Екатерину обкрадывали домашние. Серебряная посуда и драгоценности утекали на

рынок: уж наверное, не без ее ведома? Он видит, что она была щедра и расточительна, другими словами, вела себя по-королевски, не думая, как жить по средствам.

Во что еще он верил безосновательно? Отец внес за него деньги, по крайней мере так утверждает Гардинер: уладил дело с родными человека, которого он пырнул ножом. Так может, думает он, Уолтер не хотел сжить меня со света, а лупил, потому что я его раздражал? И может, по делу лупил? Потому что я вечно бахвалился: «Я больше твоего могу выпить. Я вообще все могу, чего ты не можешь. Могу поколотить любого, хошь из Уимблдона, хошь из Мортлейка, пусть придут — сделаю из них отбивную. Я на дюйм выше тебя, глянь на косяк, где я поставил зарубку, давай, отец, давай, встань у косяка».

Он пишет:

Зубы Антони.
Вопрос: что с ними сталось?

Показания Антони мне, Томасу Кромвелю:
Их выбил ему дебошир-отец.

Ричарду Кромвелю:
Он был в крепости, осажденной войсками Па-

пы. Где-то за границей. Когда-то. Какого-то Папы. Под крепость подвели подкоп и заложили туда бочки с порохом. Он стоял в неудачном месте, и зубы вылетели от взрыва.

Томасу Ризли:

Он был матросом, и в Исландии капитан за провизию отдал их человеку, который вырезает из зубов шахматные фигуры. Антони не понимал, о чем разговор, пока исландцы в меховой одежде не подошли и не выбили ему зубы.

Ричарду Ричу:

Он потерял зубы в драке с человеком, оспаривавшим власть парламента.

Кристофу:

На него навели порчу, и все зубы выпали.

Кристоф ответил: «Мне в детстве рассказывали про английских колдунов. Здесь на каждой улице ведьма. Почти на каждой».

Терстону:

У него был враг-повар, который раскрасил камешки под орехи и дал ему горсть.

Грегори:

Их высосал исполинский змей, который вылез из-под земли и сожрал его жену. Это было в Йорк-

шире, в прошлом году.

Он подводит черту под списком. Говорит:

— Грегори, как мне быть с исполинским змеем?

— Отправьте туда комиссию, — отвечает Грегори. — Его надо уничтожить. Поручите это епископу Роуланду Ли. Или Фицу.

Он смотрит на сына долгим взглядом.

— Так ты знаешь, что все это бабушкины сказки?

Грегори так же долго смотрит на него.

— Да, знаю. — Голос виноватый. — Но люди так радуются, когда я им верю. Особенно мастер Ризли. Хотя теперь он такой серьезный. Раньше он забавлялся тем, что засовывал меня головой под водосточную трубу. А теперь заводит глаза к небу и говорит: «Его королевское величество». Хотя раньше называл государя «его королевским неприличеством». И передразнивал его походку.

Грегори упирает кулаки в бока и, тяжело ступая, делает круг по комнате.

Он подносит руку ко рту, пряча улыбку.

* * *

Приходит день турнира. Он в Гринвиче, но

смотреть поединки не пошел, сославшись на дела. Утром за ранней обедней король спросил его:

— Сколько приносит Рипонская епархия? Архиепископу Йоркскому?

— Чуть более двухсот шестидесяти фунтов, сир.

— А Саутуэллская?

— Всего сто пятьдесят фунтов, сир.

— Надо же. Я думал, куда больше.

Генрих живо интересуется епископскими доходами. Некоторые говорят: давайте установим епископам твердое содержание, а доходы от епархий пусть идут в казну. Он бы не прочь: на эти деньги можно содержать армию.

Однако сейчас не время заводить с королем такой разговор. Король падает на колени и молится тем святым, что защищают рыцарей на турнире.

— Ваше величество, — говорит он, — если будете биться с моим сыном Грегори, умерите ли вы силу удара? Чтобы не сбить его с лошади?

Однако король говорит:

— Я не обижусь, если малыш Грегори сбросит на землю меня. Едва ли такое случится, но коли случится, я первый скажу, что он — молодец. Да мы и не можем умерить силу удара вообще-то. Когда мчишь на полном скаку, уже нельзя удержать-

ся. — Генрих обрывает себя и говорит ласково: — Не так часто противник падает с лошади. Не в этом цель состязания. Если вы тревожитесь, как Грегори себя покажет, то ваши опасения напрасны. Он очень толковый, иначе не выступал бы на турнирах. О робкого противника копье не сломаешь, он должен мчаться к тебе во весь опор. Да кроме того, никто нынче и не выступает плохо, это не дозволяется. Сами знаете, как объявляют герольды: «Грегори Кромвель бился достойно, Генри Норрис бился очень достойно, однако наш король и повелитель бился лучше всех».

— Это правда, сир? — Он улыбается, чтобы не прозвучало обидно.

— Вы, советники, убеждаете меня, что я должен наблюдать за поединками с помоста, мол, в мои лета силы уже не те. Да, знаю. Однако поймите, Сухарь, трудно бросить то, в чем упражнялся с малолетства. У нас были люди из Италии, восхищались нами, Брэндоном и мной. Им почудилось, что воскресли Гектор и Ахилл. Так они сказали.

Но кто Ахилл, а кто Гектор? Один протащил другого по земле…

— Вы прекрасно воспитали Грегори. И Ричарда Кромвеля. Ничуть не хуже прирожденных дворян. Они делают честь вашему дому.

Грегори бился достойно. Грегори бился очень достойно. Грегори бился лучше всех.

— Мне не надо, чтобы он становился Ахиллом. Я просто хочу, чтобы он остался цел.

Число очков зависит от того, куда боец поразил противника, для туловища и для головы — отдельные колонки на бумаге. Засчитывается удар в кирасу, а не сломанные ребра. Удар по шлему, а не пробитый череп. Можно посмотреть записи за день, но они не скажут про боль от перелома, про то, как задыхающийся человек силится не сблевать в шлем. Вот и участники постоянно говорят: жаль, что вас не было, это надо видеть своими глазами.

Грегори расстроился, когда его отец сказал, что не придет на турнир. Дел, впрочем, и правда невпроворот. Ватикан поставил Генриху ультиматум: если в течение трех месяцев тот не покается, буллу об отлучении напечатают и разошлют по всей Европе, так что все христиане мира поднимутся против английского короля. Императорский флот везет к Алжиру сорок тысяч вооруженных солдат. Фаунтинский аббат постоянно ворует деньги из монастырской казны и содержит шесть шлюх — это сколько же надо сил? А через две недели начнется парламентская

сессия.

Как-то в Венеции он познакомился с одним рыцарем, уже стариком, который в свое время разъезжал по всем турнирам Европы. Тот рассказывал ему про свою жизнь: вечно в дороге, с лошадьми и оруженосцами, из страны в страну, туда, где объявлено очередное состязание, пока годы и накопленные увечья не заставили уйти с турнирной арены. В ту пору старик перебивался тем, что учил молодых аристократов, терпя обиды и насмешки. В мои дни, сетовал он, юноши обучались манерам, а теперь я чищу лошадей для бражников, которым в старые времена не позволил бы надраить мне сапоги. Сам погляди, до чего я докатился, пью с… кто ты таков? Англичанин?

Рыцарь был португалец, но говорил на кухонной латыни и ломаном немецком, пересыпая их словечками из турнирного лексикона, которые на всех языках примерно одинаковы. В прежние дни каждый турнир был испытанием, а не способом показать свое богатство. Женщины оставлялись на потом, а не глазели на тебя из раззолоченных павильонов. Система очков была гораздо сложнее, и судьи не прощали нарушений. Ты мог сломать все свои копья, но проиграть по очкам, сбросить противника на землю, но получить

не мешок с золотом, а штраф или несмываемое пятно на репутации. Дурная слава шла за тобой повсюду, и проступок, совершенный, скажем, в Лиссабоне, настигал тебя в Ферраре. Доброе имя — все, что у тебя оставалось после сезона неудач, поэтому ты старался не искушать судьбу, когда она благосклонна, потому что завтра она от тебя отвернется. Кстати, никогда не трать деньги на гороскопы. Когда седлаешь коня, лучше не знать, что сегодня тебя ждет поражение.

Хмелея, рыцарь говорил так, будто все на свете заняты его ремеслом. Оруженосцев ставь у конца барьера, чтобы лошадь не попыталась срезать угол, не то можешь зацепиться ногой. Чертовски больно, у тебя так бывало? Некоторые ставят всех оруженосцев туда, где произойдет сшибка, но что в этом проку? Он, Томмазо, соглашался: никакого проку. Старик говорил: эти щиты с пружиной, которые при ударе разваливаются на куски, видел их? Детские игрушки. Прежние судьи без всякого механизма видели, что копье попало в цель. В те времена у людей еще были глаза. Запомни: ни на что нельзя полагаться. Лошади подводят. Оруженосцы подводят. Нервы подводят.

Шлем надевай очень плотно, чтобы хорошо видеть в прорезь. Тело держи прямо, а когда бьешь,

поверни голову лишь самую малость и следи глазами за наконечником копья — он должен быть направлен точно в цель. Некоторые за мгновение до сшибки отклоняются вбок. Это естественно, но забудь про естественное. Тренируйся, пока не поборешь инстинкт. Иначе непременно отклонишься. Тело хочет себя уберечь, не налетать с размаху на закованных в латы коня и всадника, мчащихся тебе навстречу во весь опор. Некоторые не отклоняются, но в самый миг сшибки закрывают глаза. Одни из них знают про это и ничего с собой поделать не могут, другие просто не знают. Когда упражняешься, вели оруженосцам за тобой пронаблюдать. Научись не закрывать глаза.

Так как мне усовершенствоваться, спросил он у старого рыцаря, как преуспеть? Вот что ответил рыцарь: в седле сиди легко, будто выехал на прогулку. Поводья держи свободно, но лошадь должна тебя чувствовать. В combat a plaisance[7], когда плещут флаги, мечи затуплены, а на копья надеты корончатые наконечники, скачи так, будто хочешь убить. В combat a l'outrance[8] убивай

---

[7] Примечания: 7
Потешный бой (фр.).

[8] Примечания: 8
Бой насмерть, то есть с настоящим боевым оружием (фр.).

так, будто это забава.

На следующий вечер он вместе со своим приятелем Карлом Хайнцем возвращался из кабака и увидел вчерашнего знакомца: старый рыцарь лежал ничком, головой на суше, ногами в канале. Хорошо, что не наоборот. Они вытащили старика на берег и перевернули на спину. «Я знаю этого человека», — сказал он, а его друг спросил: «Чей он?» «Ничей, но ругается по-немецки, так что отвезем его в Немецкое подворье, а то сам я остановился не в Тосканском подворье, а у хозяина литейной». Карл Хайнц спросил: «Ты торгуешь оружием?» — а он ответил: «Нет, церковной парчой». Хайнц сказал: «Легче отыскать рубины в ночном горшке, чем выведать у англичанина его секреты».

Говоря, они поставили старика на ноги, и Карл Хайнц сказал: «Глянь, его обчистили — срезали кошелек. Странно, что не убили». До Фондако деи Тедески, дворца, где останавливались немецкие купцы (его как раз недавно отстроили после пожара), добрались на лодке, и он, Томмазо, сказал: «Уложи его на складе среди ящиков. Укрой чем-нибудь, а когда проснется — накорми и напои. Он хоть и старик, но крепкий — выживет. Вот деньги».

— Загадочный англичанин, — произнес Карл Хайнц.

— Мне тоже как-то помогли незнакомцы — ангелы в человеческом обличье, — ответил он.

Шлюз охраняли стражники, поставленные не купцами, а городом: венецианцы бдительно следили за тем, что происходит в иностранных подворьях. Пришлось заплатить еще и стражникам. Старик уже немного проспался и, когда его вытаскивали из лодки, размахивал руками и что-то говорил, возможно, на португальском. Под портиком Карл спросил:

— Томас, ты видел наши фрески? Эй, стражник, ты посветишь нам факелом или за это надо платить отдельно?

Факел озаряет стену и на ней что-то алое, струящееся: то ли край шелкового платья, то ли лужу крови. Затем тонкий бледный полумесяц, узенький белый серп. Выхватывает из тьмы женское лицо, контуры щек обведены золотом. Это богиня.

— Подними еще чуть выше, — просит он стражника.

На спутанных, развеваемых ветром волосах богини — золотая корона. Позади — звезды и планеты.

— Кого вы наняли это написать?

Карл Хайнц отвечает:

— Для нас работает Джорджоне, его друг Тициан расписывает Риальто, им платит Сенат. Но комиссионные с нас сдерут такие, что не дай Боже! Нравится она тебе?

Свет факела дрожит, опускается, оставляя на белой коже богини заплатки темноты. Стражник говорит:

— Сколько мне еще стоять тут для вашего удовольствия, в собачий мороз?

Это преувеличение, чтобы выманить побольше денег, однако с моря и впрямь дует холодный ветер, а на мосты и улицы вползает промозглый туман.

Луна упавшим камнем дробится в воде канала. Дорогая шлюха семенит по мостовой на высоких копинах[9], поддерживаемая слугами под локотки, ее смех звенит в ночном воздухе, желтый шарф змеится с белой шеи в туман. Он, Томас-Томмазо, наблюдает за ней. В следующий миг она исчезает: где-то для нее открыли дверь и тут же закрыли. Как и женщина на фреске, куртизанка растаяла во мгле. Площадь вновь пуста;

---

[9] Примечания: 9

Итальянская женская обувь XVI–XVII веков на очень высокой (около 18 см) деревянной или пробковой подошве.

они с Карлом Хайнцем простились несколько минут назад, и сейчас он один: темный силуэт у кирпичной стены, фрагмент, выхваченный из мрака. Если мне потребуется исчезнуть, сказал он себе тогда, лучше всего сделать это в Венеции.

Однако это было давным-давно, в чужой стране. А сейчас к нему заявился Рейф Сэдлер, и надо возвращаться в Гринвич, в сырое утро, к накрапывающему дождю. Где теперь Карл Хайнц? Умер, наверное. С той самой ночи он все собирался заказать себе такую же богиню, да как-то все время был занят другим — делал состояние, писал законы.

— Рейф?

Рейф стоит в дверях и не говорит. Он поднимает глаза, видит лицо юноши и роняет перо. Чернила брызжут на бумагу. Через мгновение он уже стоит, кутаясь в меховой плащ, как будто хочет отгородиться от неведомой еще беды. Спрашивает: «Грегори?»

Рейф мотает головой.

Грегори не пострадал. Он даже не выехал на арену.

Турнир прервали.

Генрих, говорит Рейф. Генрих мертв.

А, говорит он.

Сыплет на чернильные кляксы песок из костяной коробочки. Спрашивает: небось вся арена в крови?

У него всегда под рукой турецкий кинжал, давнишний подарок, в ножнах с гравированными подсолнухами. Диковинная игрушка, украшение, думал он до сего дня. Сейчас прячет кинжал под одеждой.

Позже он вспомнит, как трудно было пройти в дверь, повернуться к турнирной арене. Слабость, накатившая, когда он испугался за Грегори, так и не отпустила до конца. Он говорит себе: «Грегори цел», однако тело словно оглушено, замедленно, как будто он сам получил смертельный удар. Что делать: попытаться взять бразды в свои руки или бежать, скорее, скорее, пока не поздно, пока не закрыли порты… куда? Быть может, в Германию? Есть ли государство, где он сможет укрыться от императора, от Папы, от будущего правителя Англии?

Он никогда не отступал, разве что однажды, в семь лет, но тогда на него надвигался Уолтер. С тех пор: вперед, вперед, en avant! Так что сомнения недолги, но позже он не вспомнит, как дошел до огромного золотого шатра, расшитого английскими гербами, и оказался над телом короля Генриха

Восьмого. Рейф говорит, состязания еще не начались, король упражнялся с копьем, и наконечник зацепился за кольцо мишени. Лошадь рухнула на всем скаку, придавив всадника. Сейчас Добрый Норрис на коленях рядом с носилками молится, слезы ручьем. Тускло поблескивают кирасы, лица скрыты за шлемами: стальные челюсти, лягушачьи рты, щелочки глазниц. Кто-то говорит, лошадь оступилась, рядом никого не было, никто не виноват. Он словно слышит перепуганное конское ржание, крики зрителей, оглушительный лязг металла, с которым падают на землю два крупных животных — лошадь и человек; сталь вминается в мясо, копыта — в кость.

— Найдите зеркало, — говорит он, — и поднесите к его губам. Поднесите к ним перышко и гляньте, не шелохнется ли.

Короля вытащили из доспехов, но на нем по-прежнему стеганый турнирный дублет — черный, туго зашнурованный, как будто Генрих в трауре по самому себе. Крови не видно, и он, Кромвель, спрашивает, где рана. Король ударился головой, говорит кто-то, но больше ничего толкового из галдящей и причитающей толпы не вытянуть. Зеркало, перышки — все уже сделано, говорят ему; языки гудят, словно колокольные

била, молитвы мешаются с божбой, одно ошалелое лицо (глаза пустые, как речная галька) обращено к другому, и все движутся медленно-медленно, точно сонные мухи. Никто не хочет нести тело во дворец, слишком большая ответственность: увидят, доложат. Ошибка думать, будто после кончины государя его советники кричат: «Да здравствует король!» Часто смерть монарха скрывают несколько дней. И сейчас надо поступить так же. Генрих будто восковой… извлеченное из панциря мягкое человеческое тело выглядит пугающе беззащитным. Лежит на спине, вытянувшись во весь свой огромный рост, на небесно-синем полотнище. Руки по бокам. Нигде ни раны, ни ссадины. Он трогает лицо монарха: еще теплое. Судьба уберегла Генриха от всякой телесной раны или увечья, сохранила как дар богам: они забирают его таким же, каким прислали на землю.

Он открывает рот и орет. О чем вы думаете? Почему король лежит без всякого христианского попечения, будто уже отлучен от церкви? Будь это кто другой, его бы сейчас силились пробудить к жизни: осыпали розовыми лепестками и миртом, тянули за волосы, дергали за уши, жгли бы под носом бумагу, разжимали челюсти, чтобы

влить в них святую воду, трубили рядом в рог. Все это необходимо сделать… тут он поднимает глаза и видит, что на него, словно демон, бежит Томас Говард, герцог Норфолкский. Дядя Норфолк: дядя королевы, первый вельможа Англии. «Черт побери, Кромвель!» — рычит Норфолк. Смысл более чем понятен. Черт побери, наконец-то я с вами поквитаюсь. Черт побери, ваши изменнические кишки выпустит палач. Черт побери, еще до заката ваша голова будет торчать на пике.

Возможно. Однако в следующие секунды он, Кромвель, как будто раздается вширь, заполняя все пространство над мертвым телом. Он словно видит сверху, из-под купола палатки, как растет в обхвате и даже становится выше. Теперь он занимает больше места, вдыхает больше воздуха, прочнее стоит на земле. Когда герцог налетает на него, трясясь от макушки до пят, он — крепость на скале, и Томас Говард отскакивает от его стен, моргая, втягивая голову в плечи и бормоча не пойми что не пойми о ком.

— Милорд Норфолк! — ревет он. — Милорд Норфолк, где королева?!

Норфолк дышит с хрипом.

— На трибуне. Я ей сказал. Самолично. Мой долг. Как ее дяди. Бьется в припадке. Карлица пы-

талась ее поднять. Отпихнула ее ногой. Господи Боже Всемогущий!

Кто сейчас правит от имени младенца в Аннином утробе? Когда Генрих собирался во Францию, то сказал, что назначит Анну регентшей, однако это было год назад. К тому же король так и не уехал, так что мы не знаем, назначил бы или нет. Анна сказала ему, Кремюэлю: «Когда я буду регентшей, берегитесь: или вы будете мне послушны, или отправитесь на плаху». Анна-регентша быстро расправилась бы и с Екатериной, и с Марией. Екатерине теперь ничего не страшно, но Мария здесь и беззащитна. Норфолк падает на колени, шепчет короткую молитву, тут же вскакивает снова.

— Нет, нет, нет. Не баба на сносях. Куда ей править. Не Анна. Я, я, я.

Через толпу проталкивается Грегори. Мальчику хватило ума привести Фицуильяма, казначея.

— Принцесса Мария, — говорит он Фицу. — Как доставить ее сюда? Она нужна как можно быстрее, иначе страна погибнет.

Фицуильям — старинный друг и ровесник Генриха, а главное — человек ясного ума, так что даже сейчас не теряет присутствия духа.

— За ней присматривают люди Болейнов, — го-

ворит Фиц. — Едва ли они ее отпустят.

Да, и я болван, думает он, что не догадался заранее подкупить тюремщиков; я сказал, чтобы Екатерину отпустили с тем, кто предъявит мой перстень, но не позаботился о принцессе. Если Мария попадет в руки к Болейнам, то ей не жить; если к папистам, те провозгласят ее королевой, и тогда не жить мне. Начнется гражданская война.

Придворные набились в шатер, каждый рассказывает свою версию того, как Генрих убился, все восклицают, голосят, спорят, перекрикивая друг друга. Он стискивает Фицу локоть.

— Если новость доберется до тюремщиков Марии раньше нас, то мы уже не увидим принцессу живой.

Ее не удавят и не зарежут, но и до Лондона она не доедет — сломает шею по дороге или что-нибудь в таком роде; люди Болейнов об этом позаботятся. И тогда, если будущий ребенок Анны — девочка, то королевой станет Елизавета: больше никого у нас нет.

Фицуильям говорит:

— Погодите, дайте сообразить. Где Ричмонд?

Незаконный сын короля, шестнадцати лет от роду. Ценное имущество, о котором следует позаботиться. Ричмонд — зять Норфолка, Норфолк

знает, где он, может спрятать юношу, а может, наоборот, предъявить. Впрочем, он, Кромвель, не опасается бастарда, да к тому же Ричмонд давным-давно приручен лестью и ласковым обращением.

Норфолк мечется, гудит, словно обезумевший шмель — жжжж, жжжж, — и толпа шарахается, как от шмеля, откатывает, но тут же накатывает волной. Жжжж — Норфолк летит на него, Кромвеля; он отмахивается. Смотрит на Генриха; у покойника вроде бы дрогнуло веко, хотя, может, почудилось. Он стоит над королем: уродливый надгробный памятник, черный ангел-хранитель. Ждет, и когда веко дергается вновь, уже не сомневается. Он кладет руку королю на грудь, хлопает, словно купец, скрепляющий сделку. Говорит спокойно: «Король дышит».

Дикий рев: одновременно стон и победный вопль, хвала Богу и вызов дьяволу.

Под набитой конским волосом турнирной курткой — чуть заметная судорога; его рука тяжело лежит на королевской груди, и он чувствует, что воскрешает Лазаря, магнетическим касанием ладони возвращает Генриха к жизни. Тот дышит редко, но мерно. Он, Кромвель, увидел будущее, увидел Англию без Генриха и теперь шепчет

одними губами: «Да здравствует король».

— Позовите врачей, — говорит он. — Беттса или хоть какого-нибудь лекаря. Если король умрет снова, им ничего не будет, обещаю. Разыщите моего племянника Ричарда Кромвеля. Подайте табурет милорду Норфолку, ему дурно.

Очень хочется сказать, чтобы окатили водой Доброго Норриса, чьи молитвы (теперь, когда у Кромвеля есть время вслушаться) явно отдают папистским душком.

В палатке так тесно, что кажется, ее держат уже не шесты, а людские головы. Он последний раз глядит на короля, до того как неподвижную фигуру закрывают склоненные спины докторов и священников. Слышен долгий, судорожный хрип. Впрочем, хрипеть может и покойник; известны такие случаи.

— Расступитесь! — кричит Норфолк. — Дайте королю дышать! Дышать!

И словно по команде, лежащий делает глубокий, свистящий вдох. Потом чертыхается. Потом пробует сесть.

И все позади.

Нет, не совсем: он, Кромвель, еще должен пристально вглядеться в Болейнов. Их лица сведены, как на лютом морозе, перекошены запоздалым

осознанием великого мига. Как они успели сюда так быстро? «Откуда они взялись?» — спрашивает он Фица и внезапно замечает сгустившиеся сумерки. То, что показалось минутами, было на самом деле двумя часами. Два часа прошло с тех пор, как Рейф появился в дверях и он выронил перо.

Он говорит Фицуильяму:

— Разумеется, ничего не было. А если и было, то настолько мелкое происшествие, что даже говорить не о чем.

Эсташу и другим послам он скажет: да, король упал, ударился головой, несколько минут лежал без сознания. Нет, мы и на мгновение не подумали, будто он умер. Через десять минут король сел и сейчас чувствует себя превосходно.

С моих слов, замечает он Фицуильяму, может создаться впечатление, что удар о землю пошел королю на пользу. Что в этом и состояла цель. Что каждого монарха надо время от времени бить обо что-нибудь головой.

Фицуильям улыбается:

— Чего только не передумаешь в такие минуты. У меня вот первая мысль была — послать за лорд-канцлером. Теперь сам себе дивлюсь: чем бы он, по моему мнению, нам помог?

— А я думал про архиепископа Кентерберийского, — сознается он. — Мол, как же король умрет без него? Воображаю, как бы мы пытались погрузить Кранмера на барку! Он бы заставил нас для начала обсудить с ним главу из Евангелия.

Что предписывает делать в таких случаях Черная книга? Да ничего. Никто не оставил указаний, как быть, если король только что мчался по турнирной арене, а сейчас лежит бездыханный. Никто не посмел допустить самую мысль, что это возможно. Когда нет предписаний, в дело идут ножи. Он вспоминает Фицуильяма рядом с собой, Грегори в толпе, Рейфа за плечом, а потом и племянника Ричарда. Кажется, именно Ричард помог Генриху сесть, хотя доктора и кричали: «Нет, нет, пусть лежит!» Генрих прижал руки к груди, будто стиснул собственное сердце, затем попытался встать. Звуки, рвущиеся из королевского рта, походили на слова, только это были не слова: как будто на короля сошел Святой Дух, и тот глаголет языками ангельскими и человеческими. Его тогда пронзила паническая мысль: что, если это навсегда? Есть ли в Черной книге указания на случай монаршего слабоумия? Вроде бы он слышал, как ржет, пытаясь встать, раненая лошадь, но ведь этого не может быть: наверняка

ее сразу добили?

И тут сам Генрих взвыл, как раненый зверь. Сейчас, во дворце, король срывает повязку. Синяк и шишка — вот вердикт сегодняшнего Божьего суда. Генрих торопится показать себя придворным, дабы пресечь любые слухи о тяжелом увечье или смерти. Анна входит, опираясь на отцовскую руку; граф, «монсеньор», и вправду ее поддерживает, это не притворство. Она слаба, бледна. Теперь действительно видно, что у нее живот.

— Ваше величество, — говорит Анна. — Я молю, Англия молит вас больше не биться на турнирах.

Генрих жестом подзывает ее к себе — ближе, ближе, — и когда она оказывается прямо перед ним, яростно хрипит:

— Может, меня и охолостить заодно? Вы ведь этого хотите, мадам?

Разверстые ужасом лица. Родственникам хватает ума оттащить Анну прочь, прочь, вон из комнаты; весь клан Болейнов и Говардов смыкается вокруг нее, мистрис Шелтон и Джейн Рочфорд хлопочут и сокрушенно цокают языком. Джейн Сеймур, единственная из фрейлин, не трогается с места. Она стоит и смотрит на короля, и взор Генриха устремляется прямо к ней. Мгновение она одна посреди пустого пространства

— танцовщица, оставшаяся на сцене, когда весь кордебалет уже за кулисами.

Позже он с Генрихом в опочивальне. Король обмяк в бархатном кресле, рассказывает:

— Как-то я гулял с отцом по Ричмондской галерее, это было летом, часов в одиннадцать вечера, мы шли под руку и беседовали, вернее, он увлеченно говорил, я слушал. Внезапно раздались страшные грохот и треск, все здание застонало, и пол ушел у нас из-под ног. Я по гроб жизни не забуду, как мы стояли на краю провала, в который рушился мир. В первые мгновения я не понимал, что слышу, балки это хрустят или наши кости. Божьей милостью мы оба остались невредимы, и все же я отчетливо видел, как падаю вниз, вниз, до самой земли, даже ощутил ее запах — сырой, могильный. Вот и сегодня, когда я упал. Было так же. Я слышал голоса. Очень далекие. Слов разобрать не мог. Я парил в воздухе. Бога не видел. Ангелов тоже.

— Надеюсь, вы не огорчились, когда пришли в чувство и увидели всего лишь Томаса Кромвеля.

— Никогда я не был вам так рад, — говорит король. — Ваша собственная матушка в день вашего рождения так не радовалась вам, как я сегодня.

Слуги ходят по комнате неслышными шагами,

заняты вечерними обязанностями. Кропят королевское ложе святой водой.

— Полегче, — одергивает их Генрих. — Или вы хотите, чтобы я простыл? В одной капле благодати не меньше, чем в целом ведре. — Затем поворачивается и шепчет: — Сухарь, ничего этого не было. Понимаете?

Он кивает. Все записи о происшествии уничтожены им самолично. В хрониках останется, что такого-то числа лошадь под королем споткнулась, но Божья рука подняла его и усадила обратно на трон, живого и веселого. Еще одно наблюдение для «Книги под названием Генрих»: урони его, он подскочит.

Однако королева права. Все мы видели старых бойцов, турнирных соратников прежнего короля, как они бродят по дворцу, растерянно моргая, — люди, которые слишком часто ударялись головой, хромые, ковыляющие, скрюченные, как кочерга. И никакое умение не убережет от судьбы. Запомни: ни на что нельзя полагаться. Лошади подводят. Оруженосцы подводят. Нервы подводят.

В тот вечер он говорит Ричарду Кромвелю:

— Не дай Бог еще раз такое пережить. Многие ли могут сказать, как я: «У меня нет друзей, кроме

короля Англии»? Вроде бы я богат и всесилен, но отними Генриха — останусь ни с чем.

Позже он высказывает ту же мысль, в более осторожной форме, Уильяму Фицуильяму. Фиц смотрит на него задумчиво, не без сочувствия.

— Не знаю, Сухарь. Кое-кто вас поддерживает.

— Прошу меня извинить, — скептически замечает он, — но почему я этой поддержки не вижу?

— Я хотел сказать, если вам потребуется помощь против Болейнов, вас поддержат.

— Против Болейнов? Отчего бы это? Мы с королевой — лучшие друзья.

— Шапюи говорит нечто иное.

Он склоняет голову набок. Интересно, кто встречается с послом, а еще интереснее, что из разговоров тот передает другим собеседникам.

— Слышали их? — возмущенно спрашивает Фиц. — У шатра, когда мы думали, что король умер? Как они кричали: «Болейн! Болейн!» Выкликали собственное имя, будто кукушки.

Он ждет. Разумеется, он слышал Болейнов. Настоящий вопрос не в этом… а в чем? Фиц близок к королю. Рос вместе с Генрихом, хотя его род — старинный, но не знатный. Воевал. Был ранен из арбалета. Ездил послом во Францию, знает Кале и тамошних англичан, их взгляды и настро-

ения. Входит в избранный круг рыцарей ордена Подвязки. Пишет хорошо, по делу, избегая и чрезмерной прямоты, и чрезмерной уклончивости, умерен в лести, щедр в дружелюбии. Заслужил уважение кардинала и благожелателен к Томасу Кромвелю за обеденным столом… а сейчас благожелателен чуть больше обычного?

— Что бы случилось, Сухарь, не вернись король к жизни? Век буду помнить, как Говард вопил: «Я, я, я!»

— Такое не забудется. Что до… что до худшего, короли умирают, но государства живут. Можно было бы создать правящий совет из юристов короны и нынешних сановников…

— …включая вас…

— Разумеется, включая меня. — (Причем сразу в нескольких качествах: кто ближе королю, кто доверенное господина секретаря, который в то же время и юрист, начальник судебных архивов?) — С согласия парламента мы могли бы создать регентский совет, чтобы он управлял страной, пока королева не разрешится от бремени, и дальше, если она позволит, до совершеннолетия нового государя.

— Она бы не позволила.

— Да, она желала бы править сама. Хотя для

этого ей пришлось бы одолеть дядю Норфолка. И я не знаю, кого бы из двоих поддержал. Наверное, даму.

— Спаси Бог Англию и ее жителей, — говорит Фицуильям. — Из этих двоих я скорее поддержал бы Томаса Говарда. Он по крайней мере может выйти на бой, если до такого дойдет. Поручи регентство ей, и Болейны станут вытирать о нас ноги. Мы будем для них живым ковром. Она прикажет вышить у нас на коже «АБ». — Трет подбородок. — Впрочем, это так и так будет. Если она родит Гарри сына.

Он чувствует, что Фиц за ним наблюдает. Говорит:

— Кстати, о сыновьях. Должен сказать, я у вас в неоплатном долгу за доброе попечение о Грегори. Если могу быть чем-нибудь полезен — только скажите.

— Это я должен благодарить. Присылайте его опять поскорее.

Пришлю непременно, думает он. Вместе с дарственной на земли монастыря-другого, как только будет принят мой новый закон. На его столе громоздятся бумаги к предстоящей сессии. Хочется верить, что скоро Грегори будет заседать в парламенте вместе с ним — мальчику надо

изучить государственное устройство со всех сторон. Депутатский срок — опыт разочарований, бесценный урок терпения. Они, члены палаты общин, сопричастны войне и миру, склокам, дебатам, недовольству, ропоту, богатству, бедности, истине, лжи, справедливости, гнету, измене, убийствам, а равно сохранению государства; они делают то же, что предшественники — в меру сил, разумеется, — и уходят, оставив все, как было до них.

После случая с королем все по-старому и все иначе. Он, как и прежде, в контрах с Болейнами, со сторонниками Марии, с герцогом Норфолкским, с герцогом Суффолкским, с отсутствующим епископом Винчестерским, не говоря уже о короле Франции, императоре и епископе Римском, иначе именуемом Папой. Однако каждое из противостояний стало еще острее.

В день Екатерининых похорон его охватывает тоска. Наши враги — самые близкие нам люди, наше второе «я». Когда она в семь лет сидела на шелковых подушках в Альгамбре за первой своей вышивкой, он чистил овощи в кухне Ламбетского дворца под присмотром своего дяди Джона, тамошнего повара.

В совете он принимал сторону Екатерины не

реже, чем ее адвокаты. «Вы говорите то-то, милорды, но вдовствующая принцесса утверждает, что…» или «Екатерина опровергнет вас так-то». Не потому, что желал ей победы, а чтобы сберечь время. Как противник, он вникал в ее заботы, оценивал ее стратагемы, угадывал ее следующие шаги. Чарльза Брэндона это долго ставило в тупик. «За кого же он?» — вопрошал тот.

Даже и теперь в Риме не считают, что дело Екатерины закрыто. Ватиканские юристы не бросают процесс из-за того, что одна из сторон отошла в мир иной. Может быть, когда все мы умрем, в какой-нибудь ватиканской крипте скелет секретаря будет все так же обсуждать с другими скелетами тонкости канонического права. Они будут лязгать друг на друга зубами, поворачивать в пустых глазницах несуществующие глаза: глядь, а все документы-то рассыпались в прах. Кто лишил Екатерину девственности, первый муж или второй? Мы не узнаем, пройди хоть целая вечность.

Он говорит Рейфу:

— Кто постигнет жизнь женщины?

— Или ее смерть, — отвечает Рейф.

Он поднимает глаза:

— Но ты-то не думаешь, что Екатерину отра-

вили?

— Говорят, — серьезно отвечает Рейф, — будто яд подмешали в крепкое валлийское пиво, которое она, надо понимать, в последние месяцы употребляла с большой охотой.

Он ловит взгляд Рейфа и фыркает от смеха. Вдовствующая принцесса хлещет крепкое валлийское пиво!

— Из кожаной кружки, — продолжает Рейф. — Бывало, как шмякнет ею об стол, как заорет: «Наливай еще!»

В коридоре — топот бегущих ног. Что еще стряслось? Стук в дверь, вбегает запыхавшийся мальчишка-валлиец.

— Хозяин, вам срочно надо к королю. Фицуильям прислал за вами своих людей. Кажется, кто-то умер.

— Как, еще кто-то? — говорит он, запирая бумаги в стол и протягивая ключ Рейфу. Хватит оставлять секреты на виду, свежие чернила на воздухе. — Кого мне воскрешать на сей раз?

* * *

Знаете, как бывает, когда опрокинется телега? Все, с кем вы говорите, случайно оказались на той самой улице. Они своими глазами видели, как

мужчине оторвало ногу. Как женщина испустила дух. Как грабили товар с заднего конца телеги, когда возчик лежал, раздавленный ее передком. Они слышали, как один исповедовался перед смертью, а другой из последних сил диктовал юристу завещание. И если все, кто объявил себя очевидцем, и вправду там были, значит, весь лондонский сброд собрался в одном месте: воры сбежали из тюрем, шлюхи — из постели, и все адвокаты стояли плечом к плечу с мясниками, вытянув шею и открыв рот.

Чуть позже в тот день, 29 января, он тронется в Гринвич, сам не свой от известия, доставленного людьми Фицуильяма. Чего только он не наслушается. Я был там, когда Анна оборвала речь на полуслове, я был там, когда она отложила книгу, шитье, лютню, я был там, когда она праздновала похороны Екатерины и внезапно изменилась в лице. Я видел, как фрейлины бросились к ней, как увели ее в спальню и заперли дверь, я видел кровавый след на полу, там, где она прошла.

Нам не обязательно верить во все. В кровавый след. Мало ли что люди видят в воображении. На его вопрос, когда у королевы начались схватки, никто ответить не смог, хотя якобы все произошло при них. Они запомнили кровавый след

и упустили остальное. Пройдут сутки, прежде чем из королевиной спальни сообщат горестную весть. Бывает, что кровотечение прекращается и женщина все же донашивает ребенка. Но нет. Екатерина еще не успокоилась в могиле, слишком мало времени прошло с похорон: она протянула мертвую руку и выдернула младенца из Аннинога чрева.

Вечером перед королевиной опочивальней карлица сидит на плитах, раскачивается и стонет: изображает, что у нее схватки. «Бесплодные усилия», — говорит кто-то.

— Нельзя ли ее убрать? — спрашивает он фрейлин.

Джейн Рочфорд говорит:

— Это был мальчик, господин секретарь. Она носила его четыре месяца, насколько мы можем судить.

— Какая теперь разница?

— Я подумала, вам будет интересно. О, я знаю, что планы менялись, иногда в тот же день. То король был с ней, то нет, то при ней был Норрис, то другие джентльмены. Однако вы правы, господин секретарь. Теперь это не важно. Врачи мало что могут сказать наверняка. Мы не узнаем, когда ребенок был зачат и кто где в это время

находился.

— Быть может, и не стоит об этом больше говорить.

— Что ж. Теперь, когда у нее, бедняжки, вновь не получилось выносить — что будет со страной?

Карлица встает и, глядя прямо на него, задирает юбку. Он не успевает отвести глаза. Кто-то (или, может, она сама) обрил ей лобок, и теперь у нее там голо, как у старухи или у маленькой девочки.

Позже, стоя перед королем вместе с Мэри Шелтон, Джейн Рочфорд ничего не может сказать определенно.

— По всей видимости, это был мальчик, — говорит она, — примерно на шестнадцатой неделе.

— Что значит «по всей видимости»? — вопрошает король. — Разве нельзя определить точно? Поди прочь, женщина, ты никогда не рожала, что ты в этом смыслишь? Рядом с королевой должны быть опытные матроны. Неужто вы, Болейны, не можете уйти с дороги и уступить место кому-нибудь более толковому? Вечно вам надо толпиться там, где стряслась беда.

Голос леди Рочфорд дрожит, однако она тверда.

— Ваше величество может поговорить с вра-

чами.

— Уже говорил.

— Я лишь повторяю их слова.

Мэри Шелтон ударяется в слезы. Генрих смотрит на нее и говорит кротко:

— Мистрис Шелтон, прости меня. Я не хотел доводить тебя до слез, милая.

Король мучается. Нога в бинтах — рана, полученная на турнире десять лет назад, беспокоила его все эти годы, а после недавнего падения воспалилась еще сильнее. От прежней бравады нет и следа; Генрих напуган, как в тот раз, когда видел во сне своего брата Артура. Это уже второй ее выкидыш, говорит король в тот вечер, наедине, хотя, кто знает, может, были и другие; женщины молчат, пока не станет виден живот, мы не знаем, скольких моих детей она потеряла. Чего Господь теперь от меня хочет? Что надо сделать, чтобы Ему угодить? Я вижу, что Бог не даст мне сыновей.

Он, Кромвель, стоит в сторонке, покуда Томас Кранмер, бледный и вкрадчивый, выслушивает королевские горести.

— Мы клевещем на Создателя, — говорит архиепископ, — когда виним Его за все печальные обстоятельства нашей падшей природы.

— Я думал, Он помнит о каждой малой птице, — с детской злостью произносит король. — Тогда почему же Он не печется об Англии?

Кранмер придумает объяснение. Он, Кромвель, почти не слушает; его мысли заняты женщинами Анны. Они мудры, как змии, кротки, как голуби. Уже прядется некая нить, некая версия событий, и вьют ее в покоях королевы: Анна Болейн не виновна в том, что произошло. Виновен ее дядя, Томас Говард, герцог Норфолкский. Когда король упал с лошади, Норфолк ворвался к королеве, крича, будто Генрих умер. От этого потрясения нерожденное сердечко остановилось.

Более того: виноват сам Генрих. Тем, что дурно себя ведет, что увивается за дочкой старого Сеймура, оставляет записки на ее скамье в церкви, шлет ей конфеты со своего стола. Когда королева узнала, что ее муж любит другую, то была уязвлена в самое сердце. От горя ее утроба возмутилась и исторгла младенца.

— Позвольте, — говорит король холодно, стоя в изножье кровати и выслушивая такое объяснение событий. — Позвольте, мадам. Если какая женщина и виновна, то лишь та, которая сейчас передо мной. Я побеседую с вами, когда вам будет лучше, а пока всего доброго, я еду в Уайтхолл

готовиться к парламентской сессии, вам же советую лежать в постели, пока вы не оправитесь. Чего со мной, боюсь, уже не произойдет.

И тогда Анна кричит ему вслед (по крайней мере так рассказывает леди Рочфорд):

— Останьтесь, милорд, я скоро подарю вам еще ребенка, тем скорее, что Екатерины теперь нет в живых.

— Не понимаю, как это может ускорить дело. — Король, прихрамывая, уходит прочь.

Теперь в личных покоях джентльмены (они собирают короля в дорогу) проходят мимо своего повелителя осторожно, словно тот — из стекла. Генрих сожалеет о поспешных словах, ведь если королева не едет, то не едут и дамы, и он не сможет любоваться своей куколкой Джейн Сеймур. Только что подоспели новые доводы, возможно, в записке от Анны: плод, зачатый при жизни Екатерины, в любом случае был несравненно хуже того, что будет зачат после ее смерти — неизвестно когда, но точно очень скоро. Даже если бы ребенок родился и вырос, нашлись бы те, кто усомнился в его законности, теперь же, когда Генрих вдовец, никто в христианском мире не оспорит их брак, а значит — и будущего наследника.

— Как вам такие рассуждения? — Генрих

неловко (нога по-прежнему туго забинтована) опускается в кресло. — Нет, не сговаривайтесь, я желаю получить по ответу от вас обоих, от каждого Томаса отдельно. — Генрих кривится; впрочем, это означает улыбку. — Знаете, как вы запутали французов? Они думают, вы один советник, и в депешах называют вас доктор Кранмель.

Они переглядываются, Кранмер и он, ангел и мясник. Однако король не ждет, пока они ответят, вместе или порознь, а продолжает говорить, будто тычет в себя кинжалом — проверить, больно ли.

— Если король не может произвести наследника, остальное уже не важно. Победы, воинская добыча, мудрые законы, которые он принимает, великолепие его двора — все это ничто.

Да, верно. Сохранять прочность королевства — договор монарха с народом. Если он не может сам произвести сына, значит, должен выбрать наследника, провозгласить перед всей страной до того, как начнутся смуты и разногласия, заговоры и козни. И кого Генрих может выбрать, не насмешив людей?

Король говорит:

— Когда я вспоминаю, что сделал для нынешней королевы, как поднял ее до себя, дочь обычного

джентльмена… то не могу понять, что тогда на меня нашло.

Смотрит на советников, будто вопрошая: а вы понимаете, доктор Кранмель?

— Мне думается, — продолжает Генрих неуверенно, подыскивая нужные слова. — Мне думается, что меня бесчестно склонили к этому браку.

Он, Кромвель, смотрит на вторую половину себя, будто в зеркало; Кранмер опускает глаза.

— Что значит бесчестно? — спрашивает архиепископ.

— Я уверен, что был тогда не в себе. Как и сейчас, впрочем.

— Сир, — говорит Кранмер. — Ваше величество. Помилуй Бог, конечно, вы не в себе. Вы понесли большую утрату.

Две, думает он, ваш сын родился мертвым, а вашу первую жену опустили в землю. Немудрено, что вы трепещете.

— Сдается, что меня приворожили, — говорит Генрих, — может, заклятием, может, зельем. Женщины такое умеют. А если это верно, то брак недействителен, ведь правда?

Кранмер протягивает руки, будто силится остановить набегающий морской вал. Архиепископ видит, как тает в воздухе его королева, столько

сделавшая для истинной веры.

— Сир… сир… ваше величество…

— Довольно! — обрывает Генрих, как будто это Кранмер начал разговор. — Кромвель, в бытность солдатом вы не слышали о чем-нибудь, что могло бы исцелить мою ногу? Я снова ею ударился, и врачи говорят, там скапливаются дурные соки. Они опасаются, что гниение дошло до кости. Только никому не рассказывайте — не хочу, чтобы стало известно. Велите пажу позвать Томаса Викери. Пусть отворит мне кровь, может, полегчает. Доброй вам ночи. Надеюсь, даже этот день когда-нибудь закончится.

Последние слова обращены скорее к себе, чем к собеседникам.

Доктор Кранмель выходит. За дверью один из них поворачивается к другому.

— Завтра его настроение может перемениться, — говорит архиепископ.

— Да. Человек, когда ему больно, может сказать что угодно.

— Нам не следует обращать внимание на его слова.

— Не следует.

Они словно два человека, идущие по тонкому льду: ступают мелкими шажками, держатся друг

за друга. Как будто это поможет, когда по обеим сторонам разверзнутся трещины.

Кранмер говорит неуверенно:

— У него от горя мутится разум. Не мог же он столько добиваться Анны, чтобы так быстро ее отбросить. Скоро они совершенно помирятся.

— К тому же, — замечает он, — не в обычае Генриха признавать ошибки. У него могут быть сомнения касательно своего брака, но горе тому, кто первый о них заговорит.

— Надо успокоить его сомнения. Мы с вами должны это сделать.

— Он хотел бы восстановить дружбу с императором. После смерти Екатерины им не из-за чего оставаться в ссоре. И надо признать, что нынешняя королева…

Он не решается сказать «лишняя». Не решается сказать «помеха для мира».

— Стоит у него на пути, — без обиняков заканчивает Кранмер. — Но не станет же он ею жертвовать в угоду императору или кому бы то ни было еще? Риму не стоит на это рассчитывать. Он не отступится.

— Да. Уж поверьте, наш добрый государь не отступится от своей церкви.

Кранмер слышит то, что он оставил недоска-

занным: для сохранения церкви Анна королю не нужна.

Хотя, говорит он Кранмеру, трудно вспомнить короля до Анны, трудно вообразить без нее. Она все время рядом. Читает через плечо его письма. Проникает в его сны. Даже когда лежит рядом с ним на ложе, для нее это недостаточно близко.

— Я скажу вам, что мы должны сделать. — Он сжимает Кранмеру локоть. — Давайте устроим обед и пригласим герцога Норфолка.

Кранмер отшатывается:

— Норфолка? Зачем?

— Для примирения, — беспечно говорит он. — Боюсь, что в день печального случая с королем я… хм… неуважительно отнесся к притязаниям герцога. В шатре. Когда он туда вбежал. Вполне обоснованным притязаниям, — уточняет он с почтительной миной. — Разве герцог — не главный из пэров королевства? Нет, я всем сердцем ему сочувствую.

— Что вы натворили, Кромвель? — Архиепископ бледен. — Что вы натворили в шатре? Подняли на Норфолка руку, как прежде на герцога Суффолка?

— На Брэндона? Да я всего лишь его отодвинул.

— Когда он этого не хотел.

— Ради его же блага. Если бы не я, Чарльз своим языком довел бы себя до Тауэра. Понимаете, он оскорблял королеву.

Что дозволено, думает он, только самому Генриху, но не мне и не кому-либо другому.

— Ну пожалуйста, давайте устроим обед. У вас в Ламбетском дворце. Ко мне Норфолк не придет: подумает, будто я хочу подсыпать ему сонного порошка в кларет, погрузить его на корабль и продать в рабство. А к вам заглянет с охотой. Я пришлю дичь. И желе в виде главных дворцов герцога. Вам не надо будет тратиться, а вашим поварам — хлопотать.

Кранмер смеется. Ну наконец-то. Это большая победа — вызвать у архиепископа хотя бы улыбку.

— Как желаете, Томас. Обед так обед.

Архиепископ кладет ему руки на плечи, целует сперва в правую щеку, затем в левую. Лобзание мира. Он не чувствует в душе покоя или хотя бы утешения, идя в свои комнаты по неестественно притихшему дворцу: издали не доносятся звуки лютни, разве что обрывки молитв. Он пытается вообразить недоношенный плод, человечка не больше крысы, со старческим и мудрым лицом.

Мало кто из людей такое видел. Он уж точно

нет. В Италии ему однажды случилось держать фонарь для хирурга, когда тот в темной запертой комнате вскрывал покойника с целью посмотреть, как человек устроен. То была ужасная ночь, горло спирало от вони кишок и крови, а художник, проникший на вскрытие за взятку, все пытался оттереть его плечом. Однако он стоял крепко, поскольку обещался держать фонарь. Так он попал в число светочей, избранных, видевших, как мышцы отделяют от кости. Однако ему ни разу не довелось заглянуть в женщину, и уж тем более — в беременную; ни один врач, даже за деньги, не стал бы вскрывать такой труп на публике.

Он думает о Екатерине, забальзамированной и уложенной в гробницу. Ее душа отлетела от тела на поиски первого мужа: бродит сейчас, выкликая его имя. Ужаснется ли Артур при встрече: она — старая толстуха, а он — все тот же худой мальчик?

Ему вспоминается девиз Анны, часть ее герба: «Счастливейшая».

Когда он спросил у Джейн Рочфорд, как королева, та ответила: «Сидит, плачет».

Он имел в виду: много ли крови потеряла?

Екатерина была не святая, но теперь ее грехи

сняты и возложены на Анну. Старая королева обитает в сиянии славы Божьей, умершие дети копошатся у ее ног. Анна по-прежнему на грешной земле, мокрая от родильного пота, на окровавленных простынях. Однако руки и ноги ее холодны, а сердце окаменело.

Вот и герцог Норфолк, ждет, чтобы его накормили. В лучшем своем платье (или по крайней мере в таком, какое счел приличным для Ламбетского дворца) герцог похож на изгрызенную собакой веревку или на объеденный хрящ. Яростные глаза под кустистыми бровями. Волосы — стальная щетина. Весь — кости да жилы, пахнет лошадьми, кожей, оружейной мастерской и почему-то еще золой — так, что в носу щиплет. Норфолк не боится никого из живущих, кроме Генриха Тюдора, в чьей власти отобрать у него герцогство, однако трепещет перед мертвыми. Говорят, что под конец дня королевин дядя самолично задвигает щеколды на дверях и ставнях, чтобы покойный кардинал Вулси не влетел в окно и не вполз по лестнице. Если бы Вулси хотел добраться до Норфолка, то сидел бы тихонько в ящике стола, дыша через щелочку, или влез в замочную скважину, или черным от сажи голубем свалился, хлопая крыльями, через каминную трубу.

Когда племянница Говардов Анна Болейн стала королевой, герцог думал, что теперь его горести позади. А горестей скопилось немало: все вельможи были его завистники, недоброжелатели, клеветники. Теперь-то, когда Анну коронуют, думал Норфолк, он станет правой рукой короля. Вышло иначе, к большой досаде герцога. Новая женитьба не принесла Говардам ожидаемого богатства и почета — все досталось Анне и Томасу Кромвелю. Герцог считает, что Анну должны направлять во всех поступках родственники-мужчины, но Анна не хочет, чтобы ее направляли, более того, ясно дала понять, что считает себя, а не герцога, главой семьи. На взгляд герцога, это противно естеству: женщина не может главенствовать, ее удел — послушание. Всякая женщина, даже королева, должна знать свое место, а забудет — ей надо напомнить. Говард иногда ворчит: не на Генриха, а на Анну Болейн. В последние годы герцог нашел лекарство: уезжает от двора в поместье и там изводит жену, которая в письмах часто жалуется Томасу Кромвелю на обиды, чинимые ей мужем. Как будто он, Томас Кромвель, может превратить герцога в нежного возлюбленного или хотя бы в подобие разумного человека.

Однако, как только сделалось известно, что

королева опять в положении, герцог тут же заявился ко дворцу, а вскоре к нему приехал и сынок. Юный Суррей чрезвычайно высокого мнения о своей одаренности, удачливости и красоте. Однако лицо у него кривое, и он напрасно стрижется под горшок. Нынче Суррей обедает в Ламбетском дворце, пожертвовав вечером у шлюх. Так и рыщет глазами по комнате: может, думает, что у Кранмера за портьерой голые девки.

— Что ж, — говорит герцог, потирая руки. — Когда заглянете ко мне в Кеннингхолл, Томас Кромвель? У нас отличная охота, клянусь Богом, есть что пострелять в любое время года. Захотите — найдем вам грелку по вашему вкусу, женщину из простых, как вы любите. Нынче у нас служит одна… — свистящий вдох, — с вот такими грудями… — Герцог корявыми пальцами мнет воздух.

— Если она ваша, — тихо говорит он, — я не хотел бы ее у вас отнимать.

Герцог косится на Кранмера. Может, о женщинах говорить нельзя? Впрочем, Кранмер — не настоящий архиепископ, по крайней мере в глазах Норфолка, просто бедный попик, которого Генрих подобрал где-то под забором и который пообещал делать все, что потребуют, за митру и

сытную кормежку.

— Клянусь Богом, Кранмер, вы плохо выглядите, — с мрачным удовольствием объявляет герцог. — Кожа да кости, не пойми, в чем душа держится. Вот как я. Только гляньте. — Норфолк вскакивает из-за стола, оттолкнув незадачливого слугу, который стоит наготове с кувшином вина. Раздвигает мантию, выставляет тощую ногу. — Что скажете?

Ужасно, соглашается он. Что так иссушило Томаса Говарда? Ясное дело, унижение. Племянница на людях его перебивает. Смеется над дядиными образками и частицами мощей, которые он носит на себе, а среди них есть и чудотворные. За столом наклоняется к нему, говорит: «Вот, дядя, поклюйте крошек с моей ладони, вы совсем отощали».

— И ведь правда, я отощал, — говорит Норфолк. — Уж не знаю, Кромвель, отчего вы такой упитанный. Только гляньте на себя: людоед зажарил бы вас и съел.

— Что ж, — улыбается он, — в упитанности есть свои недостатки: надо опасаться людоедов.

— Думаю, вы пьете порошок, который раздобыли в Италии, от него и ваше дородство. Вы же не поделитесь своим секретом?

— Ешьте желе, милорд, — терпеливо говорит

он. — Если я узнаю про такой порошок, то добуду вам на пробу. Мой единственный секрет — я сплю по ночам. Я в мире с моим Создателем. И разумеется, — добавляет он, откидываясь на спинку стула, — у меня нет врагов.

— Что? — Кустистые брови лезут на лоб. Герцог кладет себе еще кусок желейных укреплений, алых и прозрачных: воздушные камни, кровавые кирпичи, — и, набивая ими рот, высказывается на различные темы. Главным образом касательно Уилтшира, отца королевы. Который должен был воспитать Анну как следует, в дочернем послушании. Ну нет, ему было не до того, он похвалялся ею на французском, бахвалился, какой она станет.

— Так она и стала, — замечает юный Суррей. — Разве не правда, милорд отец?

— Думаю, это из-за нее я так исхудал, — говорит герцог. — Она знает все про порошки. Говорят, держит у себя дома отравительниц. Вы же помните, что она сделала со старым епископом Фишером.

— Что? — спрашивает юный Суррей.

— Ты что, с луны свалился? Фишерову повару заплатили, чтобы тот всыпал порошка в суп. Епископ чуть не помер.

— Невелика потеря, если б и помер, — говорит юнец. — Он был изменник.

— Да, — отвечает Норфолк, — но тогда его измену еще не доказали. У нас не Италия, малыш. У нас есть суд. Так вот, старик выкарабкался, но так до смерти и болел. Генрих приказал сварить повара живьем.

— Но тот так и не сознался, — говорит он, Кромвель. — Так что мы не можем знать наверняка, что он действовал по наущению Болейнов.

Герцог фыркает:

— Им было зачем его убрать. Марии стоит поостеречься.

— Согласен, — говорит он. — Хотя не думаю, что для нее главная опасность — яд.

— А что же? — спрашивает Суррей.

— Дурные советы, милорд.

— Считаете, лучше бы она слушала вас, Кромвель? — Юный Суррей откладывает вилку и начинает жаловаться. Знать, сетует он, теперь не в таком почете, как прежде, когда Англия была великой. Нынешний король приблизил к себе простолюдинов, отсюда все и беды. Кранмер сдвигается на краешек стула, словно хочет возразить, но Суррей смотрит ему прямо в глаза, словно говоря: да, архиепископ, это именно про вас.

Он кивает слуге, чтобы тот долил юноше вина — кубок уже снова пуст.

— Вы не приноравливаете свои речи к тем, кто вас слушает, сэр.

— А с чего бы мне их приноравливать?

— Томас Уайетт рассказывал, что вы учитесь писать стихи. Я провел молодость в Италии, так что люблю поэзию. Если сделаете мне милость, я бы с удовольствием прочел ваши сонеты.

— Не сомневаюсь, — говорит Суррей, — но я показываю их только друзьям.

Дома его встречает сын.

— Слышали, отец, про королеву? Она встала с постели и, говорят, такое вытворяет. Говорят, она жарила у себя в опочивальне орехи, трясла их на сковородке, чтобы приготовить отравленные конфеты для леди Марии.

— Сама трясла сковородку? Ну вот это уже выдумки, — улыбается он. — На это есть слуги. Уэстон. Мальчишка Марк.

Грегори упрямо стоит на своем:

— Она сама. Жарила. Король вошел и нахмурился, потому что он ей не доверяет, а тут она делает что-то странное. Чем это вы таким заняты, спросил он, и Анна-королева ответила: о, сир, я готовлю конфеты, хочу одарить бедных женщин,

которые стоят у ворот и благословляют мое имя. Король сказал: вот как, милая? Ну тогда Бог тебе в помощь. Так она и обвела его вокруг пальца.

— А когда это произошло, Грегори? Видишь ли, Анна в Гринвиче, а король — в Уайтхолле.

— Не важно, — весело объявляет Грегори. — Во Франции ведьмы умеют летать, вместе с орехами и сковородками. Там она этому и научилась. По правде сказать, все Болейны занимаются ворожбой, чтобы наворожить ей мальчика, ибо король боится, что уже не сможет.

Его улыбка становится натянутой:

— Не сболтни такого при слугах.

Грегори смеется:

— Поздно. Слуги сболтнули это при мне.

Он вспоминает, как года два назад слышал от леди Рочфорд: «Королева хвалится, что угостит Екатеринину дочку таким завтраком, что та уже не встанет».

Утром пел, к полудню помер. Так говорили про потовую лихорадку, убившую его жену и дочерей. Неестественная смерть, когда она случается, обычно еще быстрее. Раз — и нет человека.

— Я иду к себе в кабинет, — говорит он. — Мне надо поработать. Не позволяй меня отвлекать. Ричарду, если он спросит, можно зайти.

— А мне можно зайти? Например, если дом загорится, вам об этом доложить?

— Пришли кого-нибудь другого. С какой стати я тебе поверю? — Он хлопает сына по плечу, торопливо уходит в свой кабинет и закрывает дверь.

* * *

Встреча с Норфолком, если смотреть поверхностно, закончилась ничем. Но. Он берет лист бумаги. Пишет наверху:

ТОМАС БОЛЕЙН

Отец интересующей нас дамы. Все еще статный и гибкий; горд своей внешностью и наряжаться любит почти как его сын Джордж; изводит лондонских ювелиров, а потом крутит на пальцах перстни, якобы полученные в подарок от чужеземных владык. Долгие годы служил дипломатом; его умение сглаживать любые углы — незаменимое качество для посла. Не склонен вмешиваться в события, предпочитает наблюдать, поглаживая бороду и посмеиваясь; думает, будто выглядит загадочным, а на самом деле видно, что он забавляется.

И все же он сумел ухватить удачу за хвост, и

теперь его семья лезет вверх, вверх, вверх, на самые высокие ветки дерева. А там холодно и дует ветер — пронизывающий ветер тысяча пятьсот тридцать шестого года.

Как мы знаем, Томас Болейн счел, что граф Уилтширский — недостаточно солидно для королевского тестя, так что выдумал себе французский титул: «монсеньор». Придворным известно, что он требует именно этого обращения; по тому, исполняют они требование или нет, многое можно сказать об их взглядах.

Он пишет:

Монсеньор. Все Болейны. Их женщины. Их капелланы. Их слуги.

Все прихлебатели Болейнов в королевских покоях, то есть:

Генри Норрис

Фрэнсис Уэстон

Уильям Брертон и проч.

Но просто «Уилтшир», скороговоркой:

Герцог Норфолк.

Сэр Николас Кэрью (шталмейстер), кузен Эдварда Сеймура. Кстати, брат его жены:

Сэр Фрэнсис Брайан, родственник Болейнов, но и Сеймуров тоже. Его друг:

Господин казначей Уильям Фицуильям.

Он смотрит на список, добавляет двух вельмож:

Маркиз Эксетерский, Генри Куртенэ.

Генри Пол, лорд Монтегю.

Члены древнейших фамилий, исстари правивших Англией; наглость Болейнов ранит их сильнее, чем любого из нас.

Он скатывает бумагу в трубку. Норфолк, Кэрью, Фиц. Фрэнсис Брайан. Куртенэ, Монтегю и иже с ними. И Суффолк, который ненавидит Анну. Просто список имен, из которого много не извлечешь. Эти люди не обязательно дружны между собой, просто все в той или иной мере поддерживают старый порядок и ненавидят Болейнов. Никто не любит Болейнов, кроме них самих. Дело не только в том, что Болейны возвысились за счет других, но и в том, что они отодвинули всех бесцеремонно, презирая любого, кто не принадлежит к их своре. Болейны ущемляли противников в законных правах, оскорбляли чувства старой аристократии. Они брали людей, использовали и выкидывали на свалку. За недолгое время они восстановили против себя половину двора: половину двора и почти всю Англию.

Он закрывает глаза. Дышит глубоко и ровно. Перед его мысленным взором возникает картина. Большое и величественное помещение. И он приказывает накрыть там стол.

Слуги устанавливают козлы.

Водружают сверху столешницу.

Ливрейные челядинцы расстилают скатерть, одергивают ее, разглаживают; как на королевском столе, ее благословляют — служители шепчут латинские молитвы, отходят на шаг, смотрят, ровно ли, подтягивают углы.

Стол готов. Теперь позаботимся о местах для гостей.

Слуги со скрежетом волокут по полу тяжелое кресло, на спинке вырезан герб Говардов. Это для герцога Норфолка. Тот опускается в кресло костлявым задом, спрашивает:

— Итак, Сухарь, чем вы решили меня побаловать?

Внесите еще кресло, приказывает он слугам, поставьте по правую руку от герцога Норфолкского.

Это седалище для Генри Куртенэ, маркиза Эксетерского. Тот говорит:

— Кромвель, моя супруга желает присутствовать!

— Безмерно рад вас видеть, леди Гертруда. — Он отвешивает поклон. — Усаживайтесь.

До сего дня он всячески сторонился этой склочной особы, однако сейчас делает любезную мину:

— За этим столом есть место для всех, кто любит леди Марию.

— Принцессу Марию! — резко поправляет Гертруда Куртенэ.

— Как вам угодно, миледи, — вздыхает он.

— А вот и Генри Пол! — восклицает Норфолк. — Он не оставит мне ни кусочка, все съест сам!

— Еды хватит на всех, — говорит он. — Кресло лорду Монтегю! Такое, какое приличествует лицу королевской крови!

— Мы называем его троном, — говорит Монтегю. — Кстати, тут моя матушка.

Леди Маргарет Пол, графиня Солсбери. Законная королева Англии, по мнению некоторых. Генрих мудро обошелся с ней и с ее семьей. Приблизил их к себе, обласкал, осыпал почестями. Бесполезно: они по-прежнему считают Тюдоров самозванцами, хотя графиня и привязана к Марии, которую воспитывала с младенчества; чтит ее больше матери, королевы Екатерины, и отца, которого называет отродьем валлийских

скотокрадов.

Сейчас, в его воображении, графиня, хрустя суставами, усаживается в кресло. Смотрит по сторонам и замечает недовольно:

— Ну и хоромы у вас, Кромвель.

— Вознаграждение порока, — говорит ее сын Монтегю.

Он вновь кланяется. Сейчас он проглотит любое оскорбление.

— И где же мое первое блюдо? — вопрошает Норфолк.

— Терпение, милорд. — Он, Кромвель, садится на простой трехногий табурет в дальнем конце стола и поднимает смиренный взгляд на тех, кто несравненно выше его по рождению и титулам. — Сейчас внесут кушанья. А пока, быть может, начнем с молитвы.

Он смотрит на стропила. На них — резные раскрашенные лица покойников: Мора, Фишера, кардинала, королевы Екатерины. Под ними — живой цвет Англии. Будем надеяться, что потолок не рухнет.

* * *

На следующий день после того, как он, Кромвель, предавался этим играм ума, у него возника-

ет желание прояснить свою позицию в реальном мире и расширить список гостей. В его фантазии до трапезы так и не дошло, так что он не знает, какие кушанья подаст. Надо приготовить что-нибудь достойное, не то высокородные дамы и господа вскочат из-за стола, сдернут скатерть и разгонят пинками его слуг.

Итак, Сеймуры. Он приходит на встречу без свидетелей и говорит без обиняков:

— Пока король держится нынешней королевы, я тоже буду держаться ее. Но если король от нее отвернется, отвернусь и я.

— Так у вас нет в этом деле собственных интересов? — скептически осведомляется Эдвард Сеймур.

— Я представляю интересы короля. Для того и назначен.

Эдвард знает, что больше из него не вытянет.

— И все же… — продолжает он.

Анна скоро оправится после выкидыша и вновь сможет исполнять супружеские обязанности, но ясно, что мысль об этом не угасила королевского внимания к Джейн. Надо решить, как использовать ее в этой новой игре. У Сеймуров глаза вспыхивают азартом. Поскольку Анна опять не сумела родить сына, не исключено, что король

захочет жениться на другой. Весь двор об этом говорит. Именно успех Анны Болейн подсказывает такую возможность.

— На вашем месте я бы не питал чрезмерных надежд, — говорит он. — Генрих ссорится с Анной и снова мирится — и тогда готов пожертвовать для нее всем. Так у них с самого начала.

Том Сеймур говорит:

— Кому нужна жилистая старая курица, когда есть сочная жирненькая цыпочка? На что она годна?

— На бульон, — говорит он тихо, чтобы Том не услышал.

Сеймуры в трауре, хоть и не по Екатерине. Скончался Антони Отред, губернатор Джерси, и сестра Джейн Элизабет теперь вдова.

Том Сеймур говорит:

— Если король сделает Джейн своей любовницей, мы сможем выдать Бесс за кого-нибудь из первых людей королевства.

Эдвард отвечает:

— Не опережай события, братец.

Бойкая молодая вдова прибыла ко двору — помогать родным в их кампании. Он думал, они называют ее Лиззи, но, судя по всему, Лиззи она была для мужа, а для братьев — Бесс. Он рад, хоть

это и глупо: кто сказал, что другим женщинам нельзя носить имя его жены? Бесс не великая красавица и смуглее сестры, но в ней есть живость, которая притягивает взгляд.

— Не сердитесь на Джейн, господин секретарь, — говорит Бесс. — Она вовсе не заносчивая, как некоторые думают. Они думают, она молчит из гордости, а она просто не знает, что сказать.

— Но со мной она говорить будет.

— Она будет слушать.

— Привлекательное качество в женщине.

— Привлекательное качество в любом человеке, разве нет? Впрочем, Джейн чаще других ждет от мужчин, что те расскажут ей, как поступить.

— И поступает, как сказано?

— Не всегда, — со смехом отвечает Бесс и легко касается пальцами его руки. — Идемте. Она готова с вами поговорить.

Казалось бы, под солнцем королевского обожания любая девушка расцветет. Любая, только не Джейн Сеймур. Впечатление такое, будто ее траур еще чернее, чем у братьев и сестры, и она обмолвилась, что молится за душу новопреставленной Екатерины, хотя, конечно, в этом нет никакой нужды, потому что уж если кто и попал прямиком в рай…

— Джейн, — говорит Эдвард Сеймур, — выслушай меня внимательно и сделай, как я скажу. В присутствии короля веди себя так, будто никакой Екатерины никогда не было. Если он услышит ее имя из твоих уст, то сразу тебя разлюбит.

— Послушай, — говорит Том Сеймур, — Кромвель хочет знать: действительно ли ты вполне и совершенно девственна?

Тут самому впору покраснеть от стыда. Он говорит:

— Если нет, мистрис Джейн, есть средства исправить дело. Но вы должны сказать нам сейчас.

Нездешний, отрешенный взгляд.

— Сказать что?

Том Сеймур:

— Джейн, даже ты должна понимать, о чем тебя спрашивают.

— Верно ли, что никто не просил вас стать его женой? Что не было никаких контрактов или обязательств? — Он чувствует себя беспомощным. — Вам никто никогда не нравился, Джейн?

— Мне нравился Уильям Дормер. Но он женился на Мэри Сидни. — Джейн на миг поднимает льдисто-голубые глаза. — Я слышала, они очень несчастливы.

— Дормеры сочли, что мы недостаточно для них

хороши, — говорит Том. — Теперь локти кусают.

Он говорит:

— Весьма похвально, Джейн, что вы никому не отдали свое сердце до помолвки, одобренной семьей. Потому что с девушками такое бывает часто, и заканчивается это плохо. — Он чувствует, что надо пояснить свои слова. — Мужчины часто говорят, что умирают от любви к вам. Что не могут ни есть, ни пить. Что умрут, если вы не ответите на их любовь. А когда вы уступаете, они вас бросают. Через неделю они пройдут мимо, будто с вами незнакомы.

— Вы так поступали, господин секретарь? — спрашивает Джейн.

Он в растерянности.

— Давайте, давайте, — говорит Том Сеймур. — Мы все хотим знать.

— Возможно. В юности. Я рассказываю на случай, если вашим братьям трудно завести с вами подобный разговор. Не каждый брат сознается в таком сестре.

— Так что видишь, — говорит Эдвард, — ты не должна уступать королю.

Джейн говорит:

— А зачем мне ему уступать?

— Его льстивые речи… — начинает Эдвард.

— Его что?

Императорский посол затворился дома и не хочет видеть Томаса Кромвеля. В Питерборо на похороны не поехал, потому что Екатерину отказались хоронить как королеву, а теперь, видите ли, соблюдает траур, поэтому в гости ходить не может. Наконец удалось договориться о встрече: посол возвращается от обедни в церкви Остин-фрайарз, а Кромвель, живущий сейчас в здании судебных архивов, как раз в это время приехал глянуть, как достраивают его дом. «Посол!» — кричит он изумленно, как будто решительно не ожидал.

Кирпичи, которые будут класть сегодня, обожгли летом, когда король еще путешествовал по западным графствам, глину для них выкопали прошлой зимой, ледяную корку разбивали, когда он, Кромвель, добивался признаний от Томаса Мора. В ожидании Шапюи он терзал старшего каменщика вопросами о том, не будет ли кирпич пропускать воду, а теперь крепко берет посла за локоть и уводит от козел, на которых пилят бревна, подальше от шума и пыли. Эсташа так и распирают вопросы: они нетерпеливо подпрыгивают в мышцах, гудят в складках одежды.

— Эта Симор…

День темный, морозный, безветренный.

— В такую погоду хорошо ловить щук, — говорит он.

Посол силится скрыть брезгливую гримасу.

— У вас есть слуги… Если вам нужна рыба…

— Ах, Эсташ, вижу, вы не понимаете прелесть рыбной ловли. Не горюйте, я вас научу. Что лучше для здоровья, чем с рассвета до темноты, час за часом сидеть на берегу, под раскидистыми ветвями, и смотреть на свое морозное дыхание, в одиночестве или с добрым товарищем?

Множество мыслей проносится у Эсташа в голове. С одной стороны, час за часом в обществе Кромвеля, когда тот может потерять бдительность и что-нибудь сболтнуть. С другой стороны, какая от меня будет польза императору, если я окончательно застужу колени и буду передвигаться на носилках?

— Может быть, порыбачим летом? — с надеждой спрашивает посол.

— Я не стану рисковать вашей жизнью. Летняя щука утянет вас под воду. — Он сдается. — Дама, о которой вы спросили, зовется Сеймур. «Сей» — как в «сей же час, господин посол», и «мур», как мурлычет кошка. Хотя некоторые старики произносят «Симор».

— Не дается мне ваш язык, — сетует посол. — Каждый произносит свое имя как вздумается, сегодня так, завтра иначе. Я слышал еще, что семья древняя, а дама не совсем юна.

— Она служила вдовствующей принцессе и была к ней очень привязана. Горячо сочувствовала ей. Любит леди Марию и, по слухам, писала ей ободряющие письма. Если король будет и дальше к ней благоволить, она сможет немало Марии помочь.

— Ммм. — Посол не спешит поверить. — Я слышал все это, а также что она весьма скромна и благочестива. Однако я боюсь, что под медом таится скорпион. Мне хотелось бы глянуть на мистрис Симор, вы можете это устроить? Не встречу, просто глянуть одним глазком.

— Меня удивляет ваша заинтересованность. Я думал, вас больше волнует, на какой из французских принцесс женится Генрих, если расторгнет нынешний брак.

Теперь посол растянут на дыбе страха. Лучше уж известный дьявол, чем неизвестный? Лучше Анна Болейн, чем новая угроза, новый союз между Англией и Францией?

— Вы уверяли, что это сказки, Кремюэль! Говорили, что ищете дружбы моего господина и не

поддержите этот брак!

— Успокойтесь, Эсташ, успокойтесь. Я не утверждаю, что могу руководить Генрихом. Возможно, он еще решит сохранить нынешний брак или вовсе жить по-монашески.

— Вы смеетесь! — негодует посол. — Кремюэль! Вы же надо мной потешаетесь!

Так и есть. Строители обходят их, вежливо сторонятся — грубые лондонские ремесленники с орудиями за поясом.

— Каюсь, — говорит он. — Не теряйте надежды. Когда король и его женщина очередной раз мирятся, не дай Бог кому-нибудь говорить о ней дурно.

— Вы будете ее поддерживать? Защищать? — Посол напрягся всем телом, будто правда сидел с утра на берегу и задубел от холода. — Пусть она вашей веры…

— Что? — Он распахивает глаза. — Моей веры? Я, как и мой государь, верный сын католической церкви. Просто мы сейчас разорвали общение с Папой.

— Давайте я скажу иначе. — Шапюи щурится на серое лондонское небо, будто ждет помощи свыше. — Вас с ней связывает материальное, не духовное. Мне известно, что она дала вам долж-

ности и богатство.

— Вы ошибаетесь. Я ничем Анне не обязан. Должности и богатство мне дал король и больше никто.

— Помню, вы называли ее своим дражайшим другом.

— Я и вас называл своим дражайшим другом, но ведь вы мне не друг, верно?

Шапюи переваривает услышанное.

— Я бы ничего так не желал, как дружбы между нашими странами. Наивысшее достижение для посла — мир после долгой ссоры. И теперь для этого есть возможность.

— Теперь, когда Екатерина умерла.

Посол не возражает, лишь плотнее кутается в плащ.

— Конкубина не принесла королю ничего хорошего. И не принесет. Ни одна европейская держава не признала этот брак законным. Даже еретики не признают, сколько бы она их ни умасливала. Что пользы вам сохранять нынешнее положение дел: король страдает, парламент неспокоен, знать считает обиды, и вся страна возмущена поведением этой женщины…

Начинает падать дождь — редкие холодные капли. Шапюи с досадой смотрит на небо, словно

Бог подвел его в такую важную минуту. Он, Кромвель, вновь берет посла за локоть и уводит из-под дождя. Работники соорудили навес, он их выгоняет: «Уступите нам место, ребята». Шапюи, грея руки над жаровней, пускается в откровенность. Шепчет доверительно:

— Ходят слухи, что король подозревает колдовство. Она-де приворожила его чародейскими снадобьями. Вижу, вам он такого не говорил, но я знаю, что говорил духовнику. Если так, если он женился в помрачении ума, под действием чар, то брак недействителен и можно играть свадьбу с другой.

Он смотрит через плечо посла и говорит: гляньте, через год здесь вместо сырых и холодных клетей будут жилые комнаты. Рисует рукой линию верхнего этажа с мезонинами, застекленные эркеры.

Опись необходимого: известь и песок, дубовый брус и особый раствор для кладки, лопаты и мастерки, корзины и веревки, блоки, костыли и гвозди, свинцовые трубы; плитка желтая и синяя, оконные засовы, петли, задвижки, железные дверные ручки в форме роз, золочение, роспись, два фунта ладана, чтобы окурить новые комнаты и создать в них приятный запах, шесть пенсов

в день работникам, свечи, чтобы трудиться по ночам.

— Друг мой, — говорит Шапюи, — Анна не остановится ни перед чем. Нанесите удар первым, пока не поздно. Вспомните, как она сгубила Вулси.

Прошлое лежит перед ним, как сгоревший дом. Он возводил и возводил стены, но потребовались годы, чтобы расчистить пепелище.

* * *

В здании судебных архивов он отыскивает сына, который складывает вещи, чтобы вновь перебраться к Фицуильяму.

— Грегори, ты помнишь святую Уникумберу? Ты говорил, женщины молятся ей, когда хотят избавиться от никчемных мужей. А есть ли святой, которому может помолиться мужчина, которому надоела жена?

— Вряд ли. — Грегори поверить не может, что отец задал такой глупый вопрос. — Женщины молятся, потому что у них нет других средств. Мужчина может спросить у священников и юристов, почему его брак недействителен. А может прогнать жену и дать ей денег, чтобы жила отдельно. Как герцог Норфолкский поступил со

своей женой.

Он кивает:

— Спасибо, Грегори, ты мне очень помог.

Анна Болейн приезжает в Уайтхолл — отпраздновать День святого Матфия вместе с королем. За одну зиму она совершенно переменилась — исхудала и теперь похожа на себя прежнюю, в годы томительного ожидания до того, как он, Томас Кромвель, пришел на помощь и разрубил узел. Живая веселость поблекла, уступила место чему-то суровому, почти монашескому, вот только монашеского спокойствия у Анны нет. Она теребит драгоценности на шее, одергивает рукава.

Леди Рочфорд сообщает:

— Она думала, что, став королевой, будет вспоминать дни коронации, час за часом, снова и снова, а теперь говорит, что забыла их. Ей кажется, будто это происходило с кем-то другим, а ее там не было. Мне она не рассказывала, конечно. Рассказывала брату Джорджу.

Из королевиных покоев расходится известие: пророчица сказала Анне, что та не родит Генриху сына, пока жива его дочь Мария.

Надо признать, она не сдается, говорит он своему племяннику Ричарду. Она как змея, не знаешь, когда ужалит.

Он всегда высоко оценивал Анну как стратега, не верил в ее порывистость и непредсказуемость. У нее каждый шаг просчитан — как и у него. Быстрые взгляды из-под ресниц — по-прежнему главное ее орудие. Интересно, думает он, чем она так напугана?

Король поет:

Со мною все, что смел желать,
Бесценнейшее – под рукой:
Не надо долго умолять,
Ту, что повелевает мной[10].

Самообольщение. Генрих может умолять и умолять, но Джейн останется неколебима.

Однако государственные дела не стоят. На очереди: акт, который даст Уэльсу места в парламенте, сделает английский языком судопроизводства и отнимет власть у лордов Валлийской марки{7}. Акт о роспуске малых монастырей с совокупным доходом меньше двухсот фунтов в год. Акт об

---

[10] Примечания: 10

Сэр Томас Уайетт «Ода влюбленного, счастливого исполнением своей любви».

{7} Примечания: 24

Валлийская марка — традиционное название областей на границе Уэльса и Англии. Лорды Валлийской марки сохраняли свое фактически независимое положение до 1535 года.

учреждении Суда приобретений ведомства королевских доходов, нового органа, который будет управлять собственностью этих монастырей. Его канцлером станет Ричард Рич.

В марте парламент отклоняет его новый закон о бедных. Палата общин не может пока переварить мысль, что у богачей есть обязательства перед бедняками, что если ты жиреешь на торговле шерстью, то должен позаботиться о тех, кого согнал с земли — сеятелях без поля, пахарях без пашни. Англии нужны дороги, крепости, гавани, мосты. Людям нужна работа. Больно видеть, как они просят подаяние, когда их труд мог бы укреплять государство. Неужто нельзя свести их вместе — потребности страны и руки ее жителей?

Однако парламент не видит, что дать людям кусок хлеба — обязанность государства. Разве не на все воля Господня, разве нищета и убожество — не часть Его предвечного порядка? Всему свое время: время голодать и время благоденствовать. Если дождь идет шесть месяцев кряду и урожай гниет на корню, это Божий промысел, а Бог свое дело знает. Богатых и предприимчивых оскорбляет мысль, что они должны платить подоходный налог, дабы кормить лодырей. А если господин секретарь считает, что голод порождает преступ-

ность, так у нас вроде нет недостатка в палачах.

Сам король приезжает в парламент защищать закон. Он хочет быть Генрихом Благословенным, отцом народа, добрым пастырем своих овец. Однако члены палаты сидят с каменными лицами. Итог — полный провал. «Все закончилось законом о порке попрошаек, — говорит Ричард Рич. — Акт не столько в пользу бедных, сколько против них».

— Может быть, внесем его еще раз, — говорит Генрих. — В более удачный год. Не отчаивайтесь, господин секретарь.

Так у нас будут более удачные годы? Он не сдастся: подсунет закон, когда этого меньше всего ждут, начнет со слушаний в палате лордов… есть много способов одолеть парламент, но временами ему хочется разогнать депутатов по графствам: без них он справился бы скорее. Он говорит:

— На месте короля я бы это так не оставил. Я бы задал им страху.

Ричард Рич — спикер нынешнего парламента — говорит нервно:

— Не распаляйте королевский гнев. Помните, как говорил Мор: «Если лев узнает свою силу, его трудно будет обуздать».

— Спасибо, сэр Кошель. Вы чрезвычайно утешили меня текстом из могилы этого кровавого лицемера. Он что-нибудь еще сказал по интересующему нас поводу? Потому что если да, я заберу его голову у дочери и буду пинать по Уайтхоллу, пока не умолкнет окончательно. — Он хохочет. — Палата общин. Черти бы их драли, депутатов. Пустые головы. Думают только о собственной мошне.

Пусть депутаты тревожатся за свои доходы — он вполне уверен в собственном преуспеянии. Хотя мелкие монастыри подлежат роспуску, они могут ходатайствовать об исключении. Все эти ходатайства попадают к нему, и к каждому прилагаются деньги или пенсион. Король не оставляет конфискованные земли себе, а продает в долгосрочную аренду, так что он, Кромвель, завален просьбами на то или иное поместье, усадьбу, ферму, выгон; каждый проситель благодарит за услугу небольшой единовременной суммой или рентой — рентой, которая со временем перейдет Грегори. Так всегда делалось: не подмажешь, не поедешь, просто сейчас все больше таких дел, больше подношений, от которых вежливость не позволяет отказаться. Никто в Англии не трудится больше его. Что бы ни говорили о Томасе

Кромвеле, если он берет взятку, то помогает. И всегда готов дать в долг: Уильяму Фицуильяму, сэру Николасу Кэрью, потасканному одноглазому мерзавцу Фрэнсису Брайану.

Он приглашает сэра Фрэнсиса в себе и напаивает допьяна. Сам он в молодости учился пить с немцами и не боится чересчур захмелеть. Год назад Фрэнсис Брайан крепко повздорил с Джорджем Болейном — из-за чего, сейчас толком не помнит, но обида осталась. Пока Фрэнсиса еще держат ноги, он то и дело вскакивает из-за стола и, размахивая руками, в лицах разыгрывает наиболее яркие моменты ссоры. О своей кузине Анне говорит:

— Про женщину всегда хочешь знать, дама она или потаскуха? Анна хочет, чтобы ей поклонялись, как Деве Марии, но при этом чтобы клали деньги на стол, получали свое и проваливали.

Сэр Фрэнсис, как все записные грешники, временами истово набожен. На пороге Великий пост.

— У вас ведь грядет весенний приступ покаяния?

Фрэнсис сдвигает повязку, трет пустую глазницу, объясняет, что шрам чешется.

— Разумеется, Уайетт с ней спал.

Он, Томас Кромвель, ждет.

Но тут Фрэнсис роняет голову на стол и начинает храпеть.

— Наместник сатаны, — задумчиво произносит Кромвель и зовет слуг: — Отнесите сэра Фрэнсиса домой. Только закутайте потеплее: возможно, нам в будущем понадобятся его показания.

Интересно, сколько оставляют Анне на столе? Генриху она стоила доброго имени и душевного покоя. В глазах Кромвеля она просто купчиха, не хуже любой другой. Ему нравится, как она раскладывает товар. Сам он покупать не собирается, но желающих и без него вдоволь.

* * *

Эдвард Сеймур включен в число камергеров — знак величайшего расположения. Король говорит:

— Думаю, я мог бы взять Рейфа Сэдлера камердинером. Он джентльмен по рождению, приятный юноша, да и вам, Кромвель, это будет на руку, не так ли? Одно условие — чтобы он не совал мне под нос бумаги.

Жена Рейфа Хелен, услышав новость, заливается слезами.

— Он будет неделями пропадать при дворе! —

всхлипывает она.

Он сидит с ней в гостиной Рейфова дома, пытается утешить чем может.

— Я понимаю, что для Рейфа это огромная честь, и глупо мне плакать, — говорит она. — Только мне страшно думать о расставании. Когда он запаздывает, я высылаю слуг на дорогу его встречать. Мне бы хотелось быть с ним под одной крышей каждую ночь до конца дней.

— Рейф — счастливец, — говорит он. — Я не о королевской милости, а о том, что вы оба — счастливцы. Что так друг друга любите.

В пору своего брака с Екатериной Генрих распевал:

Я законы храню, обид не чиню,
Верен супруге своей одной[11].

Рейф говорит:

— Чтобы все время находиться при Генрихе, нужны крепкие нервы.

— У тебя крепкие нервы, Рейф.

Он может дать полезные советы. Выдержки из «Книги под названием Генрих». Ребенком и юношей будущего короля постоянно превозносили за

---

[11] Примечания: 11
Пер. А. Петровой.

пригожесть и мягкий нрав, так что Генрих вырос в убеждении, что весь мир состоит из друзей и желает ему счастья. Всякая боль, всякая помеха или неудача воспринимаются им как нечто возмутительное, недолжное. Любое утомительное или неприятное дело он старается превратить в забаву, а если не получается, то всячески увиливает от этого дела. Есть советники, которые должны за него думать, и если он не в духе, виноваты они: зачем перечили?.. зачем разозлили? Король не желает слышать: «Нет, но…» — только: «Да, и…» Не любит унылых скептиков, тех, кто кривит рот и просчитывает стоимость его блестящих проектов на полях документов. Так что считай в уме, где никто не увидит твоих выкладок. Не жди от Генриха постоянства. Он уверен, что видит насквозь все тайные помыслы советников, но для них хочет оставаться непредсказуемым. Доверяет лишь тем планам, которые придумал сам (или думает, что сам). Спорить с ним можно, надо только знать, когда и как. Уступай во всем, кроме главного, держись так, будто просишь совета и наставления, не давай оснований заподозрить, что считаешь себя более сведущим. В доводах будь осторожен: не загоняй его в угол, не припирай к стене. Помни, что королевские

настроения зависят от других людей: учитывай, с кем он говорил после вашей прошлой встречи. Генрих ждет не советов, а подтверждений собственной правоты. Он никогда не ошибается. Ошибаются другие, неверно исполняя его волю или снабжая его ложными сведениями. Король хочет слышать, что все его поступки угодны Богу и людям. Он говорит: «Кромвель, вот что нам надо сделать. Кромвель, я ведь приумножу свою славу, если… Кромвель, я ведь посрамлю врагов, если…» И все это мысли, которые ты изложил ему неделей раньше. Невелика печаль! Лишь бы дело двигалось.

Однако в этих поучениях нет нужды. Рейф всей своей жизнью подготовлен к нынешней службе. Щуплый, маленький, он с детства избегал рыцарских турнирных забав; сильный порыв ветра сдует его с лошади. Однако в делах мальчишка силен, как никто другой. Умеет наблюдать. Умеет слушать. Умеет передать послание зашифрованным или так завуалированным, будто никакого послания и нет: сведения основательные, словно их выложили из кирпича, в форме столь воздушной, точно их доставили ангелы. Рейф знает своего хозяина; Генрих его хозяин. Однако Кромвель его отец и друг.

С королем можно веселиться, можно шутить. Только, как говорил Томас Мор, это все равно что играть с прирученным львом. Тянешь за гриву, дергаешь за уши, но все время помнишь: когти, когти, когти.

Пост в новой церкви Генриха так же беспросветен и хмур, как при Папе. От несытого желудка и на душе кисло. Когда Генрих говорит про Джейн, то начинает моргать, в глазах стоят слезы.

— Ее ручки, Сухарь. Ее лапки, маленькие, как у ребенка. Она такая бесхитростная. И все время молчит. А если что-нибудь и скажет, то тихо-тихо — я должен наклоняться, чтобы разобрать слова. И стоит ей умолкнуть, я слышу свое сердце. Ее крохотные вышивки, ее шелковые лоскутки, ее узкие рукава цвета зимородкова крыла, которые она выкроила из ткани, подаренной каким-то обожателем, каким-то влюбленным бедолагой… и все же она непреклонна… Ее узкие рукава, ее ожерелье из мелких жемчужин… у нее ничего нет… она ничего не ждет.

Слеза наконец выкатывается из глаза, бежит по щеке, исчезает в рыжей с проседью бороде.

Обратите внимание, как король говорит о Джейн: такая робкая, такая стыдливая. Даже архиепископ Кранмер должен узнать портрет:

полная противоположность нынешней королеве. Ту не насытят все богатства Нового Света, Джейн благодарна и за улыбку.

Я напишу Джейн письмо, говорит Генрих. И приложу кошелек. Теперь, когда она больше не фрейлина королевы, ей нужны деньги.

Приносят бумагу и перья. Король садится, вздыхает, пишет: прямыми буквами, как научился в детстве от матери. Быстрое письмо ему не дается: чем больше усилий он прилагает, тем больше буквы между собой не в ладу. Даже смотреть жалко.

— Сир, не угодно ли вам будет продиктовать мне, а я запишу?

Ему не впервой писать за короля любовные письма. Кранмер смотрит на него поверх склоненной головы монарха; во взгляде осуждение.

— Гляньте, — говорит король (Кранмеру письмо не показывает). — Она ведь поймет, чего я от нее хочу?

Он читает, силясь поставить себя на место целомудренной девицы. Поднимает глаза.

— Вы чрезвычайно деликатно выразились, а она очень невинна.

Генрих забирает письмо, дописывает несколько фраз повыразительнее.

Конец марта. Перепуганная мистрис Сеймур просит беседы с королевским секретарем. Встречу устраивает сэр Николас Кэрью, хотя сам участия не принимает — осторожничает. Вместе с Джейн приходит ее вдовая сестра. Бесс бросает на него ясный испытующий взгляд, но тут же опускает глаза.

— Вот в чем мое затруднение, — говорит Джейн и умолкает. Смотрит на него в отчаянии. Он думает, может, она только это и хотела сказать: «Вот в чем мое затруднение».

Она говорит:

— Невозможно… С его величеством невозможно и на мгновение забыть, кто перед тобой, даже когда он сам требует. Чем дольше он твердит: «Джейн, я твой смиренный обожатель», тем меньше в нем смирения. И каждый миг думаешь: а вдруг он замолчит и мне надо будет что-нибудь сказать? Мне кажется, я стою на подушечке для булавок, все булавки остриями вверх. Я все время думаю, что привыкну, что следующий раз будет лучше, но как только он входит и начинает: «Джейн, Джейн», я чувствую себя ошпаренной кошкой. Хотя вы когда-нибудь видели ошпаренную кошку, господин секретарь? Я — нет. И вот я думаю, если сейчас мне с ним так страшно…

— Он любит, чтобы его боялись. — Вместе со словами приходит осознание их истинности, но Джейн его не слышит — слишком занята тем, что пытается сказать.

— Если мне сейчас так страшно, каково видеть его каждый день? — Джейн осекается. — Ой. Вы, наверное, знаете, господин секретарь. Вы с ним почти каждый день. И все равно, думаю, это другое.

— Другое, — соглашается он.

Бесс приходит на выручку сестре:

— И все равно, мастер Кромвель, не могут же это все время быть парламентские акты, и депеши послам, и доходы, и монахи, и Уэльс, и пираты, и козни изменников, и Библии, и присяги, и земли, и аренды, и цены на шерсть, и можно ли нам молиться за умерших. Беседуете же вы иногда на другие темы.

Он изумлен, как точно она перечислила пункты, будто знает про него все. Ему хочется схватить ее за руку и воскликнуть: «Бесс, выходите за меня замуж!» Как бы у них ни получилось в постели, у нее есть дар коротко формулировать суть, которого лишены почти все его помощники.

— Так как? — спрашивает Джейн. — Они есть? Другие темы?

Он не может думать. Мнет в руках шапочку. Силится припомнить.

— Лошади. Генрих интересуется простыми ремеслами. В молодости я мог подковать лошадь, он выспрашивал, как это делается, какие подковы лучше, чтобы при случае изумить своих кузнецов знанием их тайн. Или вот архиепископ. Может сесть на любую лошадь. Он вообще человек робкий, но к лошадям подход знает, научился управляться с ними в детстве. Когда он устает от Бога и людей, мы беседуем на эти темы с королем.

— А еще? — спрашивает Бесс. — Вы проводите с ним много часов.

— Собаки. Охотничьи псы, их достоинства и породы. Форты. Как их строить. Пушки. Какая у них дальность. Как их отливают. — Он проводит рукой по волосам. — Иногда мы говорим: надо бы выбрать денек, поехать в Кент, поговорить с тамошними литейщиками, посмотреть, как они работают, предложить им новые способы литья. Только все как-то не получается.

Ему вдруг становится нестерпимо грустно. И в то же время он чувствует, что если бы сейчас в комнату бросили перину (что маловероятно), он бы повалил на нее Бесс и взгромоздился сверху.

— Мы поняли, — обреченно говорит Джейн. — Я бы не смогла отлить пушку даже под угрозой смерти. Извините, что отняли у вас время, господин секретарь. Возвращайтесь в свой Уэльс.

Он понимает, что она хочет сказать.

На следующий день Джейн доставляют королевское письмо вместе с тяжелым кошельком. Все разыгрывается при достаточном числе свидетелей.

— Я должна вернуть кошелек, — говорит Джейн (но не прежде, чем любовно взвесила его в своей крохотной ручке). — Я должна просить короля, если он желает подарить мне деньги, прислать их снова, когда я буду состоять в законном супружестве.

Письмо, говорит Джейн, ей лучше не вскрывать: слишком хорошо она знает сердце короля, его пылкое и галантное сердце. У нее же самой есть единственное богатство: ее добродетель, ее девическая честь. Так что… нет, нет, она не смеет.

И тут, прежде чем вернуть письмо, она двумя руками подносит его к губам и оставляет на печати целомудренное лобзание.

— Поцеловала! — восклицает Том Сеймур. — Какой добрый дух ее надоумил? Сперва его печать,

затем, — он хмыкает, — его скипетр.

На радостях он сбивает с брата шляпу. Том проделывает это лет двадцать, а Эдвард ни разу не посмеялся шутке, однако сейчас даже он улыбается.

Когда посланец возвращает письмо королю, тот внимательно выслушивает рассказ и светлеет лицом.

— Теперь я понимаю, что не надо было его посылать. Кромвель говорил о невинности и добродетели мистрис Сеймур, как я теперь понимаю, справедливо. Впредь клянусь не делать ничего, что бы оскорбило ее честь, и даже говорить с ней буду только в присутствии родных.

Если жена Эдварда Сеймура приедет ко двору, можно будет устроить семейный ужин и пригласить короля без ущерба для стыдливости Джейн. Нельзя ли выделить Эдварду комнаты во дворце? Мои покои в Гринвиче, напоминает он Генриху, сообщаются с вашими — что, если я освобожу их для Сеймуров? Генрих радостно кивает.

После Вулфхолла он внимательно приглядывался к обоим братьям. С ними придется работать: Генрих находит себе невест не в чаще под кустом, за ними тянется семья. Эдвард серьезен и строг, но готов делиться с тобой своими мыс-

лями. Том скрытен. Скрытен и хитер. Держится весельчаком, а на самом деле — себе на уме, хоть и не так умен, как воображает. С Томом Сеймуром я справлюсь, решает он, а Эдварда смогу направлять. Мысленно он уже в будущем, когда король выскажет свою волю. Грегори и Шапюи подсказали путь. «Если он смог аннулировать двадцатилетний брак с законной женой, — заметил посол, — то уж вы как-нибудь отыщете предлог избавить его от конкубины. Этот брак с самого начала никто не признавал, кроме наемных льстецов».

Впрочем, «никто» — это еще как посмотреть. Никто при императорском дворе — возможно; однако вся Англия присягала этому браку. Нелегко будет отыграть назад, говорит он своему племяннику Ричарду, даже если король прикажет. Надо немного подождать, не будем делать первый шаг, пусть его сделают другие.

Он отдает распоряжение составить документ: перечень всего, что пожаловано Болейнам с 1524 года. «Полезно иметь под рукой на случай, если король спросит».

Он не собирается ничего отбирать. Напротив. Мы будем и дальше осыпать Болейнов почестями. Смеяться их шуткам.

Впрочем, смеяться надо осторожно. Мастер Секстон, королевский шут, как-то пошутил насчет Анны, назвал ее «бесстыжей», полагая, будто дураку все дозволено. Однако король дал Секстону такую затрещину, что тот отлетел к стене, и прогнал его от двора. Говорят, Николас Кэрью из жалости приютил бедолагу в своем доме.

Антони печалится из-за Секстона. Шуту больно слышать о том, как выгнали его собрата, особенно если, говорит Антони, тот виновен лишь в своей дальновидности. «Кухонных сплетен наслушался?» — спрашивает он, но дурак отвечает: «Генрих вышвырнул на улицу Правду и Секстона вместе с ней. Однако сегодня она вползает под запертую дверь и в каминную трубу. Когда-нибудь король уступит и пригласит ее в дом».

Уильям Фицуильям приходит к нему в здание судебных архивов, усаживается в кресло.

— Ну что, Сухарь, как там королева? Все так же вам благоволит, хотя вы и обедаете у Сеймуров?

Он улыбается.

Фиц вскакивает и рывком открывает дверь — проверить, не подслушивает ли кто, — затем вновь садится и продолжает:

— Вернитесь мыслями в прошлое. Ухаживание за Болейн, женитьба на Болейн. Каким выгля-

дел король в глазах зрелых мужей? Рабом своих прихотей. Иначе говоря — ребенком. Так подчиниться женщине, которая в конечном счете всего лишь женщина, как любая другая, — кое-кто говорил, что это не по-мужски.

— Вот как? Я потрясен. Непозволительно сомневаться в том, что король — мужчина.

— Мужчина, — с нажимом произносит Фицуильям, — должен управлять своими страстями. Король выказал много упорства, но мало мудрости. Это его губит. Она его губит. И будет губить дальше.

Фицуильям не говорит прямо: Анна Болена, Ла Ана, конкубина. Итак, если она губит короля, должны ли добрые англичане ее устранить? Намек повисает между ними в воздухе — пока только намек. Разумеется, высказываться против нынешней королевы или ее наследников — прямая измена. Это дозволено лишь королю, ибо тот не может действовать себе во вред. Он, Кромвель, напоминает Фицуильяму про закон. Говорит: даже когда сам Генрих ее злословит, не поддавайтесь.

— Но чего мы ждем от королевы? — спрашивает Фицуильям. — Она должна обладать всеми добродетелями обычных женщин, только в

большей мере: быть скромнее, осмотрительнее и послушнее их всех, дабы подавать пример остальным. Некоторые вопрошают себя: такова ли Анна Болейн?

Он смотрит на казначея: продолжайте, мол.

— Думаю, Кромвель, что могу быть с вами вполне откровенен, — изрекает Фиц и (еще раз проверив, нет ли кого-нибудь за дверью) начинает говорить вполне откровенно: — Королева должна быть жалостлива и незлобива — склонять короля к милосердию, а не подталкивать к жестокости.

— Вы имеете в виду какой-то конкретный случай?

Фиц в молодости служил у кардинала. Никто не знает, в какой мере гибель Вулси — дело рук Анны; она действовала скрытно. Однако Фиц про кардинала забыл.

— Я не оправдываю Томаса Мора. Он был не такой великий политик, каким себя мнил. Думал, что сможет направлять короля, считал того милым юношей-принцем, которого поведет за руку. Однако Генрих — король, а королю следует повиноваться.

— Да, и?

— И горько, что с Мором получилось так. Уче-

ного, бывшего лорда-канцлера, выволокли под дождь и обезглавили.

— Знаете, иногда я забываю, что его нет. Слышу какую-нибудь новость и думаю: что на это скажет Мор?

Фиц вскидывает голову.

— Вы ведь с ним не разговариваете?

Он смеется.

— Я не обращаюсь к нему за советом.

«Впрочем, я, конечно, прошу помощи у кардинала — наедине, в краткие часы сна».

Фиц говорит:

— Томас Мор окончательно настроил против себя Анну, когда не пришел на коронацию. Она бы уничтожила его на год раньше, если бы сумела доказать измену.

— Однако Мор был умный юрист. Помимо всего прочего.

— Принцесса Мария… леди Мария, я должен был сказать… не юрист. Слабая девушка, одна, без друзей.

— Думаю, император вполне может считаться ее другом, хоть и не бескорыстным. Очень полезно иметь столь влиятельного друга.

Фиц смотрит раздраженно.

— Император далеко. Жупел в чужой стране.

Ей нужен защитник ближе, кто-то, кто будет оберегать ее интересы каждую минуту. Бросьте выплясывать вокруг да около.

— Марии нужно одно — оставаться в живых. И меня нечасто обвиняют в том, что я выплясываю.

Фиц встает:

— Что ж. Хорошо. Умному можно не разъяснять.

Фицуильям уходит, затем возвращается.

— Если дочка Сеймура — следующая, то многие знатные семейства почтут себя обойденными, но, в конце концов, Сеймуры — древний род, и уж этого по крайней мере не будет. Я о мужчинах, которые бегают, как кобели за… хм… Стоит глянуть на крошку Сеймур и сразу понимаешь — ей никто юбку не задирал.

На сей раз Фицуильям уходит окончательно, но прежде, уже в дверях, шутливо отдает ему честь — делает изящный жест в направлении шляпы.

Приходит сэр Николас Кэрью: каждый волос в бороде заговорщицки топорщится. Так и ждешь, что рыцарь, садясь, многозначительно тебе подмигнет.

Однако, решившись говорить, Кэрью на удивление прям и краток:

— Мы хотим убрать конкубину. И знаем, что вы хотите того же.

— Мы?

Кэрью смотрит на него из-под кустистых бровей, словно арбалетчик, который выпустил свою единственную стрелу и теперь вынужден брести по лесу в поисках врага, друга или хотя бы места, где укрыться на ночь. Поясняет напыщенно:

— В данном случае за мной стоит почти вся английская знать, люди, чей древний род и… — Он замечает выражение собеседника и проглатывает конец фразы. — Я о тех, кто очень близок к трону, потомках короля Эдуарда. Это лорд Эксетер из семейства Куртенэ, а также лорд Монтегю и его брат Джеффри Пол. Леди Маргарет Пол, которая, как вы знаете, воспитывала принцессу Марию.

Он опускает глаза.

— Леди Марию.

— Для вас — возможно. Мы называем ее принцессой Марией.

Он кивает:

— Это не помешает нам о ней беседовать.

— Названные люди — лишь главные из тех, от чьего имени я выступаю, однако вот увидите — вся Англия будет ликовать, когда король избавится от этой женщины.

— Едва ли всей Англии вообще есть до нее дело. — Он понимает, что2 Кэрью имел в виду: вся моя Англия, Англия родовой аристократии. Другой страны для сэра Николаса просто не существует. — Полагаю, супруга Эксетера, леди Гертруда, деятельно в этом участвует.

— Она… — Кэрью, подавшись вперед, раскрывает страшную тайну, — состоит в переписке с принцессой Марией.

— Я знаю, — вздыхает он.

— Вы читаете ее письма?

— Я читаю все письма, — говорит он. (В том числе ваши.) — Однако это уже попахивает интригой против самого короля, вы не находите?

— Ни в коем случае. В первую очередь мы печемся о его чести.

Он кивает. Довод принят.

— Итак? Чего вы хотите от меня?

— Чтобы вы присоединились к нам. Мы согласны на коронацию маленькой Сеймур. Она моя родственница и, как говорят, благочестива. Мы надеемся, что она вернет Генриха в лоно римской церкви.

— Цель, близкая моему сердцу.

Сэр Николас снова подается вперед:

— В том-то и беда, Кромвель. Вы лютеранин.

Он прикладывает руку к груди:

— Нет, сэр. Я банкир. Лютер сулит ад всякому, кто дает деньги в рост. Неужто я буду на его стороне?

Сэр Николас хохочет:

— Не знал. Где бы мы все были без Кромвеля, который ссужает нас деньгами?

Он спрашивает:

— Что будет с Анной Болейн?

— Не знаю. Монастырь?

Итак, сделка заключена. Он, Кромвель, поддержит старую знать, верных чад Римско-католической церкви, и тем заслужит себе место при новом режиме; его грехи достойны суровой кары, но их можно искупить рвением.

— Только одно, Кромвель. — Кэрью встает. — Велите, чтобы следующий раз меня впустили сразу. Не дело, когда человек вашей породы заставляет человека моей породы топтаться в прихожей.

— А, так вот что это был за грохот? — Хотя Кэрью сейчас облачен в придворный атласный наряд, он, Кромвель, всегда видит его в латах: не боевых, а тех, что выписывают из Италии для фасону. Если топтаться в таком доспехе, лязга будет на всю округу. Он поднимает голову: — Простите

великодушно, сэр Николас. Отныне между нами все будет без промедления. Считайте меня своей правой рукой, снаряженной для боя.

Такую высокопарную трескотню сэр Николас поймет скорее, чем что-либо иное.

Дальше Фицуильям говорит с Кэрью, тот — с женой (она же — сестра Фрэнсиса Брайана). Леди Кэрью пишет Марии, чтобы та не отчаивалась: возможно, конкубину устранят. По крайней мере теперь Мария будет некоторое время сидеть тихо. Хуже всего будет, если она узнает о новых ухищрениях Анны и с испугу решит сбежать. Говорят, она напридумывала всяких нелепых планов, скажем, подсыпать своим надзирательницам сонного порошка и ускакать в ночь. Он предупредил Шапюи (разумеется, не напрямую), что если Мария сбежит, Генрих будет считать того виновником и в таком случае не посмотрит на дипломатический статус: в лучшем случае вышвырнет, как дурака Секстона, в худшем — вы больше не увидите родных берегов.

Фрэнсис Брайан доносит в Вулфхолл обо всем, что происходит при дворе. Фицуильям и Кэрью беседуют с маркизом Эксетерским и Гертрудой, его женой. Гертруда встречается за ужином с послом Священной Римской империи и семейством

Полов — закоренелыми папистами, которые все эти четыре года балансировали на грани измены. Никто не говорит с французским послом. Но все говорят с ним, Томасом Кромвелем.

Всех его собеседников занимает один и тот же вопрос: если король сумел развестись с первой женой, дочерью испанского королевского дома, неужто нельзя найти изъян в нынешних документах и сплавить дочку Болейнов куда-нибудь в глушь? Отставка Екатерины после двадцати лет супружества возмутила всю Европу; новый брак не признан нигде за пределами Англии, да и длится всего три года — его можно аннулировать как случайную ошибку. В конце концов, на такой случай у короля есть своя церковь и свой архиепископ.

Он, Кромвель, мысленно репетирует приглашение. «Сэр Николас? Сэр Уильям? Не соблаговолите ли отобедать в моем скромном жилище?»

На самом деле он не собирается их звать: королеве бы немедленно донесли. Довольно взгляда, кивка, движения бровей. Однако в своем воображении он вновь накрывает стол.

Норфолк во главе. Монтегю и его благочестивая матушка. Куртенэ и его чертовка-жена. Неслышно входит наш друг мсье Шапюи.

— Лопни моя селезенка! — досадует Норфолк. — Нам что теперь, разговаривать по-французски?

— Я буду переводить, — обещает он.

А это что за грохот? Вкатывается герцог Медный Таз.

— Добро пожаловать, милорд Суффолк. Усаживайтесь. Постарайтесь не набрать крошек в свою пышную бороду.

— Пока нам не подали даже крошек. — Герцог Норфолк голоден.

Маргарет Пол пронзает хозяина ледяным взглядом:

— Вы поставили стол. Рассадили нас. Но не подали салфеток.

— Мои извинения. — Он зовет слугу. — Вам не следует пачкать руки.

Маргарет Пол встряхивает салфетку. На полотне — лицо покойной Екатерины.

Со стороны буфетной долетает пьяное пение. Вваливается Фрэнсис Брайан, уже изрядно под хмельком. «В кругу друзей забавы…» С грохотом садится на стул.

Он, Кромвель, кивает слугам. Вносят еще табуреты.

— Ставьте потеснее, — говорит он.

Входят Фицуильям и Кэрью, садятся, не здоро-

ваясь. Они пришли готовые к пиру, с ножами в руках.

Он оглядывает гостей. Все в сборе. Звучит латинская молитва; он бы предпочел английскую, но надо угождать гостям. Те усиленно крестятся. Смотрят на него выжидательно.

Он зовет слуг. Двери распахиваются. Челядинцы водружают на стол тяжелые блюда. Мясо сырое, более того, животные еще не забиты.

Ничего страшного. Пусть гости еще немного посидят, глотая слюнки.

Болейны перед ним на блюде, готовые к закланию.

Теперь, поступив на службу в королевские покои, Рейф ближе знакомится с Марком Смитоном — тот нынче тоже камердинер. Когда-то Марк подошел к дверям кардинальского дома в залатанных башмаках и холщовом дублете с чужого плеча. Кардинал нарядил его в шерсть, а сегодня Марк щеголяет в атласе, да и лошадью обзавелся: сидит в седле из цветной кордовской кожи, держит поводья перчаткой с золотым аграмантом. Откуда деньги? Анна безумно щедра, говорит Рейф. Ходят слухи, что она дала Фрэнсису Уэстону средства откупиться от кредиторов.

Королеву можно понять, говорит Рейф, король

уже не так ею восхищается, вот она и окружила себя обожателями. Ее покои — как проходной двор, королевские джентльмены поминутно заглядывают с тем или иным поручением и остаются спеть песню или сыграть в игру; а если поручения нет, они его выдумывают.

Те джентльмены, которым государыня благоволит меньше, охотно делятся сплетнями с новичком, а многое и рассказывать не нужно: у Рейфа есть свои глаза и уши. Шепот и возня за дверью. Насмешки над королем. Его одеждой, его пением. Намеки на то, что в постели он слабоват. От кого могут идти такие слухи, если не от королевы?

Некоторые мужчины говорят только о лошадях. Мой конь выносливый, да жаль, небыстрый, славная у вас кобылка, но видели бы вы ту гнедую, которую я себе присмотрел. Для Генриха такой предмет — дамы; он находит привлекательные качества почти в любой и всегда может сказать комплимент даже последней старой карге. Молодые вызывают у него бесконечные восторги: ну разве не пленительные глазки? не очаровательная шейка? не мелодичный голосок? не прелестная ручка? Как правило, дальше видимого он не заходит, разве что может сказать,

чуть краснея: «У нее должны быть хорошенькие грудки, вы не находите?»

Однажды Рейф слышал, как Уэстон в соседней комнате передразнивал короля: «У нее самая мокрая щелка, какую вы когда-либо трогали, не находите?» Следом раздались смешки, затем: «Тсс! Тут рядом Кромвелев наушник».

Гарри Норрис последнее время живет у себя в поместье. Когда он при дворе, говорит Рейф, то старается прекращать такие разговоры, иногда очень сердится, но иногда не может сдержать улыбку. Джентльмены говорят о королеве и гадают…

Продолжай, Рейф, говорит он.

Рейф мнется. Не хочет быть наушником. Тщательно выбирает слова.

— Чтобы угодить королю, королева должна поскорее зачать ребенка, а как? Если Генрих не может исполнить супружеский долг, шутили они, кто из нас возьмется ему помочь?

— И к чему они пришли?

Рейф трет макушку, отчего волосы встают дыбом. Понимаете, они ведь на самом деле не посмеют. Ни один из них. Королева священна. Это страшный грех даже для таких распутников, и они боятся короля, сколько бы его ни высмеи-

вали. Да и королева не так глупа.

— Я спрашиваю еще раз: к чему они пришли?

— Наверное, к тому, что каждый за себя.

— Спасайся кто может, — смеется он.

Лучше бы показания Рейфа не пригодились. Он надеется убрать Анну Болейн без всей этой грязи. Глупые слова глупых людей. Однако ни ему, ни Рейфу их уже не забыть. Вот так-то.

Мартовская погода, апрельская погода, ледяные дожди, проблески солнца. Он снова встречается с Шапюи, на сей раз в доме.

— Что-то вы печальны, господин секретарь. Усаживайтесь у камина.

Он стряхивает со шляпы капли дождя.

— Невесело мне в последнее время.

— Знаете ли вы, я убежден, что вы приходите ко мне с единственной целью: позлить французского посла.

— О да, он страшно ревнует. По правде сказать, я бы охотно заглядывал к вам чаще, да только об этом сразу донесут королеве. А она мстительна.

— Я желаю вам более доброй госпожи.

Слова посла подразумевает вопрос: как движется дело с новой госпожой? Шапюи хочет знать: возможен ли союз между нашими государями? Нельзя ли вернуть Марию в число наследников,

разумеется, после детей, которые родятся у Генриха в новом браке? При условии, конечно, что не станет нынешней королевы.

— Ах, леди Мария… — В последнее время он взял за правило при ее упоминании подносить руку к шляпе и сейчас видит, что Шапюи тронут, готовится упомянуть это обстоятельство в депешах. — Король сказал, что не прочь вступить в официальные переговоры и был бы рад союзу с императором.

— Теперь вы можете поймать его на слове.

— Я имею определенное влияние на короля, но не могу за него ручаться. В том-то и беда. Чтобы угодить Генриху, надо предугадывать его мысли, а когда он меняет решение, оказываешься в дураках.

Вулси советовал: пусть он сам скажет, чего хочет, добивайся от него определенности, не гадай, потому что, гадая, можешь себя сгубить. Однако, быть может, со дней Вулси невысказанные пожелания короля труднее стало не замечать. Королевское недовольство ощущается с десяти шагов; подносишь ему бумагу на подпись, а он возводит очи горе, словно умоляет об избавлении.

— Вы боитесь немилости, — говорит Шапюи.

— Думаю, мне ее не миновать. Когда-нибудь.

Временами он лежит без сна и думает, как это будет. Иногда все заканчивается почетной отставкой. Можно припомнить случаи. Разумеется, бессонными ночами больше воображаешь другое.

— Но если такой день придет, что вы будете делать?

— Что я могу делать? Вооружусь терпением и возложу мои упования на Господа.

«И буду надеяться, что все закончится быстро».

— Ваша набожность делает вам честь, — говорит посол. — Если фортуна от вас отвернется, вам будут нужны друзья. Император…

— Император и не вспомнит обо мне, Эсташ. Как и о любом простом человеке. Никто не шевельнул пальцем в защиту кардинала.

— Бедный кардинал. Как жалко, что я не имел удовольствия его знать.

— Хватит ко мне подмасливаться, — резко говорит он. — Довольно!

Шапюи смотрит на него пристально. Огонь в камине ревет, от мокрой одежды поднимается пар. Дождь стучит в окна. Он, Кромвель, ежится.

— Вы заболели? — спрашивает Шапюи.

— Нет, мне не дозволено болеть. Если я лягу в

постель, королева велит мне вставать и скажет, что я притворяюсь. Если хотите меня подбодрить, наденьте ваш рождественский колпак. Жаль, что вы убрали его из-за траура. Жду не дождусь Пасхи, когда вновь его на вас увижу.

— Вы потешаетесь над моей шляпой, Томас. Мне говорили, пока она была у вас, ее высмеивали не только ваши писари, но даже псари и конюхи.

— Решительно наоборот. Все выпрашивали дозволения померить. Надеюсь, мы будем лицезреть ее на все главные церковные праздники.

— И вновь, — говорит Шапюи, — ваша набожность делает вам честь.

Он отправляет Грегори к своему другу Ричарду Саутуэллу — учиться ораторскому искусству. Хорошо, если мальчик немного побудет вдали от Лондона, вдали от двора, где сейчас в воздухе разлито тяжелое напряжение. Во всем признаки беспокойства, придворные умолкают, стоит ему войти. Если он поставит на карту все, лучше Грегори не проживать сомнения час за часом — пусть стразу увидит итог. Ему некогда объяснять политику молодым и простодушным. Надо следить за перемещением кавалерии и пушек по Европе, за кораблями в море, купеческими и

военными: притоком золота из Америк в сундуки императора. Иногда мир так похож на войну, что их невозможно отличить; иногда Британские острова кажутся совсем крохотными. Сообщают, что Этна взорвалась и на побережье Сицилии обрушилось наводнение. В Португалии засуха, и повсюду зависть и недовольство, страх перед будущим, голод или страх голода, страх перед Богом, сомнения, как отвратить Его гнев и на каком языке. Все новости запаздывают на две недели — стихии против него ополчились. Как раз когда закончены укрепления Дувра, рушатся стены Кале: от мороза растрескалась кладка и открылась трещина между Водовозными и Фонарными воротами.

В Судное воскресенье елемозинарий королевы, Джон Скип, произносит в королевской часовне аллегорическую проповедь, направленную против него, Томаса Кромвеля. Он широко улыбается тем, кто пытается растолковать ее фраза за фразой, равно ненавистникам и доброхотам. Его не напугать проповедью, не устрашить фигурами речи.

Как-то в детстве, разозлившись на отца, он с разбегу боднул того в живот. Однако дело происходило перед нашествием корнуольских

бунтовщиков, и все жители Патни готовились к обороне, так что Уолтер ковал себе и товарищам латы. Когда Том с размаху врезался головой в отца, то сперва услышал грохот, затем почувствовал удар: Уолтер примерял одно из своих изделий. «Будет тебе урок», — флегматично заметил отец.

Он часто вспоминает этот стальной живот и думает, что приобрел такой же, только не обременительный в отличие от лат. «У Кромвеля луженый желудок — съест и не подавится», — можно услышать и от друзей, и от врагов. И в фигуральном смысле, и в буквальном. Он не откажется от ломтя мяса с кровью в любое время дня, а разбуди его ночью — голоден и тогда.

Приходит опись из Тилнейского аббатства: облачения алого турецкого атласа и белого льна, расшитые золотыми зверями. Два алтарных покрывала белого брюггского атласа с нашивками из алого бархата, похожими на капли крови. И всевозможная кухонная утварь: каминные щипцы, гири, крюки для мяса.

Зима растаяла и сменилась весной. Пасха: ягненок под имбирным соусом и наконец-то никакой тебе рыбы. Он вспоминает, как дети расписывали яйца, рисовали им кардинальские шапки. Вспоминает свою дочку Энн, как та сжимала в теплом

кулачке яйцо, размазывая краску. «Regardez! Смотрите!» Она в тот год учила французский. Вспоминает ее изумленное личико, тонкий язычок, слизывающий с ладони краску.

Император в Риме; доносят, что он семь часов совещался с Папой. Интересно, какая часть их разговора была посвящена интригам против Англии? Или император заступался за своего английского собрата? Ходят слухи, что Испания заключает мир с Францией — дурное известие для Англии. Время ускорить переговоры. Он условливается о встрече между Генрихом и Шапюи.

Из Италии ему приходит письмо, которое начинается словами: «Molto magnifico signor…»[12]. Он вспоминает Эркюля-Геркулеса, поломоя.

Через два дня после Пасхи Шапюи является во дворец, где его приветствует Джордж Болейн. Джордж сверкает зубами и перламутровыми пуговицами, Шапюи закатывает глаза, словно напуганная лошадь. Джордж встречал посла и прежде, но сегодня тот рассчитывал увидеть кого-нибудь из своих друзей, скажем, Кэрью. Джордж произносит учтивую французскую речь. Просим вас послушать мессу вместе с королем, а затем,

---

[12] Примечания: 12
Великолепнейший синьор… (ит.)

если вы окажете мне такую любезность, я буду счастлив принять вас за обедом в десять часов.

Шапюи озирается: Кремюэль, на помощь!

Он стоит в сторонке, с улыбкой наблюдая за Джорджем, и думает: я буду по нему скучать, когда вышвырну его назад в Кент, считать овец и прикидывать виды на урожай.

Король, ласково поздоровавшись с Шапюи, уходит на свое отдельное возвышение. Шапюи вынужден остаться с прихлебателями Джорджа. «Judica me Deus», — читает священник нараспев. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня.

Шапюи, обернувшись, буравит Кромвеля взглядом. Тот усмехается. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» — вопрошает священник; по-латыни, разумеется.

Когда посол идет к алтарю, чтобы принять освященную облатку, молодые люди с ловкостью опытных танцоров пристраиваются у него за спиной. Шапюи в панике оглядывается через плечо. Где я? Что мне делать?

И тут прямо там, куда он смотрит, появляется Анна. Она сходит со своей личной галереи, гордо неся голову, в бархате и соболях, на шее блещут

рубины. Шапюи замирает. Он не может идти вперед: боится пересечь ей дорогу. Не может попятиться: сзади напирают дружки Джорджа. Анна смотрит на врага с торжествующей улыбкой и величаво кивает. Шапюи, плотно зажмурившись, отвешивает конкубине поклон.

После стольких лет! Все эти годы он продумывал каждый шаг, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах не столкнуться с ней, не оказаться перед этим чудовищным выбором. Но как еще он мог поступить? Треклятая вежливость! Скоро известие достигнет императора. Можно лишь надеяться и молиться, что Карл поймет.

Все перечисленное отражается у посла на лице. Он, Кромвель, встает на колени и принимает причастие. Бог размокает у него на языке. В эти мгновения благочестие требует закрыть глаза, однако сегодня, в порядке исключения, Господь простит, что он глазеет по сторонам. Джордж Болейн даже покраснел от удовольствия. Шапюи бледен от пережитого унижения. Генрих в блеске золота величаво спускается с галереи; лицо сияет торжеством.

Несмотря на все усилия Джорджа, Шапюи на выходе из часовни подбегает к нему, Кромвелю, и бульдожьей хваткой сжимает ему руку.

— Кремюэль! Вы знали, что так будет! Как вы могли поставить меня в такое неловкое положение?!

— Уверяю вас, все к лучшему. — Он добавляет задумчиво: — Что вы были бы за дипломат, Эсташ, если бы не понимали государей? Они мыслят иначе, чем другие люди. Простолюдинам вроде нас Генрих может показаться чрезмерно упрямым.

В глазах посла брезжит свет. Протяжный выдох. Шапюи понял, отчего Генрих заставил его прилюдно склониться перед королевой, которую разлюбил. Король должен во что бы то ни стало добиться своего. Теперь цель достигнута, его второй брак признан, а значит, можно и разводиться.

Шапюи кутается в одежду, словно почувствовал холодный ветер из будущего. Спрашивает шепотом:

— Неужто мне и впрямь обязательно обедать с ее братом?

— О да. Вы увидите, что он чрезвычайно мил. В конце концов, — он прикрывает рукой улыбку, — Джордж только что одержал победу. Джордж и вся его семья.

Шапюи кутается еще плотнее.

— Я был неприятно изумлен. Мне прежде не доводилось видеть ее так близко. Она похожа на тощую старуху. А с рукавами цвета зимородкова крыла это кто? Мистрис Сеймур? Она очень невзрачна. Что Генрих в ней нашел?

— Он считает ее глупенькой, и ему это по душе.

— Он явно влюблен без памяти. Должно быть, в ней есть что-то, чего не видно со стороны. — Короткий смешок. — Без сомнения, у нее восхитительная enigme[13].

— Никто не знает, — произносит он без улыбки. — Она девственница.

— После стольких лет при вашем дворе? Наверняка Генрих себя обманывает.

— Поговорим об этом позже. Любезный хозяин хочет проводить вас на обед.

Шапюи складывает руки на груди и отвешивает Джорджу, лорду Рочфорду, низкий поклон. Джордж отвечает тем же. Они уходят под руку. Лорд Рочфорд что-то говорит: кажется, читает послу стихотворение о приходе весны.

— Хм, ну и спектакль, — замечает лорд Одли. Канцлерская цепь слабо поблескивает в утреннем

---

[13] Примечания: 13
Загадка (фр.).

свете. — Идемте, перекусим, чем Бог послал. — Одли посмеивается. — Бедный посол. Смотрел так, будто угодил в руки к берберийским пиратам и не знает, в какой стране завтра проснется.

Я тоже не знаю, в какой стране проснусь завтра, думает он. Одли б только балагурить. Он закрывает глаза и почему-то отчетливо понимает, что бо2льшая часть дня уже позади, хотя сейчас всего десять часов.

— Сухарь? — окликает его лорд-канцлер.

Через какое-то время после обеда все начинает сыпаться, да так, что хуже не придумаешь. Он оставил Генриха и посла в оконной нише — пусть ласкаются словами, воркуют о союзе, делают друг другу нескромные предложения. Первое, что он замечает: король сперва розовеет, затем бледнеет и, наконец, багровеет. Следом доносится голос Генриха, пронзительный, резкий:

— Вы слишком много на себя берете, Шапюи. Вы говорите, я признал права вашего государя на Милан, но, возможно, у французского короля прав на герцогство не меньше, если не больше. Не воображайте, что вам известны мои мысли, посол.

Шапюи отпрыгивает. Ему вспоминаются слова Джейн Сеймур: «Господин секретарь, вы когда-

нибудь видели ошпаренную кошку?»

Посол что-то говорит тихо, смиренно.

Генрих рычит:

— Вы хотите сказать, то, что я принял как знак учтивости одного христианского государя другому, на самом деле — часть торга? Вы склонились перед моей супругой королевой, а теперь выставляете счет?

Шапюи поднимает руку, мол, давайте говорить тише, однако Генрих продолжает кричать так, что слышат все: и те, кто смотрит, разинув рот, и те, кто толпится за ними.

— Или ваш государь не помнит, что я сделал в трудный для него час? Когда взбунтовались его испанские подданные? Я помогал императору на море. Я одалживал ему деньги. И что получил взамен?

Шапюи лихорадочно силится припомнить, что там было давным-давно, задолго до его назначения послом. Слабым голосом предполагает:

— Деньги?

— Ничего, кроме нарушенных обещаний. Вспомните, как я помогал ему против французов. Он обещал мне земли. И теперь я слышу, что он заключает с Франциском мир. С какой стати я ему поверю?

Шапюи подбирается, насколько это возможно при маленьком росте и щуплом телосложении.

— Бойцовый петушок, — шепчет Одли на ухо ему, Кромвелю.

Однако Кромвелю не до шуток.

Шапюи говорит:

— Государям не пристало задавать друг другу такой вопрос.

— Вот как? В былые дни мне бы не пришлось его задавать. В моих глазах всякий государь честен, как честен я сам. Однако временами, сударь, наше естественное благодушие вынуждено уступать горькому опыту. И я спрашиваю: ваш хозяин что, держит меня за дурака? — Король наклоняется и стучит себя пальцами по колену, словно подзывая ребенка или собаку. Пищит: — Генрих! Подойди к Карлу! Подойди к своему доброму хозяину! — Выпрямляется и чуть не брызжет слюной от злости. — Император обходится со мной, как с маленьким. Сперва выпорет, затем приласкает, затем снова выпорет. Передайте ему, что я не младенец. Что я император собственной страны, муж и отец. Передайте, чтобы не лез в мои семейные дела. Сперва он указывает мне, на ком мне жениться. Потом — как мне поступать с собственным ребенком. Передайте, что я обойдусь с

Марией, как сочту нужным. Как отец обходится с непокорной дочерью, кто бы ни была ее мать.

Король рукой — и даже, о Господи, кулаком — тычет посла в плечо и уходит. Очень царственно. Разве что ногу подволакивает. Кричит через плечо:

— Я требую самых глубоких публичных извинений!

Он, Кромвель, задерживает дыхание. Посол, что-то бормоча, бежит через комнату, хватает его за руку.

— Кремюэль, я не понимаю, за что должен извиняться. Я пришел сюда, ничего не подозревая, меня хитростью заставили поклониться этой женщине, я вынужден был за обедом обмениваться комплиментами с ее братом, а потом Генрих на меня налетел. Он нуждается в моем господине, хочет заключить союз и просто играет в старую игру: старается продать себя подороже, говорит, будто пошлет войска в Италию на помощь королю Франциску — где эти войска? У меня есть глаза, я не вижу никаких войск.

— Полно, не волнуйтесь, — увещевает Одли. — Мы сами принесем извинения, сударь. Дайте ему остыть. Не пишите пока своему доброму государю. Мы продолжим переговоры.

За спиной у Одли через толпу пробирается Эдвард Сеймур. Он, Кромвель, с вкрадчивым спокойствием (которого не чувствует) говорит:

— А вот, господин посол, случай представить вам…

Эдвард выступает вперед:

— Мон шер ами…

Болейны переглядываются. Эдвард устремляется в брешь, вооруженный неплохим французским. Увлекает Шапюи в сторону, и вовремя. В дверях шум: король возвращается, быстрым шагом входит в круг своих джентльменов.

— Кромвель! — Генрих, тяжело дыша, останавливается прямо перед ним. — Растолкуйте ему, что не императору ставить мне условия. Император должен принести извинения за то, что грозил мне войной. — Король хмурится. — Кромвель, я знаю, что2 вы сделали. Вы зашли слишком далеко. Чего вы ему наобещали? Что бы это ни было, вы не имели права говорить от моего имени. Вы поставили под удар мою честь. Впрочем, чего я ждал? Что такой, как вы, смыслит в государевой чести? Вы сказали: «Я за Генриха ручаюсь, он у меня в кармане». Не отпирайтесь, я слышу, как вы это говорите. Вы думали меня вышколить, верно? Как своих мальчишек в Остин-фрайарз?

Чтоб я прикасался к шляпе, когда вы спускаетесь к завтраку, и говорил «Доброе утро, сэр». Ходил за вами по Уайтхоллу. Таскал ваши книги, вашу чернильницу и печать. А может, и корону в кожаном мешочке? — Генрих трясется от гнева. — Я уверен, Кромвель, вы считаете себя королем, а меня — подмастерьем кузнеца.

Он не станет потом уверять, будто у него не упало сердце. Не станет бахвалиться противоестественным хладнокровием, невозможным у разумного человека. Генрих мог в любое мгновение сделать знак страже, и его бы схватили.

Однако он делает шаг назад, зная, что лицо его не выражает ничего — ни раскаяния, ни сожаления, ни страха, а про себя думает: вас бы не взяли в кузницу. Уолтер и близко не подпустил бы вас к горну. Сила — только полдела. Рядом с огнем нужна холодная голова, когда искры летят к потолку, надо приметить, куда они попали, и сбить пламя ладонью. И сейчас, видя распаленное лицо монарха, он вспоминает отцовский совет: если обожжешь руки, Том, скрести их перед собой и держи, пока не найдешь воду или мазь. Не знаю, чем это помогает, но боль слабеет, а если еще и молиться при этом, то кое-как переживешь.

Он поднимает ладони. Скрещивает руки перед

собой. Прочь, Генрих. Словно неправильно истолковав его жест — и будто почти радуясь, что получил наконец отпор, — король умолкает и пятится, отворачивается от Кромвеля, избавляя того от зрелища своих налитых кровью белков, от недолжной близости выпученных монарших глаз.

Он говорит тихо:

— Храни вас Господь, ваше величество. А теперь дозволите ли вы мне удалиться?

С дозволения или без, он уходит. Уходит в соседнюю комнату. Вы слышали выражение: «Кровь во мне вскипела»? Его кровь кипит. Он складывает руки крестом, ладонями вперед, садится на сундук и требует вина. Когда вино приносят, он смыкает руку на холодном металле, гладит кубок подушечками пальцев. Капля кларета переливается через край, он размазывает ее пальцем и, для большей чистоты, слизывает языком. Непонятно, правда ли боль прошла, как обещал Уолтер, но хорошо, что отец за него. Должен же кто-нибудь быть рядом.

Он поднимает глаза. Перед ним Шапюи, лицо — ехидная маска.

— Мой дорогой друг. Я полагал, вам конец. Поверите ли, но я вообразил, что вы забудетесь и

поднимете на него руку.

Он улыбается:

— Я никогда не забываюсь. Я всегда думаю, что делаю.

— Но не всегда говорите, что думаете.

Бедный посол — столько претерпел сегодня за то, что честно делал свою работу. К тому же я оскорблял его чувства, высмеивал его шляпу. Завтра я пришлю ему подарок, хорошую верховую лошадь. Я сам, прежде чем ее выведут из конюшни, внимательно проверю подковы.

На следующий день собирается королевский совет. Присутствует Уилтшир, иначе монсеньор; Болейны — лоснящиеся коты, сидят и охорашиваются. Их родич, герцог Норфолк, осунувшийся, дерганый, останавливает его перед входом — его, Кромвеля:

— Все в порядке, малец?

Когда еще главный церемониймейстер страны обращался так к начальнику судебных архивов? В зале совета Норфолк двигает табуреты, выбирает тот, что поудобнее, садится со скрипом. Говорит:

— С ним такое бывает. — Ухмыляется, показывая зубы. — Стоишь, думаешь, как бы не упасть, и тут он выбивает почву у тебя из-под ног.

Он кивает, терпеливо улыбаясь. Входит Генрих,

садится во главе стола, словно большой недовольный младенец. В глаза никому не смотрит.

Итак: он надеется, что другие советники не подведут. Он много раз им объяснял. Льстите Генриху. Умоляйте сделать то, что ему так и так сделать придется. Пусть думает, будто у него есть выбор. Пусть восхищается своей добротой, как если бы он вам помогал, а не себе.

Ваше величество, говорят советники. Сделайте милость. Ради блага страны снизойдите к нижайшей просьбе императора. К его мольбам и уговорам.

Это продолжается минут пятнадцать. Наконец король говорит: хорошо, коли того требует благо страны, я приму Шапюи, мы продолжим переговоры, видимо, мне придется проглотить все личные оскорбления.

Норфолк подается вперед:

— Считайте это микстурой, Генрих. Она горькая, но, ради блага Англии, не выплевывайте.

От темы врачей разговор естественно переходит к замужеству леди Марии. Куда бы король ни переселил дочь, та продолжает сетовать на дурной воздух, скудную пищу, невозможность побыть одной, на боли в суставах и в голове и общую подавленность духа. Врачи говорят, что

здесь помог бы мужчина. Когда жизненные соки в молодой женщине закупорены, она теряет аппетит, бледнеет, худеет и чахнет; брак дает ей занятие, и она забывает про мелкие хвори; ее матка пребывает в довольстве и на своем месте, а не блуждает по всему телу, вызывая всевозможные болезни, как учит нас Гиппократ. Если же нельзя выдать Марию замуж, ей надо хотя бы помногу ездить верхом, что для девушки под домашним арестом крайне затруднительно.

Наконец Генрих прочищает горло.

— Не секрет, что император обсуждает Марию у себя в совете. Он хотел бы выдать ее за кого-нибудь из своих родственников, в собственных владениях. — Лицо короля суровеет: — Я ни в коем случае не выпущу ее из страны и вообще не позволю ей выходить из дома, пока она не научится вести себя с отцом, как положено.

Он, Кромвель, говорит:

— Она все еще не оправилась после смерти матери. Уверен, что некоторое время спустя она осознает дочерний долг.

— Как отрадно наконец услышать ваш голос, Кромвель, — усмехается монсеньор. — Вы обычно говорите первым, и последним, и в середине, так что остальные советники вынуждены общаться

шепотом или передавать друг другу записки. Позвольте спросить, не связана ли как-нибудь ваша сдержанность со вчерашними событиями? Когда его величество, если я верно припоминаю, поставил вас на место?

— Большое вам спасибо, милорд Уилтшир, — бесстрастно произносит лорд-канцлер.

Король говорит:

— Милорды, я вынужден напомнить, что мы говорим о моей дочери. Хотя я далеко не уверен, что ее следует обсуждать в совете.

— Я бы, — гремит Норфолк, — я бы поехал к Марии и заставил ее присягнуть королю и ребенку моей племянницы. Положил бы ее руку на Библию и держал. А не поможет — бил бы головой об стену, пока не станет мягкая, как печеное яблоко.

— И вам спасибо, милорд Норфолк, — говорит Одли.

— Так или иначе, — произносит король, — у нас не столько детей, чтобы отдавать их в чужие края. Я предпочел бы с ней не разлучаться. Когда-нибудь она станет мне послушной дочерью.

Болейны довольны: король не ищет Марии достойного жениха за границей, она никто, незаконная дочь, о которой вспоминают только из

жалости. Вчерашняя победа над испанским послом еще свежа у них в памяти, и то, что они ею не бахвалятся, делает им честь.

После заседания его окружают другие советники, все, кроме Болейнов. Заседание прошло успешно: он получил что хотел, Генрих продолжит переговоры с императором. Тогда почему ему так душно, так неспокойно? Он раздвигает советников локтями, впрочем, со всей учтивостью. Ему надо на воздух. Генрих, проходя мимо, останавливается, поворачивает голову, спрашивает:

— Господин секретарь, вы не прогуляетесь со мной?

Они гуляют. Молча. Начинать разговор прилично государю, а не министру.

Ему торопиться некуда.

Генрих говорит:

— Хорошо бы съездить в Кент, как мы собирались, посмотреть на тамошних литейщиков.

Он ждет.

— Я смотрел разные чертежи, математические расчеты, читал советы насчет того, как улучшить наши пушки, но, сказать по правде, вы бы разобрались в них лучше.

Смиреннее, думает он. Еще чуточку смиреннее.

Генрих говорит:

— Вы бывали в лесах, видели углежогов. Помнится, вы рассказывали, что это очень бедные люди.

Он ждет. Генрих говорит:

— Я думаю, следует знать все с самого начала, идет ли речь о пушке или о доспехах. Бесполезно требовать металл с определенными качествами, определенной закалки, если не знаешь, как его выплавляют, с какими трудностями сталкивается мастер. Я никогда не брезговал часами сидеть с оружейником, когда тот делает мне латную рукавицу на правую руку. Думаю, надо изучить каждую пластину, каждую заклепку.

И? Да?

Он не спешит королю на выручку: пусть выпутывается сам.

— И… так вот. Вы — моя правая рука, сэр.

Он кивает. Сэр. Как трогательно.

Генрих говорит:

— Итак, в Кент? Когда? Назначить ли мне срок? Двух-трех дней будет вполне довольно.

Он улыбается:

— Не этим летом, сир. У вас будут другие дела. К тому же литейщики такие же люди, как и мы. Им надо отдохнуть. Полежать на солнышке. Яблоки

собрать.

Генрих кротко смотрит на него умоляющими голубыми глазами: устройте мне счастливое лето. Говорит:

— Я не могу жить, как жил.

Он, Кромвель, здесь, чтобы получить указания. Добудьте мне Джейн, Джейн, такую добрую, такую сладкую. Избавьте меня от горечи, от желчи.

— Думаю, мне следует поехать домой. С вашего дозволения. Мне многое надо сделать, чтобы дело сдвинулось, и я чувствую… — Он не может подобрать английское слово. Такое иногда бывает. — Un peu…[14] — Однако и французское слово не подбирается.

— Но вы не захворали? Вы скоро вернетесь?

— Я посоветуюсь со знатоками канонического права, — говорит он. — Дело может затянуться, вы же знаете эту братию. Буду торопить их, как смогу. И я поговорю с архиепископом.

— И возможно, с Гарри Перси, — подхватывает король. — Вы же помните… помолвка или брачный контракт… они же были почитай что муж и жена. А если и это не поможет… — Генрих чешет бороду. — Вам известно, что я… до королевы…

---

[14] Примечания: 14
Немного… (фр.)

был с ее сестрой, с ее сестрой Мэри, которая…

— О да, сир. Я помню Мэри Болейн.

— И можно доказать, что я после связи со столь близкой ее родственницей не мог вступить в законный брак с Анной… впрочем, это на самый крайний случай… я бы не хотел без надобности…

Он кивает. Вы не хотите выставить себя лжецом. Вы заставили меня объявить перед придворными, что у вас ничего не было с Мэри Болейн, а сами сидели и кивали. Вы убрали все преграды: Мэри Болейн, Гарри Перси, смахнули их в сторону. А теперь наши требования изменились, и прошлое меняется у нас за спиной.

— Что ж, доброго пути, — говорит Генрих. — Главное, чтобы никто не прознал. Я целиком полагаюсь на вашу осмотрительность, на ваше умение.

Как печально слышать, что Генрих извиняется, хотя, конечно, это было необходимо. Он чувствует странное уважение к Норфолку с его коротким: «Все в порядке, малец?»

В соседней комнате ждет мастер Ризли.

— Вы получили указания, сэр?

— Я получил намеки.

— И когда они могут превратиться во что-нибудь более определенное?

Он улыбается.

Зовите-Меня говорит:

— Мне сказали, король в совете объявил, что выдаст леди Марию за своего подданного.

Вроде бы ничего подобного не прозвучало? На миг ему становится почти весело. Он слышит собственный беспечный смех.

— Ой, Бога ради, Ризли, кто вам такое сказал? Порой я думаю, мы бы сберегли много времени и труда, если бы приглашали на совет все заинтересованные стороны, включая иностранных послов. Те все равно выведают, о чем шла речь, так что уж лучше бы узнавали все из первых уст, а не домысливали всяческие нелепицы!

— Так я неверно понял? — спрашивает Ризли. — Поскольку мне казалось, выдать ее за англичанина, человека низкого звания, и есть нынешний замысел королевы?

Он пожимает плечами. Ризли смотрит на него без всякого выражения. Почему — он поймет только несколько лет спустя.

Эдвард ищет беседы с ним. Никаких сомнений, что Сеймуры будут на его пиру, даже если им придется сидеть под столом и ловить крошки.

Эдвард напряжен, нервничает.

— Господин секретарь, в рассуждении отдален-

ного будущего…

— В этом деле даже на сутки загадывать нельзя. Уберите вашу сестру куда-нибудь подальше от здешних дрязг. Пусть Кэрью увезет ее к себе в поместье.

— Не думайте, будто я пытаюсь выведать ваши секреты…

Эдвард тщательно выбирает слова. Не думайте, будто я лезу в то, что меня не касается. Но ради сестры мне надо представлять хотя бы в самых общих чертах…

— О, вижу, вы хотите знать, заказывать ли ей свадебное платье?

Эдвард смотрит умоляющим взглядом.

Он говорит серьезно:

— Мы постараемся аннулировать брак. Пока не знаю, на каком основании.

— Они без боя не сдадутся, — говорит Эдвард. — Прежде чем погибнуть, Болейны погубят и нас. Я слышал, что змеи на последнем издыхании выпускают яд через кожу.

— Вы когда-нибудь брали в руки змею? Я брал, в Италии. — Он показывает ладонь. — Как видите, никаких отметин.

— Нужно действовать очень скрытно. Чтобы Анна не проведала.

— Рано или поздно она узнает, — мрачно говорит он.

И это произойдет раньше, если новые товарищи не перестанут ловить его в коридоре и с поклоном преграждать ему дорогу, если они не бросят перешептываться, поднимать брови и тыкать друг друга локтями.

Он говорит Эдварду: мне надо поехать домой, запереться и подумать. Королева что-то замышляет, не знаю пока — что. Возможно, это коварство настолько черное, что она сама еще не впустила его в свои мысли и оно лишь смутно ей грезится, но я должен поспешить, измыслить это за нее, вымечтать грезу в явь.

По словам леди Рочфорд, Анна сетует, что после выкидыша Генрих постоянно за ней наблюдает, не так, как прежде.

Долгое время он примечал, что Гарри Норрис за ней наблюдает, и с высоты, будто резной сокол над дверью, наблюдал за Гарри Норрисом.

Сейчас Анна вроде бы не чувствует распростертых над собой крыл, глаз, следящих, как она мечется и петляет. Королева щебечет о своей дочери Елизавете, вертит в руках чепчик, хорошенький чепчик с лентами, только что от вышивальщицы.

Генрих смотрит на нее пустыми глазами: мол, зачем ты мне это показываешь? Чего ради?

Анна гладит вышивку, и он внезапно ощущает булавочный укол жалости, легкую тень раскаяния. Королевин рукав украшен тонкой шелковой тесьмой — ее сплела какая-то искусница вроде его покойной жены. Он пристально смотрит на королеву и чувствует, что знает ее, как мать знает дитя или как дитя — свою матерь. Знает каждый стежок на ее корсаже. Примечает, как вздымается и опадает грудь при вдохе и выдохе. Что в вашем сердце, мадам? Это — последняя дверь, которую осталось открыть. Он стоит на пороге с ключом и почти робеет. Ибо если ключ не подойдет с первого раза, если он начнет возиться с замком на глазах у Генриха, то услышит нетерпеливое цоканье монаршего языка, как услышал когда-то Вулси.

Что ж. Однажды — в Брюгге, кажется? — он высадил дверь плечом. Не в его обычае высаживать двери, просто заказчик желал скорого результата. Замки вскрывают отмычками, но это для умельцев, которые никуда не спешат. Если у тебя есть башмак и плечо, умения и времени не требуется. Он думает: мне тогда не было тридцати. Мальчишка. Рассеянно трет рукой левое

плечо, будто вспоминает синяки. Мысленно он входит в Анну, не как любовник, а как стряпчий, с бумагами в руках. Мысленно вступает в сердце королевы и слышит, как отдается там эхо его подкованных башмаков.

Дома он вытаскивает из сундука молитвенник покойной жены, подаренный ей первым мужем Томом Уильямсом. Неплохой был малый, но не такой солидный господин, как он сам. Всякий раз, вспоминая Тома Уильямса, он видит безликого челядинца в кромвелевской ливрее, который держит его плащ или коня. Теперь, когда ему доступны любые тома из королевской библиотеки, старый часослов выглядит бедно — где золочение? И все же в этой книге заключена Элизабет, его жена с ее белым чепцом, резким обхождением, чуть заметной улыбкой и ловкими пальцами кружевницы. Как-то он смотрел, как Лиз плетет шелковую тесьму. Один конец был привязан к стене, а у Лиз на всех десяти пальцах было по петле, и они мелькали так быстро, что он не мог понять, как же получается тесемка. «Плети помедленнее, — сказал он, — я хочу посмотреть, как ты это делаешь», но она рассмеялась и ответила: «Медленнее не могу. Если я задумаюсь, что делаю, то сразу собьюсь».

II
Господин иллюзий

Лондон, апрель — май 1536 г.

— Не желаете составить мне компанию?

— Зачем?

Леди Вустер одолевают сомнения.

— Угощу вас пирожными.

— Обожаю пирожные, — улыбается она.

— А вот и слуга.

— Этот юноша? — косится на Кристофа.

— Первым делом подай леди Вустер подушку, Кристоф.

Мягкая пуховая подушка вышита узором из цветов и соколов. Графиня берет подушку обеими руками, задумчиво взбивает, подсовывает под спину, откидывается назад, улыбается:

— Так гораздо лучше.

На сносях, руки покоятся на животе, как у Мадонны. Он проводит расследование в маленькой комнате, окна открыты навстречу сладостному весеннему воздуху. Господин секретарь рад любому, кто заглянет на огонек, любому, кого заметят на его пороге. Трудно устоять перед таким угоще-

нием. К тому же господин секретарь так любезен, так предупредителен.

— Кристоф, передай даме салфетку, а сам ступай проветрись. И дверь за собой закрой.

Леди Вустер — Элизабет — подается вперед и шепчет:

— Господин секретарь, мне так тяжко!

— Неудивительно, — он показывает рукой, — в вашем-то положении. Королева завидует?

— Не отпускает меня ни на шаг, по делу и без дела. Каждый день спрашивает, как я. Нельзя пожелать госпожи участливее. — Однако в тоне графини сомнение. — Лучше бы мне вернуться домой, в поместье. Всяк при дворе норовит меня уколоть.

— Думаете, слухи распускает королева?

— Больше некому.

Поговаривают, что ребенок леди Вустер — не от мужа. Кто-то зол на нее, решил подшутить или злословит от скуки. Благородный брат графини, придворный Антони Брауни, ворвался в ее покои призвать сестру к ответу.

— Я велела ему убираться. Чем я хуже остальных?

Разделяя ее возмущение, творожное суфле дрожит в тестяной скорлупке.

— Давайте по порядку, — хмурится он. — Ваша семья недовольна тем, что пошли слухи, или тем, что они правдивы?

Леди Вустер прикладывает салфетку к губам.

— Хотите, чтобы я исповедалась? За пирожное?

— Позвольте мне помочь вам. У вашего мужа есть причины гневаться?

— Вы же знаете мужчин! Им только дай позлиться. Не могут по пальцам сосчитать!

— Стало быть, ребенок от графа?

— Если родится здоровый мальчик, муж признает его. — Пирожное мешает графине сосредоточиться. — Что это белое? Миндальный крем?

Антони Брауни приходится сводным братом Фицуильяму. (Все эти люди состоят друг с другом в родстве. Хорошо хоть кардинал дал ему схему, которую он прилежно дополняет после каждой свадьбы.) Фицуильям, Брауни и оскорбленный граф шепчутся по углам. Разберитесь, Сухарь, просит Фицуильям, мне не по силам — какой дьявол вселился во фрейлин?

— Еще и долги, — говорит он. — Вам не позавидуешь, миледи. Вы кругом должны. На что вы тратитесь? Вокруг короля столько блестящих юношей, таких остроумных и влюбчивых, всегда

готовых прославить в стихах красоту прекрасной дамы. Вы платите за лесть?

— Не за лесть, за комплименты.

— Вам незачем платить за комплименты.

— Господин секретарь известен своим галантным обхождением с дамами, — замечает графиня, облизывая пальцы. — Но вы же знаете свет! Не сомневаюсь, если вы напишете поэму, то не забудете приложить счет.

Он смеется:

— Вы правы. Я ценю свое время, но неужто ваши обожатели так расчетливы?

— Знали бы вы, сколько у них забот! — Графиня вонзает зубки в засахаренную фиалку. — Не понимаю, почему юность называют праздной? Эти юноши трудятся от зари до зари, зарабатывая положение при дворе. Они не станут прикладывать счет, но не откажутся от броши на шляпу, позолоченных пуговиц или нового камзола.

Он вспоминает разодетого Марка Смитона.

— Королева тоже платит?

— Мы называем это покровительством, не платой.

— Хорошо, пусть так.

Господи Иисусе, думает он про себя, выходит, мужчина может содержать шлюху и имено-

вать себя ее покровителем. Леди Вустер роняет изюминки на стол, и ему хочется подобрать их и скормить графине. Вероятно, она не станет возражать.

— Случалось ли королеве оказывать покровительство наедине?

— Наедине? Почем мне знать?

Он кивает. Похоже на теннис — и это мастерский удар.

— Когда королева оказывает покровительство, что на ней надето?

— Мне не случалось заставать ее голой.

— А ваши юные льстецы, им случалось?

— Меня там не было.

— Двери были заперты?

— Двери часто бывают заперты.

— Вы готовы повторить это в суде?

Она слизывает капельку крема.

— Про двери? А что здесь такого?

— Что вы потребуете в уплату?

Он улыбается, не сводит взгляда с ее лица.

— Я побаиваюсь мужа. Из-за долгов. Он ничего не знает, умоляю… молчите.

— Пришлите мне ваших кредиторов. На будущее, если захотите еще комплиментов, обращайтесь в банк Кромвеля. Мы славимся уступчиво-

стью и щедростью и дорожим клиентами.

Она кладет салфетку на стол, подбирает последние лепестки примулы с творожного суфле и направляется к двери. Неожиданно останавливается, мнет юбку.

— Король хочет избавиться от нее? Но разве запертая дверь — достаточный повод? Я не желаю королеве зла.

Она начинает понимать по крайней мере кое-что. Жена Цезаря вне подозрений. Недоверие погубит королеву, а крохи правды погубят еще вернее. Не понадобится даже простыня с липкими следами Фрэнсиса Уэстона или другого рифмоплета.

— Да забудьте вы о ней, — говорит он. — Возможно недоразумение. Как в вашем случае. Не сомневайтесь, граф будет доволен, когда родится дитя.

Лицо графини светлеет:

— Вы поговорите с ним? Не проболтаетесь про долги? И с братом? И с Уильямом Фицуильямом? Убедите их оставить меня в покое? Я не делала ничего такого, чего не делают прочие дамы.

— Мистрис Шелтон?

— Нашли чем удивить!

— Мистрис Сеймур?

— А вот тут я бы удивилась.

— Леди Рочфорд?

Она отвечает не сразу.

— Это не для леди Рочфорд.

— Лорд Рочфорд несостоятелен как мужчина?

— Несостоятелен? — Она пробует слово на вкус. — Пусть не в таких выражениях, но мне доводилось слышать ее жалобы.

Возвращается Кристоф. Графиня проплывает к двери, женщина, сбросившая с души груз.

— Смотрите, она отковыряла лепестки, а корочку оставила, — говорит Кристоф.

Юноша садится за стол и набивает утробу остатками пиршества, жадный до сахара и меда. Сразу видно, кто в детстве недоедал. Мы вступаем в благословенный сезон, когда воздух сладок на вкус, бледная зелень покрывает деревья, повара приправляют лимонные пирожные лавандой, а заварной крем — базиликом, поливают клубничные дольки сиропом, настоянным на соцветиях бузины.

* * *

День святого Георгия. По всей Англии шумные процессии волокут по улицам тряпичных и бумажных драконов, а рыцари в жестяных доспехах

колотят ржавыми мечами по старым щитам. Девушки плетут венки из листьев, несут букеты весенних цветов в церкви. В Остин-фрайарз Антони подвесил к потолку чудище с зеленой чешуей, выпученными глазами и высунутым языком. Вид у дракона распутный и кого-то ему напоминает, не сразу вспомнишь, кого именно.

В этот день рыцари ордена Подвязки созывают капитул, на котором выбирают новых братьев взамен почивших. Орден Подвязки — самый почитаемый в христианском мире, его рыцарями именуют себя французский король и король Шотландии. А также монсеньор, отец королевы, и королевский бастард Гарри Фицрой.

В нынешнем году капитул созывают в Гринвиче. Иностранные рыцари не участвуют, однако капитул должен стать собранием его новых сторонников: Уильяма Фицуильяма, Генри Куртенэ — маркиза Эксетера, милорда Норфолка и Чарльза Брэндона, который, кажется, простил Томасу Кромвелю, что пришлось томиться в его приемной. Теперь герцог сам находит его и говорит:

— Когда-то мы не ладили, но я всегда советовал Гарри Тюдору: привечай Кромвеля, чтобы он не пошел по стопам его неблагодарного хозяина. Он натаскался от Вулси всяких хитростей и еще тебе

пригодится.

— Вы и впрямь так отзывались обо мне, милорд? Весьма обязан.

— И вы видите, к чему это привело. Ведь вы разбогатели? — Герцог хмыкает. — Вместе с Гарри.

— И я всегда рад услужить тому, кто желает мне добра. Могу я спросить, за кого милорд собирается отдать голос?

Брэндон подмигивает:

— Все зависит от меня.

Вакансия одна — место покойного лорда Бергавенни, претендентов двое. Анна горой стоит за братца Джорджа, другой соискатель — Николас Кэрью. Голоса подсчитаны: перед королем огласят имя сэра Николаса. Сторонники Джорджа сразу идут на попятную, заявляя, что ни на что не надеялись: дескать, место давно было обещано сэру Николасу, еще три года назад за него просил сам французский король. Если королева и огорчена, то виду не подает, а королю и Джорджу Болейну без того есть что обсудить.

После Майского дня король со свитой отправляется в Дувр инспектировать строительство, и Джордж сопровождает его величество в качестве

лорда-хранителя Пяти портов{8} — должность, которую он, по разумению Кромвеля, исполняет спустя рукава. Господин секретарь и сам хочет съездить в Кале на пару дней, о чем и заявляет, слух о его приезде поддержит гарнизон в состоянии боевой готовности.

Ради заседания капитула Гарри Перси приехал из своих владений в Сток-Ньюингтон. Нужно послать к нему кого-нибудь, говорит он племяннику Ричарду, возможно, ему придется взять обратно свои слова о помолвке с Анной. Я бы и сам поехал, но на этой неделе время расписано по часам. Его ждет Ричард Сэмпсон, настоятель Королевской часовни, доктор канонического права (Кембридж, Париж, Перуджа, Сиена) — поверенный короля на первом бракоразводном процессе.

— Угодили мы в переплет, — только и скажет настоятель, аккуратно раскладывая на столе фолианты. Снаружи ждет повозка, доверху загруженная тщательно обернутыми, дабы уберечь их

{8} Примечания: 25

Пять портов — союз пяти портов в графствах Кент и Сассекс, в который входили Дувр, Гастингс, Хит, Нью-Ромни, Сэндвич и (к описываемому времени) еще несколько городов. Все они имели значительные привилегии, а лорд-хранитель Пяти портов был одним из влиятельнейших английских феодалов — фактически под его властью находилась вся территория Кента и Сассекса.

от превратностей погоды, томами: все документы по делу о разводе, с тех пор как король впервые выказал недовольство Екатериной. Тогда мы были молоды, замечает он. Настоятель смеется, и его сухой клерикальный смех — будто скрип ризничной двери.

— Неужели были? Я успел забыть. А некоторые не только молоды, но и беспечны.

Они хотят заявить о недействительности брака, посмотреть, удастся ли освободить Генриха таким способом.

— Ходят слухи, что при звуке вашего имени Гарри Перси заливается слезами, — замечает настоятель.

— Ну, это преувеличение. В последнее время мы с графом весьма дружны.

Он листает бумаги, всюду натыкаясь на кардинальский почерк: приписки, вопросы, стрелки на полях.

— Возможно, — говорит он, — Анна-королева решит посвятить себя религии, и брак будет аннулирован сам собой.

— Из нее выйдет превосходная аббатиса, — учтиво замечает настоятель. — А что милорд архиепископ?

Кранмер в отъезде, решение отложено на по-

том.

— Мне предстоит убедить архиепископа, что без Анны продвижение английской Библии пойдет успешнее. Мы хотим, чтобы живое слово Божье звучало в ушах короля музыкой, а не сварливым нытьем.

Он говорит «мы» из вежливости, не уверенный в приверженности настоятеля реформе, но излишняя предупредительность не помешает, а Сэмпсон известен гибкостью взглядов.

— А что до колдовства, — Сэмпсон откашливается, — надеюсь, король пошутил? Если будет доказано, что его величество вовлекли в брак с использованием противоестественных способов, разумеется, его согласие не может считаться добровольным, следовательно, аннулирование брачных обязательств — дело решенное. Однако полагаю, его величество выражается фигурально. Как поэт пишет о колдовских чарах, уловках и любовных ухищрениях возлюбленной. О, клянусь мессой! — восклицает настоятель. — И нечего так смотреть на меня, Томас Кромвель! Я предпочел бы не иметь с этим делом ничего общего. Скорее я соглашусь еще раз стакнуться с Гарри Перси, чтобы выбить из него дурь! Или, того хуже, с Мэри Болейн, хотя, должен признаться, даже имени

ее я слышать не желаю.

Кромвель пожимает плечами. Иногда он вспоминает Мэри: что, если бы тогда он уступил ее настойчивости? В ту ночь в Кале ему ничего не стоило вкусить ее прелестей, впрочем, в ту ночь Мэри Болейн пошла бы с любым мужчиной, способным ублажить женщину.

Настоятель мягко прерывает его задумчивость:

— Прислушайтесь к моему совету: поговорите с ее отцом. Уилтшир — разумный человек, несколько лет назад мы с ним были послами в Бильбао, и я всегда ценил его здравый смысл. Пусть уговорит дочь уйти без шума. Избавьте всех нас от двадцати лет скорбей.

Теперь «монсеньор»: он зовет с собой Ризли вести протокол. Отец Анны прихватил собственный фолиант, братец Джордж — лишь себя любимого. Смотреть на него любо-дорого: сплошные узоры, шнуры, ленты, шевроны и прорези. Сегодня на Джордже белый бархат, в каждой прорези пламенеет алый шелк, напоминая картину, которую он видел в Голландии: святой, с которого живьем сдирают кожу. Кожа с икр топорщится над лодыжками, словно мягкие башмаки, но на лице мученика безмятежность.

Он кладет бумаги на стол.

— Буду краток. Вы сами все понимаете. До короля дошли сведения, которые, знай он их изначально, воспрепятствовали бы его женитьбе на леди Анне.

— Я расспросил графа Нортумберленда, — произносит Джордж. — Он настаивает на том, в чем клялся на Библии. Никакого уговора между ними не было.

— Печально. Ума не приложу, что теперь делать. Может быть, вы что-нибудь придумаете, лорд Рочфорд?

— Придумаю. Упечь тебя в Тауэр.

— Запишите, — велит он Ризли. — Милорд Уилтшир, позвольте напомнить некоторые обстоятельства, о которых ваш сын, возможно, слышит впервые. Однажды покойный кардинал вызвал вас к себе и дал понять, что ваша дочь не пара Гарри Перси, потому что род Перси не чета вашему. А вы сказали, что не отвечаете за поступки Анны и не имеете влияния на своих детей.

Судя по лицу Томаса Болейна, можно подумать, его только что осенило.

— Так это были вы, Кромвель! Скрипели пером в темноте.

— А разве я когда-нибудь отрицал, милорд? Тогда вам не удалось разжалобить кардинала.

Я и сам отец семейства, мне ли не знать, как бывает. Вас устраивало, что ваша дочь и Гарри Перси зашли дальше, чем следовало. Стог сена и теплая ночь, как любил повторять кардинал. Вы надеялись, что шашни молодых приведут к законному браку.

Болейн ухмыляется:

— А затем король дал понять, что положил глаз на мою дочь.

— И вы пересмотрели свои взгляды, как на вашем месте поступил бы каждый. Я призываю вас подумать еще. Лучше бы вашей дочери и впрямь быть повенчанной с Гарри Перси. Тогда ее брак с королем будет аннулирован, а его величество сможет искать себе новую жену.

Десять лет, пока его дочь кокетничала у трона, Болейн надувал щеки, десять лет, превратившие его в самодовольного богача. Ныне его звезда близка к закату, и он, Кромвель, понимает: отец Анны смирился. Женский век короток, мужчины непостоянны: история стара как мир, никому, даже помазанной королеве, не дано переписать финал.

— Что будет с Анной? — спрашивает ее отец, в голосе не различить теплоты.

Он предлагает, как раньше Кэрью:

— Монастырь?

— Я вправе рассчитывать на щедрое содержание. Семье Болейн.

— Милорд отец, — вступает в разговор Джордж, — зачем вы торгуетесь с этим человеком? Зачем вы с ним разговариваете?

Уилтшир холоден с сыном.

— Сэр. Держите себя в руках. Все уже решено. Кромвель, возможно ли, чтобы она сохранила маркизат, а мы, ее семья, остались при своем?

— Скорее всего король захочет, чтобы она удалилась от мира. Мы найдем для нее приличный монастырь, где ее веру и убеждения ничто не оскорбит.

— Меня от вас тошнит, — говорит Джордж и отходит в сторону от старшего Болейна.

— Запишите, что лорда Рочфорда тошнит, — велит он Ризли.

Перо послушно скрипит по бумаге.

— А как же наши земли? — спрашивает Уилшир. — Наши регалии? Почему я не могу по-прежнему исполнять должность хранителя Малой королевской печати? А мой сын, его привилегии и титулы…

— Кромвель задумал вышвырнуть меня вон! — Джордж вскакивает. — Вот в чем дело! Он только

и знает, что чинить препятствия моим трудам по защите страны! То пишет в Дувр, то в Сэндвич, его шпионы везде, мои письма переправляют ему, мои приказы отменяют…

— Сядьте. — Ризли смеется, отчасти его забавляет собственная храбрость, отчасти — выражение лица Джорджа. — Нет-нет, милорд, если хотите, можете стоять.

Теперь Рочфорд не знает, подчиниться или упрямиться до конца. Ему остается подскочить на месте, схватить шляпу и выпалить:

— Мне жалко вас, господин секретарь! Если вам удастся избавиться от моей сестры, ваши новые друзья в два счета сотрут вас в порошок. Если Анна и король помирятся, это сделаю я. Куда ни кинь, вы сами себя переиграли, Кромвель.

— Я хотел поговорить с вами, милорд Рочфорд, — замечает он мягко, — потому что ваша сестра к вам прислушивается. Я обещаю вам спасение в обмен на содействие.

Старший Болейн закрывает глаза.

— Я с ней поговорю. Я сам поговорю с Анной.

— И с сыном. Ибо я взываю к нему в последний раз.

— Меня удивляет, Джордж, — говорит Уилтшир, — почему ты не видишь, откуда все идет.

— Что? — взвивается Джордж. — Что?

Он продолжает «чтокать», пока отец тянет его к двери. На пороге старший Болейн учтиво кивает:

— Господин секретарь. Господин Риотеслей.

Они смотрят, как те уходят: сын и отец.

— А кстати, — замечает Зовите-Меня, — откуда все идет, сэр?

Он перебирает бумаги.

— Я помню пьеску, поставленную при дворе вскоре после кончины кардинала, — продолжает Ризли. — Помню шута Секстона, переодетого в пурпурную мантию, и чертей, которые тащили его в преисподнюю, схватив за руки за ноги. Черти были в масках. Вероятно, Джордж…

— За правую руку, — говорит он.

— Вот как, — отзывается Ризли.

— Я зашел за кулисы и наблюдал, как они стягивали мохнатые шкуры, как лорд Рочфорд снял маску. Пошли бы со мной, сами бы все увидели.

— Нет уж, увольте, — улыбается Ризли. — Чего доброго, перепутали бы меня с актерами, и я бы потом не отмылся.

Он помнит смрад и зловоние, цвет рыцарства в роли охотничьих псов, жаждущих крови, двор, встретивший появление кардинала шиканьем и свистом. Помнит голос, раздавшийся среди

толпы: «Позор!»

— Это, случайно, не вы крикнули? — спрашивает он Ризли.

— Не я. — Зовите-Меня не лжет. — Может быть, Томас Уайетт?

— Да, Уайетт. Много лет я думаю об этом. Зовите-Меня, я должен увидеться с королем. Но прежде не выпить ли нам вина?

Мастер Ризли вскакивает, отправляется на поиски слуги. Свет отражается от горлышка оловянного кувшина, гасконское плещется в кубках.

— Я отдал Фрэнсису Брайану лицензию на ввоз французских вин, — говорит он. — Три месяца прошло. Ни чутья, ни вкуса. Не знал, что он перепродает вино в королевские погреба.

Он идет прямо к Генриху, расталкивая стражников, слуг, придворных. Входит, не дожидаясь, когда о нем доложат, и Генрих испуганно поднимает глаза от нот.

— Томас Болейн оказался сговорчив. Больше всего на свете он боится утратить ваше расположение. Однако его сын упорствует.

— Почему?

— Возможно, потому что дурак. Надеется, что ваше величество передумает.

Генрих уязвлен:

— Ему следовало бы знать меня лучше. Джордж при дворе с десяти лет. Я никогда не передумываю.

Так и есть. Словно краб, король движется к цели бочком, исподволь, и только потом вонзает клешни. Теперь Генрих нацелил их на Джейн Сеймур.

— Хотите знать, что я думаю о Рочфорде? — спрашивает король. — Сейчас ему года тридцать два, но он до сих пор — всего лишь сын Уилтшира и брат королевы. Он так и не остепенился, не родил наследника, даже дочери. Я сделал для него все, что мог. Сколько раз я посылал его за границу представлять меня. Теперь этому придет конец — когда он перестанет быть моим шурином, никто не захочет иметь с ним дело. Впрочем, бедность Джорджу не грозит. И я мог бы и в дальнейшем оказывать ему поддержку. Конечно, если он покорится моей воле. Должен ли я сам с ним поговорить?

Генрих раздражен. Не его дело — улаживать. Для этого есть Кромвель. Спровадить Болейнов — приблизить Сеймуров. А король станет молиться за успех кампании и писать любовные песенки Джейн.

— Подождем немного, сир. Дня через два я пого-

ворю с ним наедине, без отца. Думаю, присутствие лорда Уилтшира заставляет его хорохориться.

— Я редко ошибаюсь, — говорит Генрих. — Тщеславие, от него все беды. А теперь послушайте.

Король напевает:

Прелестны маргаритки,

Фиалки хороши,

Одной тебе я верен…

— Я переделываю старинную песенку. Не подскажете рифму к «хороши»? Отличную от «души»?

Как, еще и рифму? Он уходит. Свет факелов озаряет галереи, заставляя фигуры расплываться. Этим пятничным апрельским вечером двор напоминает ему римские публичные бани. Воздух сгущен, вокруг плавают люди, возможно, старые знакомцы, без одежды не разберешь. Тебя бросает то в жар, то в холод, плитки скользят под ногами. Двери с обеих сторон приоткрыты — совсем рядом, нужно лишь скосить глаза, — за ними неестественные сплетения тел, мужчины с женщинами, мужчины с мужчинами. От горячего пара и нового знания о человеческой природе голова кружится, и ты недоумеваешь: что привело тебя сюда? Считается, что хотя бы

раз в жизни каждый должен заглянуть в публичные бани, иначе никогда не поверишь тому, что рассказывают о здешних нравах.

— Честно говоря, господин секретарь, — произносит Мэри Шелтон, — я пришла бы и без приглашения.

Ее рука дрожит. Она делает глоток, пристально всматривается в вино на дне кубка, словно гадает, затем поднимает глаза с поволокой.

— Не хотела бы я снова пережить такой денек! Нэн Кобэм хочет с вами поговорить. А еще Марджори Хорсмэн. Все фрейлины королевы.

— Вы что-то знаете? Или просто хотите поплакаться? Размазать чернила на моих бумагах?

Мэри опускает кубок и протягивает руки, словно ребенок: смотри, чистые. Он тронут.

— Попробуем разобраться? — спрашивает он мягко.

Весь день в покоях королевы крики, грохот дверей, топот ног: разговоры вполголоса, с оглядкой.

— Я готова жить где угодно, только не при дворе, — говорит Шелтон, убирая руки. — Выйти замуж. Разве я хочу многого: выйти замуж и рожать детей, пока молода?

— Грех вам жаловаться. Я думал, вы собираетесь за Гарри Норриса.

— Я тоже так думала.

— До меня доходили слухи о вашей ссоре, но ведь с тех пор прошел год?

— Леди Рочфорд вам рассказала. Не слушайте ее, она все придумывает. Впрочем, это правда, я поссорилась с Гарри, или он со мной. А все из-за молодого Уэстона, который повадился торчать в покоях королевы. Гарри решил, что тот имеет на меня виды. Я тоже так думала, но, клянусь, я его не завлекала!

— Мэри, именно это вы и делали, — смеется он. — Вы обречены завлекать мужчин даже против воли.

— А Гарри Норрис возьми да и скажи: сейчас как врежу этому сосунку между ребер, чтобы знал, — хотя Гарри не из тех, кто лезет в драку. А королева, моя кузина, говорит: только не в моих покоях. Тогда Гарри сказал: с разрешения вашего величества я выволоку его во двор и там поколочу.

Мэри не в силах удержаться от жалкого смешка.

— Они обсуждали его, будто его там не было, а Фрэнсис стоял и слушал, а потом и говорит: хотел бы я посмотреть, как ты меня поколотишь, Норрис, в твои-то преклонные годы, ты и на ногах-то

держишься с трудом…

— Мистрис, нельзя ли покороче?

— И так они пререкались, и пихались, и бранились битый час, а миледи королева только знай их подначивать. А потом Уэстон и говорит: уймись, Добрый Норрис, я здесь из-за другой, и ты прекрасно знаешь, из-за кого. Нет-нет, я не знаю, говорит Анна, скажите нам. Леди Вустер? Или леди Рочфорд? Не таитесь, Фрэнсис, признайтесь, кто дама вашего сердца. А он говорит: это вы, мадам.

— И что ответила королева?

— О, она разгневалась, налетела на него, велела никогда больше так не говорить, а то ее брату Джорджу придется поколотить его ради чести королевы Англии. А еще она все время смеялась. Потом Гарри Норрис стал пререкаться со мной из-за Уэстона, а Уэстон с ним из-за королевы. И оба они спорили с Уильямом Брертоном.

— А этот откуда взялся?

— Он как раз вошел… — Мэри хмурится. — Кажется, это было в тот раз… или в другой, не важно. И королева сказала: вот мужчина для меня, Уилл вам не чета, он не станет кривить душой. Но она мучила и дразнила их всех. Анну не разберешь: то читает вслух мастера Тиндейла, то открывает

рот, а оттуда торчит дьявольский хвост.

С тех пор, если верить Шелтон, проходит год. Гарри Норрис и мистрис Шелтон мирятся, и Гарри смиренно приползает в ее постель. Все возвращается на круги своя до сегодняшнего дня. Двадцать девятого апреля.

— Началось все с Марка, — рассказывает Мэри Шелтон. — Этот Марк вечно слоняется рядом с опочивальней. А она, проходя мимо, то засмеется, то потянет его за рукав, то толкнет под локоть, а однажды выдернула перо у него из шляпы.

— Первый раз слышу о таких любовных играх, — замечает он. — Должно быть, они в обычае у французов?

— А сегодня утром она говорит, только посмотрите на этого щеночка. Взъерошила ему волосы, потянула за уши — у дурачка от удивления глаза на лоб полезли. Почему ты такой грустный, Марк, твое дело веселить нас, а не грустить. Он хотел упасть на колени, но она не позволила. Ради Святой Девы, стой на месте, я оказала тебе честь, почтив своим вниманием, а ты решил, что я удостою тебя разговором, словно ты джентльмен, а не простолюдин. Нет, нет, мадам, говорит Марк, я не смею надеяться на ваше доброе слово, мне достаточно взгляда. И она замолчала, ждет, когда

он начнет восторгаться ее взглядом, говорить, что ее глаза, словно магниты, и прочее в том же духе. А он просто разрыдался, сказал: «Прощайте», и убежал, а она знай себе смеется. Потом мы вошли в опочивальню.

— Нельзя ли покороче?

— Анна спросила: неужто он вообразил, будто я одна из этих… которые в Пэрис-гарден, ну, этих…

— Я слыхал про Пэрис-гарден.

Она вспыхивает:

— Да-да, конечно. В опочивальне леди Рочфорд сказала: этого Марка надо вышвырнуть из окна, как вашу собаку Пуркуа. Тогда королева заплакала и ударила леди Рочфорд, а та ей говорит: следующий раз я дам сдачи, вы не королева, а просто дочь рыцаря, господин секретарь Кромвель найдет на вас управу, кончилась ваша власть, мадам.

— Леди Рочфорд болтает лишнее, — говорит он.

— Потом вошел Гарри Норрис.

— А я все думаю, куда он запропастился.

— Вошел и спрашивает: что за шум? Анна говорит: окажите мне любезность, утопите мою невестку, тогда брат найдет жену посвежее, от которой будет больше проку. Гарри Норрис так и

остолбенел. А Анна все не угомонится, говорит: разве вы не клялись, что сделаете все, о чем я ни попрошу? Что ради меня готовы дойти босиком до Китая? А Гарри — вы же знаете, ему только дай повалять дурака — отвечает: не до Китая, а всего лишь до Уолсингема. Раз уж вы решили совершить паломничество, говорит Анна, то заодно покайтесь в грехах, покайтесь, что заритесь на вдову, если с королем случится что-нибудь нехорошее.

Он хочет записать слова Шелтон, но не смеет шевельнуться, боится, что она замолчит.

— Затем королева оборачивается ко мне и говорит: теперь вы понимаете, мистрис Шелтон, почему он на вас не женится? Он любит меня, в чем клялся неоднократно, а как дошло до дела, отказывается засунуть в мешок леди Рочфорд и зашвырнуть в реку. Тут леди Рочфорд выбежала из опочивальни.

— Ее нетрудно понять.

Мэри поднимает глаза:

— Вы смеетесь, а мне было не до смеха. Я думала, они шутят насчет Гарри Норриса, а оказалось, нет. Клянусь, он стал белый как полотно и спрашивает: вы решили выболтать все ваши секреты или только некоторые? А потом вышел и даже не

поклонился, а она бросилась за ним. Не знаю, что она ему сказала, потому что мы словно вросли в пол.

Выболтать секреты. Все или некоторые.

— Кто слышал ее слова?

Она трясет головой:

— Человек десять. Не могли же мы заткнуть уши!

А потом королева впала в ярость.

— Она сказала, нужно вернуть Гарри, позвать священника, и что Гарри должен засвидетельствовать ее целомудрие и верность. Сказала, что они оба должны взять свои слова обратно и присягнуть на Библии, и тогда все поймут, что их речи — пустой вздор. Она испугалась, что леди Рочфорд пойдет к королю.

— Джейн Рочфорд любит разносить злые вести, но не эту.

Не мужу. Она не посмеет сказать королю, что старый друг и верная жена обсуждали, как будут утешать друг друга после его смерти.

Это измена. Возможно. Думать о смерти короля. Закон признает: путь от мечты до замысла, от замысла до деяния недолог. Мы называем это «помышлением»: мысль производит на свет деяние, деяние рождается безобразным и недо-

ношенным.

Мэри Шелтон не сознает, чему стала свидетельницей. Она решила, что наблюдает ссору любовников, еще один эпизод в долгой истории ее сердечных неудач.

— Теперь я сомневаюсь, — произносит она вяло, — что Гарри Норрис на мне женится или станет и дальше притворяться, будто впрямь собирался. Спроси вы меня неделю назад, не благоволит ли к нему королева, я ответила бы «нет», но теперь, когда я смотрю на них, мне становятся понятны слова, взгляды и, кто знает, возможно, не только взгляды? Я… я думаю… не знаю, что и думать.

— Хотите, я женюсь на вас, Мэри? — спрашивает он.

Она нехотя смеется:

— Нет, господин секретарь. Вы вечно обещаете жениться то на одной, то на другой, но всем известно, что вы мните себя великим призом.

— А, вот мы и вернулись в Пэрис-гарден. — Он пожимает плечами, улыбается, но ему уже не терпится отделаться от Мэри Шелтон. — Запомните: никому ни слова. Теперь вам и остальным фрейлинам следует подумать о том, как себя защитить.

Мэри не сдается:

— Я не хотела ничего плохого. Если королю расскажут, он ведь разберется? Может быть, решит, что все это пустые слова? Я не поручусь, что знаю наверняка. Да и кому ведомо, что между ними было? Я не присягну, что знаю…

Присягнешь и скоро, думает он.

— Понимаете, ведь Анна — моя кузина. — Мэри замолкает. — Я ей многим обязана, она столько для меня сделала…

Например, подтолкнула в королевские объятия, когда сама была на сносях, усмехается он про себя: нельзя отпускать Генриха из семьи.

— Что ее ждет? — Мэри смотрит ему прямо в глаза. — Он бросит ее? Так все говорят, но Анна не верит.

— Ей не следует быть такой самонадеянной.

— Она говорит: я знаю, как вернуть его. Сами видите, до сих пор у нее получалось. Но как бы ни сложилось с Гарри Норрисом, я все равно от нее уйду. Анна, не моргнув глазом, отнимет его у меня, если уже не отняла. Негоже благородной женщине позволять так с собой обращаться. Леди Рочфорд тоже не останется. Джейн Сеймур убрали, потому что… не моего это ума дело. А леди Вустер на лето уедет в поместье, ей скоро

рожать.

Он наблюдает, как бегают ее глаза, прикидывая, просчитывая. Больше всего Мэри заботит, чтобы покои королевы не опустели.

— Ничего, в Англии хватит благородных девиц. Она начнет все сначала, да, все сначала. Леди Лайл пришлет своих дочерей из Кале, от первого брака. Они пригожие девицы, и, если их обучить, из них выйдут хорошие фрейлины.

Похоже, Анна Болейн и впрямь их околдовала: мужчин, женщин. Они не видят того, что происходит вокруг, не слышат того, что говорят. Они погрязли в собственной тупости.

— Напишите Хонор Лайл, — велит ему Мэри с превосходной самонадеянностью. — Если вы пристроите ее дочерей ко двору, она вечно будет у вас в долгу.

— А как же вы? Что станется с вами?

— За меня не беспокойтесь.

Мэри не умеет долго отчаиваться. Именно это привлекает к ней поклонников. Придут новые времена, новые мужчины, новые порядки. Она вскакивает, чмокает его в щеку.

Вечер субботы.

Воскресенье.

— Где ж вы были утром? — Леди Рочфорд распи-

рает от нетерпения. — На это стоило посмотреть! Король и Анна стояли у большого окна, и весь двор глазел на них снизу. Король знает о ссоре с Норрисом, да что там, теперь о ней знает вся Англия! Видели бы вы короля — весь пунцовый. А она стояла, прижав к груди руки, вот так… — Леди Рочфорд показывает. — Словно Эсфирь на большой королевской шпалере.

Он видит перед собой картину: шерстяные придворные вьются вокруг расстроенной госпожи. Одна из служанок как ни в чем не бывало спешит в царицыны покои с лютней в руках, прочие шепчутся по углам: женщины задрали лица, мужчины склонили головы. Напрасно он ищет себя между разряженных придворных в пышных шляпах. Вероятно, он где-то в другом месте, что-то распутывает: обрывки нитей, упрямые узелки.

— Эсфирь, — поизносит он. — Понятно.

— Анна послала за принцессой, — продолжает леди Рочфорд, — вырвала ее из рук кормилицы и подняла вверх, словно отвечая королю: «Муж мой, неужели ты сомневаешься, что она твоя?»

— Вы можете только предполагать, каков был его вопрос. Вряд ли вы разобрали слова.

Он слышит собственный голос и удивляется его холоду.

— Там, где я стояла, было не слышно. Но все равно ей несдобровать!

— И вы не бросились ее утешать? Разве она не ваша госпожа?

— Нет, я побежала искать вас.

Леди Рочфорд берет себя в руки и говорит очень серьезно:

— Мы, ее фрейлины, желаем себя обелить. Мы думаем, королева не честна, и боимся, что нас обвинят в попустительстве.

— Летом, не прошлым, два года назад, вы сказали мне, что королева одержима мыслью о ребенке и боится, что король не способен подарить ей дитя. Сказали, что он не удовлетворяет ее. Вы готовы повторить свои слова?

— Странно, что тогда вы за мной не записали.

— Разговор был длинным, и, при всем уважении, миледи, вы изъяснялись намеками. Мне нужно знать, что вы скажете, когда вас приведут к присяге.

— А кого будут судить?

— Именно это я надеюсь выяснить. С вашей помощью.

Он слушает себя словно со стороны. С вашей помощью. Вас никто не обвиняет. За исключением его величества.

— Про Норриса и Уэстона вы знаете, — говорит она. — Они сами признались в любви к ней. Так вот, они не единственные.

— Возможно, прочие лишь проявляли галантность?

— Шныряя вокруг по ночам? С лодки на лодку. В калитку при свете факелов, подкупая привратников. Это продолжается больше двух лет. Они появляются в самых неожиданных местах. Чтобы вывести их на чистую воду, нужно постараться. — Она замолкает, хочет убедиться, что он внимательно слушает. — Допустим, двор в Гринвиче. Некий джентльмен состоит при короле, его поручение исполнено, он может убираться восвояси, а ты возвращаешься к королеве и застаешь его в темном углу. Что он здесь забыл? Норрис, вы ли это? Сколько раз я думала, кто-то из них в Вестминстере, а он оказывался в Ричмонде. Или в Гринвиче, когда должен быть в Хэмптон-корте.

— Если они делили обязанности, это еще не повод их подозревать.

— Я не об этом, господин секретарь. Дело не во времени — в месте. Галерея рядом с покоями королевы, ее передняя, ее порог, садовые ступени, калитка, которую забыли запереть. — Джейн наклоняется и касается кончиками пальцев его

руки, лежащей поверх бумаг. — Они приходили и уходили среди ночи, а если попадались кому-нибудь на глаза, говорили, что у них тайное послание от короля.

Он кивает. Одна из обязанностей джентльменов, состоящих при короле, — передавать устные послания сановникам, иностранным послам и, разумеется, королеве. Их не принято расспрашивать — они не обязаны ни перед кем отчитываться.

Леди Рочфорд откидывается назад и мягко замечает:

— Прежде чем они поженились, она занималась этим с Генрихом на французский манер. Вы понимаете, о чем я?

— Понятия не имею. Вы бывали во Франции?

— Нет, я думала, вы бывали.

— На войне. Между солдатами ars amatoria[15] не в ходу.

Она пристально разглядывает его, суровея лицом.

— Вы хотите опозорить меня, заставив произнести то, что мне придется произнести, но я не юная девственница, мне терять нечего. Она

---

[15] Примечания: 15
Искусство любви (лат.).

понуждала Генриха изливать свое семя не туда, куда следует. И теперь он не может простить ей.

— Упущенные возможности, понимаю.

Семя, излитое королем в иные отверстия тела или в глотку. Вместо того чтобы отыметь королеву на честный английский манер.

— Король считает это мерзостью. Но Генрих, чистая душа, храни его Господь, не ведает об иных мерзостях. Мой муженек Джордж не отходит от Анны. Впрочем, я уже вам рассказывала.

— Они родственники, в этом нет ничего противоестественного.

— По-вашему, ничего?

— Миледи, я понимаю, вы хотели бы считать братскую любовь, а равно и супружескую холодность преступлением, но мне нечем вас утешить — перед законом они чисты. — Он медлит. — Поверьте, я исполнен сочувствия к вашим бедам.

Ибо что остается женщине вроде Джейн Рочфорд, если все на свете против нее? Вдове со средствами легко жить своим умом, жене торговца — усердно управлять мужниным делом, откладывая золото про запас. Простая горожанка, которую побивает благоверный, может подговорить крепких дружков, чтобы те стучали в сковороды у нее под дверью среди ночи, пока

небритый муженек не выскочит на улицу в одной рубахе, которую они не преминут задрать, чтобы осмеять его жалкий уд. Но молодой благородной женщине негде искать защиты. Власти у нее не больше, чем у бессловесной ослицы, одна надежда, что хозяин не слишком часто станет пускать в ход хворостину.

— Ваш отец, лорд Морли, ученый человек, весьма мной почитаемый. Вы не пробовали обратиться к нему?

— Зачем? — В голосе леди Рочфорд сквозит презрение. — Когда мы поженились, он сказал, что сделал для меня все, что мог. Все отцы таковы. Он отдал меня за Болейна, как сбыл бы с рук борзого щенка. Теплая конура и миска с объедками — что еще нужно? Вы же не спрашиваете скотину о ее желаниях.

— Вы никогда не думали, что ваш брак можно расторгнуть?

— Нет, господин Кромвель. Мой отец все предусмотрел, вам ли не знать, вы же числите себя его другом. Никаких обручений, никаких помолвок. Даже вам с Кранмером не удалось бы признать наш брак недействительным. В день свадьбы Джордж сказал мне прямо за столом: я делаю это только потому, что мне велел отец. Самые

подходящие слова для двадцатилетней девушки, грезящей о любви. Я не смолчала и ответила ему в таком духе, что, если бы отец меня не заставил, я бы к вам близко не подошла, сэр. А когда потушили огни, нас уложили в постель. Он протянул руку и принялся теребить мою грудь, приговаривая, что видал и получше, а повидал он немало. А потом велел мне лечь и раздвинуть ноги. Исполним наш долг, сказал он, подарим моему отцу внука, и если родится сын, будем жить порознь. А я ответила: делай что хочешь, если сумеешь, даст Бог, семена попадут в рыхлую почву и приживутся, а потом забирай свою мотыгу и чтобы я больше ее не видела. — Она хихикает. — Но вы же знаете, я бесплодна. Или они хотят, чтобы я так думала. А может быть, у моего мужа дурное или негодное семя? Видит Бог, где только Джордж его не оставляет. О, он ведь евангелист, святой Матфей направляет его, святой Лука защищает. На свете нет более праведного человека, чем Джордж, единственное, чего Господь не предусмотрел, это снабдил человеков слишком малым количеством отверстий. Если Джордж встретит женщину, у которой манда под мышкой, то возблагодарит Создателя, подыщет для нее дом и станет наведываться к ней каждый день, пока

ему не прискучит. Для Джорджа нет ничего святого. Он не постесняется покрыть суку терьера, если та вильнет хвостом и скажет: «гав-гав».

Он теряет дар речи. Теперь ему никогда не отделаться от навязчивой картины: Джордж, отважно совокупляющийся с терьерихой.

— Я боюсь, что он заразил меня чем-то нехорошим, поэтому я не могу понести дитя. Что-то разрушает меня изнутри и когда-нибудь сведет в могилу.

Когда-то леди Рочфорд просила его вскрыть тело, если она умрет внезапно. Тогда она боялась, что муж отравит ее, нынче уверена, что давно отравил. Вам пришлось несладко, миледи, тихо говорит он.

— Однако какой в этом прок? Если Джордж знает о королеве то, что стоит узнать королю, я вызову его свидетелем, но сомневаюсь, что он откроет рот. Брат не станет свидетельствовать против сестры.

— Я не об этом, — отзывается леди Рочфорд. — Я утверждаю, что он бывает в ее спальне, с ней наедине, когда двери заперты.

— Они беседуют?

— Я стояла под дверью, но голосов не слышала.

— Возможно, молятся?

— Я видела, как они целовались.

— Брату и сестре целоваться не возбраняется.

— Но не так!

Он берется за перо.

— Леди Рочфорд, я не могу записать: «Он целует ее не так».

— Его язык был у нее во рту, а ее язык — во рту у него.

— Вы хотите, чтобы я это записал?

— Вы не доверяете собственной памяти?

Если подобное всплывет на суде, думает он, в городе начнутся волнения — все равно что сказать в парламенте, что епископы совокупляются прямо на своих скамьях.

Он ждет, перо медлит над бумагой.

— Что заставило королеву пойти против природы?

— Так легче править, неужели не понимаете? Ей повезло с Елизаветой, девочка похожа на нее. Вообразите, если бы родился мальчик с лицом, вытянутым, как у Уэстона? Или как две капли воды похожий на Уилла Брертона? Что сказал бы король? Однако никто не осмелится назвать ребенка незаконнорожденным, если он похож на Болейнов.

Еще и Брертон. Он делает пометку, вспомина-

ет, как однажды Брертон зло пошутил, что он, Кромвель, бывает одновременно в двух местах. Пришла моя очередь смеяться.

— Чему вы улыбаетесь? — спрашивает леди Рочфорд.

— Я слышал, любовники королевы позволяли себе рассуждать в ее покоях о смерти короля. Джордж был среди них?

— Если бы Генрих услышал, как они смеются над его мужскими достоинствами, он бы этого не вынес.

— А теперь хорошенько подумайте о последствиях. Если вы дадите показания против мужа в суде или в совете, от вас многие отвернутся.

Можно подумать, сейчас я окружена друзьями, читается на лице леди Рочфорд.

— Мне не в чем себя упрекнуть, — говорит она вслух. — Вся ответственность — на вас, господин секретарь. Я не самая умная, не самая проницательная женщина, а вы — это вы, вы умеете проворачивать дела и не упустите своего. Все решат, что вы заставили меня признаться.

Осталось сказать немногое.

— Чтобы все и дальше так думали, вам придется скрывать свои истинные намерения и на людях изображать печаль. А когда Джорджа заключат

под стражу, обратитесь к королю с прошением о помиловании.

— Непременно. — Джейн Рочфорд высовывает язычок, словно хочет ощутить сладость мгновения на вкус. — Мне ничего не грозит, король не откликнется.

— Прислушайтесь к моему совету: ни с кем не говорите.

— Прислушайтесь к моему: поговорите с Марком Смитоном.

— Я собираюсь в Стипни. Приглашу Марка на ужин.

— Почему бы вам не принять его прямо здесь?

— Здесь сегодня и так хватает суеты, не находите?

— Суеты? Пожалуй.

Он смотрит ей вслед. Не успевает дверь за леди Рочфорд закрыться, как в комнате оказываются Рейф и Зовите-Меня. Бледные, сосредоточенные, спокойные: значит, не подслушивали, отмечает он про себя.

— Король повелел начать расследование, — объявляет Ризли. — Проявляя благоразумие, но не затягивать. После ссоры в спальне королевы пошли толки, и он вынужден прислушаться. Не подпускает к себе Норриса.

— Эти джентльмены из королевской опочивальни, они думали, им все сойдет с рук, — подхватывает Рейф. — Говорят, королева спокойна. Завтрашний турнир никто не отменял.

— Знаешь что, Рейф, — говорит он, — сходи к Ричарду Сэмпсону, скажи, что, entre nous[16], дело приняло новый оборот. Возможно, нам не придется доказывать, что брак короля с Анной не имеет законной силы. Теперь королева не в том положении, чтобы торговаться. Козырей у нее не осталось. Думаю, Генри Норрису несдобровать. Уэстону. Ах да, еще Брертону.

Рейф поднимает брови.

— Королева с ним едва знакома.

— Кажется, он завел дурную привычку входить в неподходящее время.

— Вы так спокойны, сэр, — говорит Зовите-Меня.

— Учитесь.

— Что сказала леди Рочфорд?

Он хмурится.

— Прежде чем отправишься к Сэмпсону, Рейф, присядь во главе стола. Вообрази себя королевским советом на тайном заседании.

---

[16] Примечания: 16
Между нами (фр.).

— Целиком, сэр?

— Норфолк, Фицуильям и остальные. Теперь вы, Ризли. Вы — фрейлина королевы. Не смущайтесь. Поклонитесь, благодарю вас. Я буду пажом, который подаст вам табурет. И подушку. Присаживайтесь и улыбнитесь советникам короля.

— Как скажете. — Поначалу Рейф колеблется, но вскоре игра захватывает его, юноша наклоняется, игриво треплет Ризли по щеке. — С чем вы пришли к нам, благородная госпожа? Поведайте, что скрывают эти алые уста.

— Прекрасная дама утверждает, — говорит он, Кромвель, сопровождая свои слова взмахом руки, — что королева поступает опрометчиво и предосудительно. Поведение Анны заставляет подозревать ее в порочных наклонностях, пусть даже свидетелей ее проступков нет.

Рейф хмыкает:

— Возникает вопрос, мадам, почему вы молчали до сих пор?

— Порочить королеву — измена. — Язык у мастера Ризли подвешен хорошо, поток девичьих откровений льется легко и свободно. — Мы были вынуждены покрывать ее. Что нам оставалось? Лишь взывать к ее чести, убеждая оставить неправедный путь. Она запугала нас, ревновала

к каждому кавалеру, угрожая бесчестьем любой, кто выказал слабость и оступился — не важно, почтенной матроне или юной девушке, возьмите хоть Элизабет Вустер.

— В конце концов вы не выдержали и решили во всем признаться? — спрашивает Рейф.

— А теперь ударьтесь в слезы, Ризли, — подсказывает он.

— Считайте, дело сделано. — Зовите-Меня прячет лицо в ладонях.

— Вот так спектакль, — вздыхает он. — Хотел бы я сбросить личину и оказаться дома.

Шон Мадок, лодочник в Виндзоре: «Она балуется с братом».

Терстон, его повар: «Они стоят у двери в рядок, наяривают свое добро».

Он вспоминает слова Томаса Уайетта: «У Анны такая тактика, она говорит: да, да, да, а потом сразу — нет… А хуже всего ее намеки, почти похвальба, что она говорит “нет” мне и “да” другим».

Сколько у Анны было любовников? «Десять? Ни одного? Сто?»

Он, Кромвель, считал Анну ледышкой, женщиной, которая выставила свою девственность на продажу и получила за нее самую высокую цену.

Однако такой она была до замужества. До того как Генрих взгромоздился сверху, потом слез с нее и удалился в свои покои: тени свечей пляшут на потолке, шепот фрейлин, таз с теплой водой, кусок ткани. Она подмывается, в ушах голос леди Рочфорд:

— Осторожно, мадам, не вымойте принца Уэльского.

И снова темнота, простыни пропахли мужским потом, бестолковая служанка сопит и ворочается на тюфяке: Анна один на один с дворцовыми и речными шорохами. Она говорит, никто не отвечает, только девчонка бормочет во сне; молится, и снова нет ответа; она поворачивается на бок, оглаживает бедра, касается грудей.

А если однажды, да, да, да, да? Любому, кто окажется под рукой, когда лопнет нить ее добродетели? Пусть даже собственному брату?

— Я услышал сегодня такое, чего не чаял услышать в христианской стране, — говорит он Рейфу, Зовите-Меня.

Двое молодых джентльменов ждут, не сводят глаз с его лица.

— Я все еще в роли дамы или могу сесть и взять перо? — спрашивает Ризли.

Что мы делаем, думает он, тут, в Англии. По-

сылаем сыновей в чужие дома, и нередко брат с сестрой вырастают, не зная друг друга, а повзрослев, встречаются, словно в первый раз. Обворожительный незнакомец, зеркальное отражение тебя. Ты влюбляешься: на вечер, на час, а после обращаешь все в шутку, но чувства никуда не делись. Эти чувства заставляют мужчин быть мягче с женщинами, которые от них зависят. Но если пойти дальше, посягнуть на запретную плоть, шагнуть через пропасть, разделяющую мысль и действие? Священники говорят, что от искушения до греха рукой подать, только это неправда. Вот ты целуешь девичью щеку, а вот уже кусаешь прелестницу в шею? Называешь ее милой сестричкой, а после разворачиваешь и задираешь юбки? Так не бывает. Тебе придется пройти через эти комнаты, расстегнуть эти крючки. Ты не лунатик. Нельзя прелюбодействовать, не ведая, что творишь. Тебе придется взглянуть на ту, с кем согрешил. Ибо она не прячет лица.

Впрочем, возможно, леди Рочфорд *лжет*. С нее станется.

— Меня непросто смутить, — говорит он, — но сейчас я в затруднении, ибо мне приходится иметь дело с предметами, о коих я не решаюсь рассуждать вслух. Я могу говорить о них лишь

намеками, однако намеки не годятся для обвинительного заключения. Я похож на шарлатана, который показывает уродцев на ярмарках.

Подвыпившие крестьяне вечно недовольны тем, что им подсовывают за их кровные денежки. Находятся и те, кто выражает неодобрение вслух:

— Да разве ж это уродец? Особливо супротив моей тещи.

Их сторонники в толпе одобрительно хлопают смельчаков по плечу и фыркают.

Тише-тише, земляки, успокаиваете вы особо рьяных, это вам для затравки. Еще одно пенни — и я покажу то, что храню в дальнем углу балагана. От этого зрелища содрогнутся самые стойкие! Сами увидите, нечистый потрудился на славу.

Они смотрят, блюют на собственные башмаки. А ты пересчитываешь монеты и запираешь их в сундук.

Марк в Стипни.

— Он принес инструмент, — говорит Ричард. — Лютню.

— Скажи, пусть уберет.

Если Марк и был весел, то теперь погрустнел и смотрит с подозрением.

— Я думал, сэр, меня позвали развлечь вас, —

говорит с порога.

— Так и есть.

— Решил, соберется большое общество.

— Вы знакомы с моим племянником, мастером Ричардом Кромвелем?

— В любом случае я с радостью для вас сыграю. Может быть, вы хотите, чтобы я послушал ваших детей-певчих?

— Не сегодня. В сложившихся обстоятельствах, боюсь, вы их перехвалите. Лучше присядьте и выпейте с нами вина.

— С вашей стороны было бы истинным благодеянием порекомендовать нам хорошего музыканта, умеющего играть на ребеке, — говорит Ричард. — Наш вечно пропадает в Фарнеме, где осталась его семья.

— Бедный мальчик тоскует по дому, — произносит он по-фламандски.

— Не знал, что вы говорите на моем языке. — Марк удивленно поднимает глаза.

— Охотно верю. Иначе были бы осмотрительнее, рассуждая обо мне вслух.

— Уверяю вас, сэр, я не имел в виду ничего дурного.

Марк забыл слова, но, судя по лицу, помнит, что в выражениях не стеснялся.

— Вы предсказали, что меня повесят. — Он разводит руками. — Как видите, я жив, здоров, но пребываю в затруднении. И, несмотря на вашу нелюбовь ко мне, мне больше не к кому обратиться. Я прошу вас о милости.

Марк сидит, спина прямая, губы слегка разжаты, носок одного башмака смотрит на дверь, — больше всего на свете юноша хотел бы оказаться подальше отсюда.

— Видите ли, Марк, — он складывает ладони, словно перед статуей святого, — ни для кого не тайна, что мой господин король и моя госпожа королева в ссоре. И все, чего я хочу, — помирить их ради блага королевства.

Надо отдать ему должное: мальчишка не робкого десятка.

— А при дворе ходят слухи, что вы сблизились с врагами королевы, господин секретарь.

— Для того лишь, чтобы проникнуть в их замыслы.

— Верится с трудом.

Ричард ерзает на стуле.

— Настали тяжелые времена, — продолжает он. — С тех пор как закатилась звезда кардинала, не припомню такой напасти. Я не в обиде, Марк, что вы мне не доверяете — нынче доверие не в

чести. Я обращаюсь к вам потому, что вы близки к королеве, а другие джентльмены не станут мне помогать. Я могу щедро вознаградить вас, если вы намекнете, что тревожит королеву. Поняв, в чем причина ее страданий, я сумею их исцелить. Пока душа королевы неспокойна, едва ли она произведет на свет наследника. А если это случится, ах, тогда наши слезы высохнут.

Марк поднимает глаза.

— Стоит ли удивляться, что она страдает? — произносит юноша. — Королева влюблена.

— В кого?

— В меня.

Он, Кромвель, подается вперед, ставит локти на стол, прячет лицо в ладонях.

— Вы сражены, — предполагает Марк.

«Если бы только это! Я думал, придется попотеть, но все оказалось куда проще. Все равно что срывать цветы на поляне».

Он опускает руки и широко улыбается:

— Вовсе нет. Ибо я наблюдал за вами, подмечал ее жесты, взгляды, иные проявления благосклонности. Если королева вела себя так на людях, то что позволяла себе наедине? Полагаю, женщины от вас без ума. Вы очень привлекательный юноша.

— Честно говоря, мы считали вас содомитом, — вставляет Ричард.

— Что еще за выдумки, сэр! — Марк заливается краской. — Я умею все, что умеет любой мужчина!

— Выходит, королеве пришлись по душе ваши умения? — спрашивает он с улыбкой. — Она испытала вас в деле и сочла достойным своей милости?

Взгляд юноши скользит, словно шелковая материя по стеклу.

— Не стану я это обсуждать.

— Разумеется. Но что мешает нам сделать собственные выводы? Королева — женщина опытная и вряд ли соблазнится неумехой.

— Мы, простолюдины, — говорит Марк, — кой в чем не уступаем благородным господам.

— Неудивительно, что благородные господа предпочитают скрывать от дам эту истину.

— Иначе, — подхватывает Ричард, — все герцогини только и резвились бы в лесу с дровосеками.

Он не может удержаться от смеха.

— Вот только герцогинь на свете изрядно меньше, чем дровосеков. Пришлось бы устроить состязание.

Марк смотрит на него, словно он изрек некую священную тайну.

— Хотите сказать, у королевы были еще любовники? Я никогда ее не спрашивал, я бы не посмел, но я знаю, они ревновали ко мне.

— Возможно, старые любовники ей опостылели? А Марк тут как тут. — Со знаменитой кромвелиевской прямотой Ричард спрашивает: — Сколько раз?

— Должно быть, удобный случай представляется редко, — вставляет он. — Даже если фрейлины в сговоре.

— Фрейлины меня не любят, — говорит Марк. — Они станут отрицать мои слова. Им по душе Уэстон, Норрис, прочие господа. Я для них — пустое место, они гладят меня по голове и называют мальчиком на побегушках.

— Королева — ваш единственный друг, — говорит он, — зато какой! — Он делает паузу. — А теперь вы должны перечислить остальных. До сих пор вы назвали двоих.

Марк поднимает глаза, потрясенный тем, как изменился его тон.

— Ну же, перечислите всех. И отвечайте мастеру Ричарду. Сколько раз?

Под его взглядом Марк каменеет. Что ж, во

всяком случае, у мальчишки был звездный час: удивить господина секретаря под силу немногим, по крайней мере из живых.

Он ждет.

— Возможно, вы правы, не доверяя словам. Хотите изложить ваше признание на бумаге? Должен сказать, Марк, мои клерки будут потрясены не меньше меня, наверняка даже наставят клякс. Думаю, ваши успехи поразят и королевский совет. Многие благородные господа будут вам завидовать. Едва ли вы дождетесь от них жалости. «Смитон, открой нам свой секрет!» — велят они, а вы зардеетесь и промямлите: ах, джентльмены, я не осмелюсь. Но вы осмелитесь, Марк, потому что вас заставят. Вы выложите все, сами или по принуждению.

Он отворачивается от Марка.

Юношу бьет дрожь: пять минут похвальбы в одной бессмысленной жизни и, словно раздраженные торговцы, боги выставляют счет. До сих пор Марк жил в мире грез. В нем прекрасная принцесса однажды слышит звуки неземной красоты, выглядывает из окна замка и видит в лунном свете скромного музыканта с лютней. Впрочем, если под личиной музыканта не скрывается принц, историю ждет печальный финал.

Мечта разбита, дверь открывается, вокруг хмурые лица — Стипни, теплые сумерки в начале весны, птичьи трели умолкли, где-то гремят засовы, табурет скрипит по полу, собака лает за окном, Томас Кромвель говорит:

— Нам давно пора ужинать, так что приступим без промедления, вот чернила и бумага. А это мастер Ризли, он будет записывать.

— Я не стану называть имен, — говорит юноша.

— Вы хотите сказать, кроме вас, у королевы не было любовников? Она вас обманула, Марк. Что меня не удивляет, ведь ей удалось обвести вокруг пальца самого короля.

— Нет. — Марк трясет головой. — Она чиста. Сам не знаю, что на меня нашло.

— Я тоже не знаю. Никто вас не неволил. Не принуждал, не обманывал. Вы сами все рассказали. Мастер Ричард может засвидетельствовать.

— Я беру свои слова обратно.

— Не получится.

Пауза, в темноте очертания комнаты расплываются, фигуры занимают места в пространстве сумерек.

— Я озяб, дайте огня, — говорит господин секретарь.

Простое указание, однако Марк решает, что огонь несут по его душу и сейчас его сожгут. Юноша вскакивает с места и бросается к двери, пожалуй, первая здравая мысль за весь вечер, да только Кристоф, сама любезность и добродушие, разворачивает его обратно.

— А ну-ка сядь, красавчик.

Поленья уложены, но огонь не хочет заниматься. Наконец раздается привычный треск, и слуга удаляется, вытирая руки о фартук. Марк тоскливо смотрит ему вслед, завидуя последней кухонной служанке или мальчишке, который драит ночные горшки.

— Ах, Марк, — вздыхает господин секретарь, — мне говорили, тщеславие — грех, хотя чем тщеславие отличается от тех даров, коими мы, как учит Святое Писание, обязаны служить? И вот мы здесь, оба — кардинальские слуги. Если бы кардинал увидел нас вместе, то верно бы удивился. Впрочем, к делу. Кто сменил вас в постели королевы? Норрис? Или у вас, доверенных слуг, было свое расписание?

— Я ничего не знаю. Я беру свои слова обратно. Я не стану называть имен.

— Несправедливо, если вам придется страдать одному. Ибо вина остальных несравнима с вашей.

Король приблизил их к себе и осыпал милостями, они образованны и знатны, некоторые — в летах, в то время как вы молоды и простодушны и заслуживаете жалости не меньше, чем порицания. А теперь расскажите, как прелюбодействовали с королевой, и об отношениях королевы с другими мужчинами. Если ваше признание будет скорым, полным, ясным и подробным, возможно, король проявит милосердие.

Едва ли Марк его слышит. Руки и ноги трясутся, юноша задыхается, глотает слезы и слова. Теперь главное не перемудрить: ясные вопросы, точные ответы.

— Вы видите этого человека? — спрашивает Ричард.

Кристоф показывает на себя, на случай если Марк не понял.

— Приятный малый, не правда ли? Можем оставить вас наедине на десять минут.

— Хватит и пяти, — отзывается Кристоф.

— Марк, мастер Ризли запишет то, что мы скажем, — вступает в разговор он, — но не то, что сделаем. Вы меня понимаете? Никто ничего не узнает.

— Пресвятая дева, помоги мне, — вырывается у Марка.

— Мы можем отвести вас в Тауэр, на дыбу, — говорит Ризли.

— Ризли, позвольте вас на минуту? — Он знаком велит Зовите-Меня выйти и за дверью обращается к нему вполголоса: — Никогда не упоминайте заранее о природе боли. Как говорил Ювенал, нет мучителя страшней разума. К тому же все это пустые угрозы. Я не пошлю Марка на дыбу. Не хочу, чтобы его принесли в суд на руках. Пытать этого несчастного — все равно что травить мышонка.

— Вы меня устыдили, — говорит Ризли.

Он кладет руку на плечо Зовите-Меня.

— Не важно, вы держались отлично.

Эта работа не для новичков. Он помнит тот день в кузне, когда железо обожгло ему кожу. Он даже не пытался устоять перед болью: челюсти разжались, крик отразился от стен. Отец бросился к нему, велел выставить руки вперед, промыл рану, приложил мазь. Позднее Уолтер скажет: «Все через это проходят. Будет тебе наука, как слушать отца, а не своевольничать».

Вернувшись, он спрашивает Марка:

— Вы знаете, что боль учит?

Впрочем, уточняет он, чтобы учиться у боли, нужно знать, этот день — не последний: что толку в ученье, если вас замучают до смерти?

Возможно, какой-то прок от страданий выйдет. Предложите их несчастным душам Чистилища, если верите в Чистилище. Впрочем, что подходит для святых мучеников, чьи души сияют ослепительной белизной, не подходит для Марка Смитона, грешника и прелюбодея.

— Никому ваша боль не нужна, Марк, — говорит он. — Она не нужна Господу, а мне и подавно. Что мне проку от ваших криков? Я хочу услышать связную речь, которую можно записать. Вы уже все сказали и скажете вновь. Никто вас не неволил. Вы довольно грешили. Не заставляйте грешить нас.

Возможно, не поздно еще потрясти воображение мальчишки, в подробностях живописав, что ему предстоит: путь из темницы к месту пыток, мучительное ожидание, пока веревку будут разматывать, а безвинное железо раскалять на огне. Все, что тревожит ваш разум, уйдет, уступая место слепому ужасу. Тело охватит трепет, ноги откажут, дыхание участится. Глаза еще видят, уши слышат, но вы не сознаете ни звуков, ни образов. Время сбилось с хода, и мгновения кажутся днями. Лица мучителей нависают над вами, словно лица гигантов, или, напротив, маячат вдали, словно крошечные, еле различимые точки. При-

ведите его, усадите, пора. Простые, незатейливые слова, но, если вам суждено выжить, они всегда будут напоминать о боли и только о ней.

Железо, выхваченное из огня, шипит. Веревка свернулась, словно змея, и ждет своего часа. Вам больше не на что надеяться. Вы не можете говорить, язык раздулся, заполнил рот, а слова съедают сами себя. Вы заговорите потом, когда вас отнесут в каземат и бросят на солому. Я выжил, скажете вы, я выстоял. Жалость и любовь к себе переполнят ваше сердце, первое проявление доброты — одеяло или глоток вина — и слова польются рекой. Вас отвели в комнату пыток не ради того, чтобы вы одумались, а ради того, чтобы вы прочувствовали. И в самом конце чувства переполнят вас.

Впрочем, с Марка уже довольно. Юноша поднимает глаза и говорит:

— Господин секретарь, повторите, каким должно быть мое признание. Ясным… каким еще? Там было четыре слова, три я забыл.

Марк продирается через бурелом слов, и чем яростнее он сражается, тем глубже впиваются колючки в плоть. Возможно, ему потребуется перевод, хотя по-английски юноша всегда говорил с похвальной беглостью.

— Но, сэр, я не могу свидетельствовать о том, чего не видел.

— Не можете? Тогда придется вам заночевать в моем доме. Кристоф за вами присмотрит. Утром вы почувствуете необыкновенный прилив сил и вспомните все в мельчайших подробностях. Вы поймете, что не в ваших интересах покрывать джентльменов, повинных в том же грехе. Не сомневайтесь, окажись эти благородные господа на вашем месте, они и пальцем не шевельнули бы ради вашего спасения.

* * *

Он смотрит, как Кристоф за руку, словно дурачка, уводит Марка, знаком отпускает Ричарда и Зовите-Меня ужинать, намереваясь присоединиться к ним позже, но обнаруживает, что есть не хочется. Если только самой простой еды, из детства, вроде салата из портулака: его листья рвали с утра и оставляли до вечера в мокрой тряпице. Тогда он ел их за неимением лучшего, ел и не наедался. Теперь обходится малым. Когда умер Вулси, он пристроил большинство кардинальских слуг, многих взял к себе в дом. Если бы Марк не вел себя так вызывающе, он подыскал бы местечко для него, и юноша был бы при деле

— не то, что сейчас.

Домочадцы Кромвеля подняли бы ужимки Марка на смех, и со временем музыкант обзавелся бы манерами, приличествующими его полу, а его талантам нашлось бы применение и в других домах. Вместо того чтобы тратить лучшие годы, обивая порог Анниной спальни в надежде на мимолетную бездумную ласку — легкое касание локтем, выдернутое из шляпы перо, — юноша научился бы вести себя с достоинством, беречь время, копить деньги и ценить женскую добродетель.

В полночь, когда дом затихает, приходит послание от короля — поездка в Дувр отменяется. Турнир, однако, состоится. Заявлен и Норрис, и Джордж Болейн. Один выступает за зачинщиков, второй — за тех, кто примет вызов: авось покалечат друг друга.

Ему не спится, мысли теснятся в голове. Он думает: «Никогда я не проводил ночи без сна, терзаемый любовным томлением, хотя поэты утверждают, что таков заведенный порядок. Теперь я не могу сомкнуть глаз из-за чувства, противоположного любви». Впрочем, он не испытывает к Анне ненависти. И даже к Фрэнсису Уэстону, не больше, чем к назойливой мошкаре.

Скорее удивление, что Господь создал такую гнусь.

Ему жалко Марка, но Марк — не ребенок: в его годы я пересекал моря и границы. Дважды вопил в канаве от боли: один раз от папашиной руки, другой — от руки испанца, на поле сражения. Когда мне было столько, сколько сейчас Марку и Фрэнсису Уэстону, подвизался в банкирских домах Портинари и Фрескобальди, а в возрасте Джорджа Болейна представлял их интересы в других европейских странах, взламывал двери в Антверпене, вернулся в Англию другим человеком. Я изменил родному языку, а после обнаружил, что его обогатила эта измена. Я вверил свою судьбу кардиналу, женился, начал выступать в суде, я обращался к судьям с улыбкой, прикрывая напором и красноречием отсутствие опыта, и судьи радовались, что я улыбаюсь, а не луплю их по голове, и почти всегда решали дело в мою пользу. То, что ты полагаешь несчастьем, зачастую оказывается чем-то другим. Почти все можно изменить: вылезти из любой канавы, найти путь, если ты в силах его разглядеть.

Он вспоминает тяжбы, о которых не думал годами. Был ли справедлив приговор? Не покривил ли он душой?

Интересно, если бы он уснул, что бы ему приснилось? Только в снах он остается наедине с самим собой. Томас Мор учил: выстрой в доме убежище и не пускай туда никого. Впрочем, Мор ни перед кем не стеснялся захлопнуть дверь.

Невозможно отделить того, кем ты бываешь на публике, от того, кем предстаешь перед своими. Мор думал, что у него получится, но в конце жизни приводил в Челси людей, которых считал еретиками, чтобы допросить с пристрастием в кругу чад и домочадцев. Ты можешь закрыться у себя в кабинете, однако шорохи, шепот и растущее недовольство снаружи не позволят тебе уединиться: он принадлежит нам, когда он выйдет? Тебе не дано заткнуть уши, чтобы не слышать шаркающей поступи большой политики.

Повернувшись на бок, он решает прочесть молитву. Посреди ночи его будит крик, больше похожий на возглас ребенка, которому приснился страшный сон, чем на вопль взрослого. Со сна он удивляется: разве в доме нет женщин, чтобы присмотреть за детьми? Потом вспоминает про Марка. Что с ним делают? Я же не велел его трогать.

Он не встает, уверенный, что домочадцы не осмелятся нарушить его приказ. Интересно,

спят ли сейчас в Гринвиче? Арсенал расположен неподалеку от дворца, и в последние часы перед турниром там вовсю стучат молотки. Основные работы — отливка, сварка, полировка — завершены, осталось кое-что склепать, подогнать, смазать, дабы ублажить придирчивых участников.

Зачем я разрешил Марку расхвастаться, позволил ему выдать себя? Ведь я мог упростить дело, мог просто сказать, что хочу услышать, а потом запугать. Однако я сам поощрил его, сделал так, чтобы Марк увяз с потрохами. Если юноша сказал правду об Анне, он виновен. Если солгал, вряд ли на нем нет вины. При необходимости я готов прибегнуть к насилию. Во Франции пытать заключенных так же естественно, как присаливать пищу. В Италии их пытают на площадях на потеху толпы. В Англии пытки не поощряются, но чтобы обойти запрет, хватит легкого кивка королевской головы. В Тауэре есть дыба. Никому не дано выдержать пытку. Принцип действия дыбы слишком очевиден, поэтому большинству хватает взгляда.

Нужно сказать Марку. Юноша будет думать о себе лучше.

Он кутается в простыню. В следующее мгнове-

ние в дверь входит Кристоф. Щурясь, он садится на кровати.

— Боже, я всю ночь не сомкнул глаз. Это Марк кричал?

Кристоф хохочет:

— Мы заперли его в чулане, я сам придумал. Помните, когда я впервые увидел звезду, то спросил, что за штука, хозяин, вся в остриях. Решил, что пыточное устройство. Темно там, в чулане. Вот Марк и налетел на звезду, а потом павлинье перышко проехалось по щеке. Бедняга решил, что его заперли в темноте с привидением.

— Ни на минуту вас не оставишь, — ворчит он.

— А вы, часом, не заболели, хозяин? Не приведи Господь.

— Нет, но чувствую себя разбитым после бессонной ночи.

— Натяните одеяло на голову и притворитесь трупом, — советует Кристоф. — А я вернусь через час с хлебом и элем.

Марк вываливается из чулана с посеревшим лицом, весь в перьях, но не павлиньих — на нем легкий пушок с ангельских крыл и золотая краска, которой красят мантии волхвов. Имена вылетают изо рта так стремительно, что едва ли Марк осознает, кого назвал. У юноши

подгибаются колени, и Ричард вынужден его поддерживать.

Ему, Кромвелю, никогда еще не доводилось так сильно кого-нибудь испугать.

Имя «Норрис» угадывается в жалком лепете юноши, затем «Уэстон», чем дальше, тем больше. Имена придворных сменяют друг друга, сливаются в одно, он слышит имя «Брертон», и готов поклясться, что Марк называет и Кэрью, и Фицуильяма, и раздатчика королевской милостыни, и архиепископа Кентерберийского. Разумеется, юноша не забывает упомянуть его самого и договаривается до того, что обвиняет Анну в адюльтере с собственным мужем.

— Томас Уайетт! — восклицает Марк.

— Нет, только не Уайетт.

Кристоф наклоняется и костяшками пальцев щелкает Марка по виску. Марк замолкает, в поисках источника боли удивленно обводит комнату глазами. Затем снова затягивает свою бесконечную песню, упомянув всех, от джентльменов до пажей, пока не добирается до никому не известных имен, каких-то поварят, которых знал в прошлой, низкой жизни, до того как судьба забросила его на порог королевской опочивальни.

— Отведите его обратно к привидению, — ве-

лит он.

Марк вскрикивает и умолкает.

— Сколько раз вы были с королевой?

— Тысячу, — отвечает Марк без запинки.

Кристоф легонько шлепает юношу по щеке.

— Три или четыре раза, — поправляется тот.

— Благодарю вас.

— Что со мной будет? — спрашивает Марк.

— Это решит суд.

— А с королевой?

— Это решит король.

— Ничего хорошего, — улыбается Ризли.

Он оборачивается к Зовите-Меня.

— А вы ранняя пташка, Ризли.

— Мне не спалось. Можно вас на два слова, сэр?

Теперь уже Ризли вызывает его для конфиденциального разговора.

— Напрасно вы решили выгораживать Уайетта, сэр, — хмуро изрекает Зовите-Меня. — Вы слишком близко к сердцу принимаете роль названого отца. Все равно его не спасти. При дворе уже много лет болтают о его связи с Анной. Уайетт — первый среди подозреваемых.

Он кивает. Не так-то просто объяснить юнцу вроде Ризли, за что он ценит Уайетта. Ему хочется

сказать: хоть вы с Ричардом Ричем и славные молодые люди, куда вам обоим до него. Уайетт не произносит речей из удовольствия послушать свой голос, не вступает в спор из желания доказать свое превосходство. Не сочиняет любовных стихов сразу шести дамам, как Джордж Болейн, надеясь заманить в темный угол хотя бы одну и воткнуть в нее свое жало. Уайетт пишет, когда хочет предостеречь или осудить. Не признаться в своих чувствах, но скрыть их. Ему ведома честь, но неведомо бахвальство. Уайетт — вышколенный придворный, однако прекрасно знает этому цену. Изучает мир без презрения, принимает без отрицания. Он утратил иллюзии, однако не расстался с надеждами. Его глаза открыты, а уши слышат то, что ускользает от слуха остальных.

Однако подобное объяснение — не для Ризли.

— Не Уайетт, — говорит он, наскоро состряпав ответ, который Ризли способен понять, — стоял между мной и королем. Не Уайетт выставлял меня из королевских покоев, когда мне требовалась подпись короля. Не он порочил меня, вливая свой яд Генриху в уши.

Мастер Ризли внимает с неподдельным любопытством.

— Я понял. Не важно, кто виновен, важно, чья

виновность выгодна вам. — Зовите-Меня улыбается. — Я восхищаюсь вами, сэр. Ваша ловкость не знает границ, и вам неведомы пустые сожаления.

Он не уверен, что ему приятно восхищение Ризли, по крайней мере в этом вопросе.

— Возможно, некоторые джентльмены, — говорит он, — смогут оправдаться. Или, паче чаяния, убедить короля в своей верности. Мы не священники, нам не нужны исповеди. Мы — судейские, правда для нас имеет ценность лишь в той части, которая нам выгодна.

Ризли кивает:

— И все же прислушайтесь к моему совету насчет Томаса Уайетта. Если не вы, то ваши новые сторонники прикажут взять его под стражу. Простите мою назойливость, сэр, но если Болейны падут, а к этому идет, друзья принцессы Марии вернут былое влияние. Думаете, они оценят ваши былые заслуги? Сейчас они мягко стелют, но, стоит им войти в силу, припомнят вам и Фишера, и Мора. Они добьются вашего отстранения, а затем уничтожат вас. Кэрью, семейка Куртенэ, скоро они будут править страной.

— Править страной будет король.

— А они будут наушничать и интриговать. Я го-

ворю о детях Маргарет Пол, о старых благородных семействах — они привыкли, что с их мнением считаются. Они в одночасье погубят все, чего вы добились за эти пять лет. А еще они говорят, что если король женится на сестрице Эдварда Сеймура, она обратит его в старую веру.

Он ухмыляется:

— Зовите-Меня, кому вы доверяете, Томасу Кромвелю или мистрис Сеймур?

Впрочем, Ризли прав. Новые союзники ценят его невысоко. Они уверены, что в надежде на прощение былых грехов он будет плясать под их дудку и отречется от всего, что совершил.

— Я не возьмусь предсказывать будущее, но есть кое-что, в чем я разбираюсь получше этих господ, — говорит он вслух.

Знать бы, что именно Ризли доносит Гардинеру. Он надеется, что его сообщения заставляют епископа чесать в затылке и опасливо ежиться.

— Что слышно из Франции? — спрашивает он. — Должно быть, о книге Винчестера, в которой он оправдывает королевскую супрематию, много говорят. Французы уверены, что его заставили. Интересно, он позволяет им так думать?

— Я уверен… — начинает Ризли.

— Не важно, — обрывает он. — Мне по душе

этот образ: Гардинер, причитающий, как жестоко с ним обошлись.

Посмотрим, думает он, чем ответит Гардинер. Ему льстит, что Зовите-Меня порой надолго забывает, что служит епископу. Ризли юноша нервный и обидчивый, высокомерие и раздражительность Гардинера выводят его из себя. С другой стороны — он, Кромвель, хозяин понимающий и некичливый. Видишь ли, делится он с Рейфом, в чем-то мы похожи, поэтому я поддерживаю карьеру Ризли. Мне нравится наблюдать за ним. Если я его выгоню, Гардинер пришлет шпиона похуже.

Вернувшись в комнату, он говорит:

— Пришла пора отвести бедного Марка в Тауэр.

Мальчишка валится на колени, умоляя не бросать его в чулан с привидением.

— Пусть отдохнет, — говорит он Ричарду, — запри его в комнате, где привидения не водятся, и вели накормить. Если он способен связно излагать, запиши официальное признание и позаботься о надежных свидетелях. Если будет упрямиться, пусть им займутся Кристоф и мастер Ризли, им сподручней.

Нынче Кромвели не изнуряют себя грязной

работой, те дни давно миновали.

— Если Марк пойдет на попятную, в Тауэре знают, что делать. Как только бумаги будут составлены, скачи к королю в Гринвич. Он ждет тебя. Не доверяй послание никому. Твои слова — только для королевских ушей.

Ричард небрежно, словно марионетку, дергает Марка вверх, поднимая с колен, явно испытывая к юноше не больше злобы, чем к кукле на веревочке. В его голове мелькает образ старого епископа Фишера, когда тот ковылял к эшафоту: тощий, упрямый.

Уже девять утра. Роса Майского дня успела высохнуть. По всей Англии из лесов несут зеленые ветки. Он не отказался бы от куска бараньей вырезки с морским укропом из Кента. И побриться. Он еще не достиг совершенства в искусстве диктовать письма во время бритья. Наверное, придется отрастить бороду. Вот только Ганс будет настаивать на новом портрете.

Тем временем арену в Гринвиче посыпают песком.

— А король участвует? Сойдется с Норрисом и сразит того насмерть? — спрашивает Кристоф.

Нет, думает он про себя, эту работенку Генрих оставил мне. Мимо мастерских, кладовых и

пристаней, прибежищ для таких, как он. Пажи разложат шелковые подушки в башенках, что возвышаются над ристалищем. Парусину, канаты и деготь сменят дамаст и тонкий лен. Жир, вонь, грохот, речную сырость — ароматы розовой воды и шепот горничных, наряжающих королеву. Уносят остатки ее скромной трапезы, крошки белого хлеба, дольки засахаренных фруктов. Ей подают сначала нижние юбки, потом верхние, за ними следуют рукава. Королева выбирает. И вот Анну стянули, зашнуровали, расправили оборки, утыкали каменьями.

Король — с тех пор минуло три или четыре года — в оправдание первого развода выпустил книгу под названием «Зеркало правды». Говорят, отдельные главы Генрих писал сам.

Теперь зеркало требует Анна Болейн, всматривается в себя: желтоватая кожа, тощая шея, лезвия ключиц.

Первое мая тысяча пятьсот тридцать шестого: последний день рыцарства. То, что случится потом, ибо празднества продолжатся, будет всего лишь шествием мертвых со знаменами, состязанием трупов. Король оставит ристалище. День окончится внезапно и резко, треснет, как большая берцовая кость, влажно хрустнет, словно

выбитый зуб. Джордж Болейн, брат королевы, войдет в шелковый шатер, чтобы разоблачиться, отложит в сторону талисманы, амулеты, обрывки лент — залоги любви прекрасных дам. Когда Джордж снимет и передаст оруженосцу шлем, обведет окружающее затуманенным взором, — геральдических соколов, лежащих леопардов, когти, лапы, клыки, — ему покажется, будто голова на плечах стала мягкой и трясется, как желе.

Уайтхолл: вечером, зная, что Норрис взят под стражу, он идет к королю. На пороге перекидывается парой слов с Рейфом: как его величество?

— Вы думали, Генрих будет неистовствовать, как Эдгар Миролюбивый, ища, в кого бы вонзить копье? — Они обмениваются улыбками, вспоминая ужин в Вулфхолле. — А он спокоен. Словно знал. Давно, в глубине души. Король у себя, пожелал остаться один.

Один: а с кем ему быть? Теперь вы не найдете в покоях доброго Норриса, шепчущего слова утешения. Норрис был хранителем королевского кошелька, а ныне кошелек пуст, королевские денежки раскатились по большаку. Струны ангельских арф лопнули, какофония оглушает; шнурок от кошелька срезан, швы разошлись, шелковые ленты разорваны, в прорехи виден

срам.

Он возникает на пороге, Генрих скашивает глаза, вяло произносит:

— Сухарь, входите и садитесь.

Генрих знаком отпускает слуг, что мнутся у двери, сам наливает вино, говорит:

— Племянник расскажет вам, что случилось на турнире. Славный малый Ричард, не правда ли? — Взгляд короля блуждает. — Сам я не выступал. Она вела себя, как обычно: сидела среди фрейлин, невозмутимая и надменная, любезничала с джентльменами, то с одним, то с другим. — Генрих хихикает фальшиво, невпопад. — Вела беседы.

Затем начались поединки, герольды выкликали верховых рыцарей. Генри Норрису не везло. Его лошадь испугалась, застыла, потом начала брыкаться, пытаясь сбросить седока. (Лошади подводят. Оруженосцы подводят. Нервы подводят.) Генрих через слугу предложил Норрису выйти из игры: замена найдется, одна из оседланных лошадей, которых держат наготове, если государю в последнюю минуту захочется выйти в круг.

— Обычная вежливость, — объясняет Генрих, ерзая в кресле. Словно оправдывается. Он кивает:

разумеется, сир. Неясно, вернулся ли Норрис на арену. После полудня Ричард Кромвель протиснулся сквозь толпу на галерее, стал на колено перед королем и наклонился к монаршему уху.

— Ричард рассказал, этот музыкант, Марк, во всем признался. Сам? Ваш племянник ответил: никто его не неволил. Ни один волосок не упал с его головы.

А мне теперь придется сжечь крылья из павлиньих перьев, думает он.

— Потом… — Внезапно король замирает, словно лошадь под Норрисом, и — больше ни слова.

Нужды нет: он, Кромвель, уже знает, что было дальше. Выслушав Ричарда, король встал, слуги забегали. «Найдите Генри Норриса, — велел Генрих пажу, — скажите, что я скачу в Уайтхолл и хочу, чтобы он меня сопровождал».

Король ничего не объясняет, никого не ждет, не разговаривает с королевой. Он покрывает милю за милей, Норрис скачет сзади: озадаченный, от страха еле держащийся в седле.

— Я предъявил ему обвинение, — говорит Генрих. — Рассказал о признании мальчишки, Марка, но он упрямо твердил, что невиновен. — И снова тот же фальшивый, неприятный смешок. — Позднее его допросил мастер казначей. Норрис

признался, что любит ее. Однако когда Фиц обвинил его в прелюбодеянии, в том, что желал моей смерти и хотел жениться на моей вдове, Норрис сказал: нет, нет и еще раз нет. Расспросите его, Кромвель, но не забудьте повторить то, что я сказал ему на пути в Уайтхолл. Я готов проявить милосердие, если он признается и назовет имена остальных.

— Марк Смитон назвал имена.

— Ему я не доверяю! — презрительно бросает Генрих. — Что значат слова какого-то скрипача по сравнению с жизнью тех, кого я числил своими друзьями? Мне нужны доказательства. Посмотрим, что запоют фрейлины, когда Анна окажется за решеткой.

— Их признаний более чем достаточно, сир. Вам известны имена. Позвольте мне арестовать подозреваемых.

Однако разум Генриха блуждает в иных сферах.

— Кромвель, что заставляет женщину искать в постели утех, противных естеству? Предлагать себя то так, то эдак? Где она этого набралась?

Тут есть один ответ. Опыт, сир. Прихоти мужчин и ее собственные желания. Но едва ли Генрих нуждается в ответе.

— Есть единственный способ, благоприятствующий зачатию, — рассуждает Генрих. — Мужчина сверху. Святая церковь одобряет такие сношения в разрешенные дни. Некоторые священники утверждают, что каким бы тяжким грехом ни являлось совокупление между братом и сестрой, еще хуже, когда женщина находится сверху или когда мужчина входит в женщину по-собачьи. Из-за этих непотребств и иных, поименовать которые я не дерзну, был разрушен Содом. Христианину или христианке, отдающихся им, не избежать Божьего гнева. Откуда женщине, если ее воспитали не в доме терпимости, знать о таких богомерзких делах?

— Женщины обсуждают их между собой, — говорит он. — Как и мужчины.

— Но почтенной, набожной матроне, чья обязанность — производить на свет потомство?

— Возможно, она хочет пробудить чувственность мужа, сир. Чтобы отвадить его от Пэрис-гарден и других грязных мест. Или если они прожили вместе много лет.

— Три года! Разве это много?

— Нет, сир.

— И даже того меньше.

На мгновение король забывает, что говорит

о себе, а не об умозрительном богобоязненном англичанине, лесничем или пахаре.

— Но откуда ей знать? — не унимается Генрих. — Откуда ей знать, что мужчине по нраву?

Он прикусывает язык, ответ очевиден: она расспросила сестрицу, которая кувыркалась в вашей постели до нее. Однако сейчас мысли короля блуждают далеко от Уайтхолла. Генрих думает о крестьянине с мозолистыми ладонями и его жене в скромном чепце и фартуке; перекрестившись и испросив у Папы отпущения грехов, крестьянин тушит лучину и угрюмо соединяется со своей второй половиной: ее колени направлены вверх, к потолочным стропилам, его зад сотрясается при толчках. Когда всё позади, набожная пара преклоняет колени рядом с кроватью и возносит хвалу Господу.

Но однажды днем, когда крестьянин батрачит, в бедную хижину забредает юный повеса, помощник лесничего, и, не долго думая, достает из штанов своего петушка: ну-ка, Джоан, ну, Дженни, согнись-ка над столом, и я научу тебя тому, чему матушка тебя не учила. И когда под вечер крестьянин возвращается домой и с кряхтеньем взбирается на жену, дабы исполнить супружеский долг, с каждым толчком и стоном женщина

вспоминает об ином удовольствии, что и слаще, и гаже. И тогда, помимо ее воли, с губ слетает имя. Ах, Робин, мой сладкий! О, Адам, сладкий мой! А ее благоверный, до которого не сразу доходит, что его зовут не Робин и не Адам, а Гарри, задумчиво скребет в затылке.

За окном стемнело, пора зажигать огни. Он открывает дверь, и королевские покои разом заполняет толпа: слуги суетятся вокруг Генриха, словно ласточки в ранних сумерках. Король почти не замечает их.

— Кромвель, вы думаете, до меня не доходили слухи? Думаете, я был глух, когда трактирщицы чесали языками? Я человек простодушный. Анна утверждала, что девственна, и я верил. Семь лет она лгала мне, что непорочна. Если женщина способна на такой обман, она ни перед чем не остановится. Я разрешаю вам заключить королеву под стражу. А заодно и ее брата. Даже упомянуть о тех мерзостях, которые она творила, немыслимо в приличном обществе, дабы не ввести в грех чистые души! Я рассчитываю на ваше благоразумие, а равно и благоразумие моих советников.

— Гадая о прошлом женщины, легко обмануться, — произносит он.

Вообразите, что до свадьбы Джоан или Дженни вела совсем иную жизнь. Вы привыкли думать, что она выросла среди полевых цветов на лесной опушке. А теперь на каждом углу слышите от верных людей, что ваша женушка провела юность в портовом городе и голая плясала в кабаках на потеху матросам.

Впоследствии он спросит себя: понимала ли Анна, что происходит? Против ожиданий, она не молилась, не писала писем друзьям. Если очевидцы не врут, королева прошествовала через свое последнее утро на воле, следуя заведенной рутине: гуляла вдоль теннисных кортов, поставила на исход матчей.

Поздним утром посланец привез ей монаршее повеление предстать перед королевским советом. Заседание состоится в отсутствие его величества, а также в отсутствие господина секретаря, который отбыл по безотлагательному делу.

Советники объявили королеве, что ее обвиняют в прелюбодейственной связи с Генри Норрисом и Марком Смитоном, а также с иными джентльменами, чьи имена пока не называются. Суда ей надлежит ждать в Тауэре. Как рассказывал Фицуильям, Анна держалась надменно. Кто вы такие, чтобы судить королеву, возмутилась она,

но когда ей сообщили о признаниях Марка и Генри Норриса, расплакалась.

Из комнаты заседаний Анну отводят в ее покои обедать. В два пополудни вместе с лордом-канцлером Одли и Фицуильямом он идет туда.

На добродушном лице государственного казначея тревога.

— Каково мне было услышать сегодня утром, что Гарри Норрис признался! Он признался, что любит ее, но не в прелюбодеянии.

— И что вы сделали, Фиц? — спрашивает он. — Сказали правду?

— Нет, — отвечает Одли. — Он заерзал и отвел глаза. Разве не так, господин казначей?

— Кромвель! — ревет Норфолк, расталкивая придворных. — Я слыхал, этот малый запел под вашу дудку. Что вы с ним сделали? Жаль, меня там не было! Из этого выйдет неплохая баллада для печати. Пока Генрих перебирает струны, музыкантишка теребит лютню его жены.

— Если знаете издателя, который рискнет напечатать такое, скажите мне, — отвечает он, — и я прикрою его лавочку.

— Только имейте в виду, Кромвель, — продолжает Норфолк, — я не позволю, чтобы из-за этого мешка костей пал мой благородный дом! Если

она вела себя недостойно, виноваты Болейны, не Говарды. Я не жажду крови Уилтшира, только отнимите у него этот дурацкий титул. Монсеньор, скажите, пожалуйста! — Герцог скалит зубы. — Я хочу видеть его унижение, уж слишком высоко он вознесся. Я всегда был против брака короля с его дочкой, это вы, Кромвель, вы подсуетились. Сколько раз я убеждал Генри Тюдора не связываться с этой вздорной бабой. Пусть послужит ему хорошим уроком, в следующий раз будет меня слушать.

— Милорд, — спрашивает он, — приказ с вами?

Норфолк машет пергаментом. Когда они входят в покои, слуги раскатывают громадную скатерть, королева сидит под пологом. На ней платье багрового бархата, Анна оборачивается — мешок костей, безупречный овал лица, кожа цвета слоновой кости. Едва ли она что-нибудь ела, в воздухе разлито напряжение, лица перекошены. Им, королевским советникам, приходится ждать, пока расправят складки, прежде чем склониться перед королевой в предписанном этикетом поклоне.

— А вот и вы, дядя, — тихо говорит Анна. Одного за другим она приветствует вошедших. — Лорд-канцлер. Господин казначей. — Остальные

советники протискиваются из-за спин Одли и Фицуильяма. Многие мечтали об этой минуте, мечтали увидеть Анну на коленях. — Милорд Оксфорд. Уильям Сэндис. Как поживаете, сэр Уильям? — Кажется, будто перечисление имен ее успокаивает. — И вы, Кремюэль. — Она наклоняется к нему. — Не забывайте, я создала вас.

— А он создал вас, мадам! — рявкает Норфлок. — И уж будьте покойны, теперь он раскаивается!

— Я раскаялась раньше, — усмехается Анна. — И сильнее.

— Готовы? — спрашивает Норфлок.

— Я не знаю, как готовиться, — роняет она.

— Просто ступайте с нами, — произносит он, Кромвель, и протягивает руку.

— Я предпочла бы Тауэру Уайтхолл. — Тот же тихий, вежливый, лишенный красок голос. — Нельзя ли отвести меня к королю?

Ему известен ответ. Генрих никогда не говорит «прощай». Однажды, жарким летним днем, король ускакал из Виндзора и больше никогда не видел Екатерину.

— Господа, вы же не можете забрать меня отсюда прямо сейчас? Без платьев, сорочек, свиты?

— Там вы не будете испытывать недостатка ни в платье, ни в служанках, — говорит он.

— Я хотела бы взять с собой моих фрейлин.

Советники переглядываются. Кажется, королеве невдомек, что эти женщины ее предали, что они не отходят от господина секретаря, готовые на все ради собственного спасения.

— Что ж, если мне не оставили выбора… пусть это будут мои служанки. Я все еще королева и должна выглядеть подобающе.

Фиц прочищает горло.

— Мадам, ваш двор распущен.

Анна вздрагивает.

— Ничего, Кремюэль подыщет им места, — бросает она. — Он не оставит моих бедных слуг.

Норфолк пихает в бок лорда-канцлера:

— Еще бы, он среди слуг вырос!

Одли отворачивается, сохраняя верность Кромвелю.

— Я не намерена идти с вами, — говорит Анна, — я пойду только с Уильямом Полетом, если тот не откажется меня сопроводить. Сегодня утром на совете, когда все вокруг меня оскорбляли, один Уильям вел себя благородно.

— Бога ради! — фыркает Норфолк. — Пойду не пойду! Сейчас схвачу вас под мышку и сам потащу в лодку кверху задницей. Вы этого добиваетесь?

Не сговариваясь, советники разворачиваются к

герцогу и одаривают его яростными взглядами.

— Мадам, — произносит Одли, — не сомневайтесь, вас сопроводят с почестями, подобающими вашему положению.

Анна встает. Подбирает багряный бархат юбки, словно брезгует касаться подолом земли.

— Где милорд брат?

Последний раз его видели в Уайтхолле, отвечают ей, не кривя душой. Сейчас, вероятно, стражники уже пришли за Джорджем.

— А мой отец, монсеньор? Почему его нет со мной? Почему он не с вами, джентльмены, почему бездействует?

— Не сомневайтесь, все разрешится ко всеобщему удовольствию, — вкрадчиво мурлычет лорд-канцлер. — В Тауэре вам будут предоставлены все условия.

— Но сколько это продлится?

Никто ей не отвечает. Снаружи ждет Уильям Кингстон, комендант Тауэра. Мощным сложением Кингстон напоминает короля, держится с достоинством, но одно его появление способно вогнать в дрожь любого смельчака. Он вспоминает, как Кингстон приехал за Вулси: у кардинала подогнулись колени, и тому пришлось сесть на сундук. Следовало оставить Кингстона в Тауэре,

шепчет он лорду-канцлеру, сами бы справились.

— Мы бы справились, — также шепотом отвечает Одли, — но может быть, дело в другом, господин секретарь? Сдается мне, вы сами порядком испуганы.

Он идет к плавучей пристани, изумляясь про себя легкомыслию лорда-канцлера. Головы каменных чудищ плещутся в реке, как и отражения людей: силуэты джентльменов подернуты рябью, перевернутая фигура королевы мерцает, словно пламя в бокале; вокруг них танцует мягкий послеполуденный свет, птицы заливаются трелями. Он помогает Анне забраться на барку: Одли явно боится к ней прикоснуться, от Норфолка она отстраняется сама. Словно прочтя его мысли, Анна шепчет:

— Кремюэль, а ведь вы так и не простили мне Вулси.

Фицуильям ловит его взгляд, что-то бормочет, не разберешь что. Когда-то Фиц был кардинальским любимцем, вероятно, они думают об одном: теперь Анна Болейн знает, каково это, когда тебя выводят из дома и везут в лодке по реке, и с каждым взмахом весла отмеренная тебе жизнь убывает.

В барке Норфолк садится напротив племянни-

цы, раздраженно ерзает и бурчит:

— Теперь вы видите, мадам, видите? Вот что бывает, когда отвергаешь собственных родственников!

— Почему же отвергает? — замечает Одли. — Вовсе нет.

Он бросает на лорда-канцлера хмурый взгляд. Вопрос с братом Джорджем требует известной деликатности. Не хватало еще, чтобы Анна заметалась и ненароком спихнула кого-нибудь за борт. Он уходит в себя, смотрит на воду. Их сопровождают алебардщики, острота и блеск лезвий восхищают. Алебарды весьма дешевы в изготовлении, хотя их дни миновали. Он вспоминает Италию, поле боя, укол пики. В Тауэре есть пороховой склад, ему хочется поболтать с оружейниками как-нибудь в другой раз.

— А куда подевался Чарльз Брэндон? — спрашивает Анна. — Не понимаю, как он такое пропустил.

— Вероятно, с королем, — отвечает Одли, разворачивается к нему и говорит вполголоса: — Нашептывает гадости про вашего приятеля Уайетта. Придется вам отступиться, господин секретарь.

Он не сводит глаз с дальнего берега.

— Уайетт — не тот человек, от которого отступаются.

Лорд-канцлер фыркает:

— Стихами делу не поможешь. Так ему и надо. Пишет загадками. Скоро король поймет, что пришла пора их разгадать.

Едва ли. Бывают шифры столь изощренные, что хватит полстрочки, слога, паузы, цезуры, чтобы полностью изменить смысл. Он гордится, всегда будет гордиться, что не задал Уайетту ни одного вопроса, который заставил бы того солгать или утаить правду. Анне пришлось лицемерить, объясняла ему леди Рочфорд: в первую брачную ночь изображать девственницу, всхлипывать и лежать бревно бревном.

— Но, леди Рочфорд, на его месте любой мужчина дрогнул бы, — отвечал он. — Король — не насильник.

По крайней мере могла бы польстить ему, не сдавалась леди Рочфорд. Изобразить радостное удивление.

Тон леди Рочфорд, та особая женская жестокость, что в нем сквозит, ему неприятны. Женщины сражаются тем жалким оружием, которым наградил их Господь — злобой, коварством, хитростью, — и порой осмеливаются перейти

границы, за которые мужчины ни ногой.

Тело короля не имеет границ, оно изменчиво, как и его королевство, остров, сам себя намывающий и сам себя растворяющий в воде, соленой и пресной. Земля с болотистыми тропами и скудными берегами, приливами и отливами, земля, что дышит и исходит влагой, земля трясин, вязких, будто пересуды англичанок, и гнилых топей, куда рискнет сунуться лишь священник с лучиной в руках.

От реки тянет холодом, до лета еще несколько недель. Анна смотрит на воду, затем поднимает глаза и спрашивает:

— Где архиепископ? Кранмер защитит меня, мои епископы защитят меня, они обязаны мне своим возвышением. Приведите Кранмера, и он присягнет, что я чиста.

Норфолк наклоняется и рявкает ей прямо в лицо:

— Епископ плюет на вас, племянница!

— Я королева, и если вы причините мне вред, на вас падет проклятие. Пока меня не отпустят, ни капли дождя не падет на землю.

Фицуильям издает тихий стон.

— Мадам, — говорит лорд-канцлер, — подобные глупости и привели вас сюда.

— Неужели? А я думала, меня подозревают в супружеской измене. Выходит, я еще и колдунья?

— Не мы начали разговор о проклятиях, — подает голос Фицуильям.

— Вы ничего мне не сделаете. Я поклянусь, что невинна, и король мне поверит. У вас нет свидетелей. Вы даже не знаете, какое обвинение предъявить в суде.

— В суде? Зачем нам суд? — говорит Норфолк. — Заклеймить, а потом утопить — и будет с вас.

Отпрянув от дяди, Анна съеживается, еще больше уменьшаясь в размерах, совсем девчонка.

У причала он видит заместителя Кингстона, Эдмунда Уолсингема, который разглядывает реку, беседуя с Ричардом Ричем.

— Кошель, что вы здесь делаете?

— Решил, вдруг вам понадоблюсь, сэр.

Королева ступает на твердую землю, опираясь на руку Кингстона. Взволнованный Уолсингем отвешивает ей поклон, ища глазами, к кому из советников обратиться.

— Палить ли из пушек?

— Так ведь принято? — откликается Норфолк. — Когда прибывает кто-то из важных персон. Она ведь важная персона?

— Да, но ее…

— Палите, — командует Норфлок. — Пусть горожане узнают.

— Они и так знают, — говорит он. — Разве милорд не заметил лондонцев вдоль берега?

Анна поднимает глаза, смотрит на каменные стены, узкие слепые оконца, забранные решетками. Ни единого человеческого лица, только мелькание крыльев и хриплое карканье, так похожее на человеческие крики.

— Гарри Норрис здесь? — спрашивает она. — Он подтвердит мою невиновность?

— Едва ли, — отвечает Кингстон. — Как и свою.

Тогда с Анной что-то происходит, что-то, чему позднее он не находит объяснения. Кажется, будто она испаряется, ускользает из их рук — его и Кингстона, — тает, плавится и вновь обретает человеческую форму, упираясь локтями и коленями в булыжную мостовую, запрокинув голову, захлебываясь криком.

Фицуильям, лорд-канцлер, даже ее дядя в растерянности, Кингстон хмурится, Уолсингем трясет головой, Ричард Рич цепенеет. Он, Кромвель, подхватывает женщину с земли — больше некому — и ставит на ноги. Анна ничего не весит, и, когда он поднимает ее, вопль замирает, словно ей перекрыли дыхание. Она безмолвно приваливается к

его плечу, виснет у него на груди: сосредоточена, готова к тому, что предстоит, к тому, что приведет ее к смерти.

На обратном пути к причалу Норфолк рявкает:

— Господин секретарь, мне нужно поговорить с королем!

— Увы, — отвечает он с грустью, словно и впрямь сожалеет, — его величество нуждается в покое и уединении. Право, милорд, в сложившихся обстоятельствах вам не помешало бы последовать его примеру.

— Обстоятельствах? — бурчит Норфолк. С минуту, пока они протискиваются в главный канал, герцог молчит, хмурится, наверняка вспоминая свою благоверную и прикидывая, как от нее избавиться. В конце концов решает обойтись насмешкой: — Кажется, вы с герцогиней на короткой ноге, господин секретарь? Если Кранмер аннулирует наш брак, забирайте ее себе. Что, не хотите? Герцогиня переедет к вам со своей периной и мулом, ей много не надо, не бойтесь, она вас не объест. А я буду платить за нее сорок шиллингов в год — и по рукам.

— Милорд, опомнитесь! — набрасывается на Норфлока лорд-канцлер, вынужденный прибегнуть к последнему аргументу. — Не забывайте о

вашем происхождении.

— Происхождение — слабое место Кромвеля, — усмехается герцог. — Так вот, Сухарь, когда я хочу видеть Тюдора, сын кузнеца мне не указ.

— Он может поработать над вами молотом, — произносит Ричард Рич (остальные и не заметили, как тот проскользнул на борт). — Возьмет и расплющит вам череп. Вы не представляете, что умеет господин секретарь.

После невыносимой сцены на причале на них нападает глупая смешливость.

— Он перекует вас, — подхватывает Одли. — С утра встали герцогом, к обеду обратились конюхом.

— Он вас расплавит, — не отстает от него Фицуильям, — были герцогом — стали каплей свинца.

— Так и проживете жизнь треножником, — снова вступает Рич. — Или крюком.

Тебе придется рассмеяться, Томас Говард, думает он, или ты лопнешь, взорвешься изнутри. А когда ты воспламенишься, мы окатим тебя водой из реки.

Норфолка передергивает, герцог отворачивается, берет себя в руки.

— Скажите Генриху, что я отказываюсь от этой девки. Скажите, что она мне больше не племян-

ница.

Он, Кромвель, произносит:

— У вас будет возможность продемонстрировать его величеству свою преданность. Если дойдет до суда, вы станете председателем.

— Все равно придется менять протокол, — встревает Рич. — Королева никогда еще не представала перед судом. Вы согласны, лорд-канцлер?

— Меня не спрашивайте. — Одли заслоняется ладонями. — Вы с Ризли и господином секретарем, как обычно, все решили между собой. Только, Кромвель, вы ведь не собираетесь сделать судьей Уилтшира?

— Ее отца? — улыбается он. — Не собираюсь.

— Какое обвинение мы предъявим лорду Рочфорду? — спрашивает Фицуильям. — Если предъявим.

— Судить будут троих? — бросает Норфолк. — Норриса, Рочфорда и музыкантишку?

— Нет, милорд, — отвечает он спокойно.

— Больше? Клянусь мессой!

— Сколько же любовников у нее было? — с живостью спрашивает Одли.

— Лорд-канцлер, вы видели короля? — В разговор снова вступает Рич. — А я видел. Бледен,

как смерть, места себе не находит. Разве это не есть измена? Разве королевскому телу уже не нанесен урон?

Если бы собаки умели чуять измену, Рич был бы бладхаундом, лучшей на свете ищейкой трюфелей.

— Я еще не решил, — говорит он, — какое обвинение предъявить этим джентльменам: в измене или укрывательстве. Если они станут утверждать, что были лишь свидетелями преступлений, которые совершали другие, им придется честно и открыто назвать этих других. Если откажутся, мы вправе заподозрить их самих.

Грохот пушки застает их врасплох, звук раскатывается по поверхности воды, отзывается в костях.

* * *

В тот же вечер от Кингстона приходит послание. Коменданту Тауэра велено докладывать обо всем, что Анна делает или говорит, и Кингстон — честный малый, отменный служака, порой слишком прямолинейный, рьяно берется за дело.

Когда советники удалились к барке, Анна спросила: «Мастер Кингстон, меня бросят в под-

земелье?»

«Нет, мадам, вас поместят в покои, где вы дожидались коронации».

В ответ Анна заливается слезами, докладывает комендант.

«Я этого недостойна. Господь обратил на меня свою милость».

Затем, продолжает Кингстон, королева рухнула на камни и стала молиться, потом зарыдала, а после, к изумлению коменданта, принялась хохотать.

Он молча передает письмо Ризли. Зовите-Меня поднимает глаза от бумаги и тихо спрашивает:

— Что же она сделала, господин секретарь? Даже представить страшно!

Он раздраженно смотрит на Зовите-Меня.

— Вы же не собираетесь заводить старую песню о колдовстве?

— Не собираюсь, и все же… Если она считает себя недостойной, значит, она виновна. Только я не уверен, в чем именно.

— Напомните мне мои слова. Какой правды мы добиваемся? Разве я говорил, что нам нужна вся правда?

— Вы сказали, лишь та ее часть, что может нам пригодиться.

— И не отступлюсь от своих слов. Хотя подобные речи мне не к лицу. Вы схватываете на лету, Ризли, так что не заставляйте меня повторять дважды.

Он коротает теплый вечер, сидя у окна в компании племянника Ричарда. Тот знает, когда молчать, а когда трещать без умолку. Это у Кромвелей семейное. Кроме Ричарда, его радует лишь общество Рейфа Сэдлера, но Рейф сейчас с королем.

— Я получил письмо от Грегори, — говорит Ричард.

— Письмо?

— Ну, вы же знаете Грегори.

— Погода стоит солнечная. Мы отлично поохотились и отменно отужинали. Я здоров, чего и вам желаю. Засим за неимением времени откланиваюсь.

— Грегори не меняется, — кивает Ричард. — Хотя, наверное, меняется. Думает о возвращении, считает, что должен быть рядом с вами.

— Мне хочется оградить его от того, что тут происходит.

— Я понимаю, но, может быть, стоит ему уступить? Грегори давно вырос.

Он размышляет. Если приучать сына к коро-

левской службе, пусть знает, что его ждет.

— Можешь идти, — говорит он Ричарду. — Наверное, я сам ему напишу.

Прежде чем уйти, Ричард прогоняет ночную прохладу, затворяя окно. За дверью слышно, как племянник тихим голосом раздает поручения: принесите дяде халат на меху и захватите побольше свечей. Иногда его, Кромвеля, удивляет, что кого-то искренне волнуют его телесные нужды; слуги не в счет, им он платит. Он размышляет, что чувствует Анна в Тауэре, среди новой челяди. Теперь при ней неотлучно находится леди Кингстон, и, хотя он позаботился окружить Анну женщинами из семейства Болейн, вряд ли королева, будь ее воля, остановила бы выбор на них. Эти дамы многое повидали, они знают, откуда дует ветер, от их острого слуха не ускользнет ни всхлип, ни шепот: «Я этого недостойна».

Ему кажется, что в отличие от Ризли он понимает Анну. Слова о том, что королевские покои Тауэра слишком хороши для нее, не признание вины. Анна заявляет: я недостойна их, потому что проиграла. Анна поставила на Генриха: заполучить его и удержать. Теперь, когда Джейн Сеймур отняла у нее короля, ни один суд не осудит ее строже собственного. Вчера, когда король вскочил

на лошадь и ускакал от нее, Анна превратилась в самозванку, ребенка, дурочку, ряженную в королевское платье и запертую в королевских покоях. Прелюбодеяние — грех и преступление, но проиграть для Анны грех куда больший.

Ричард просовывает голову в дверь.

— Письмо Грегори, хотите, я напишу? Хватит вам глаза портить.

Он говорит:

— Анна махнула на себя рукой. Отныне она не причинит нам хлопот.

Он просит короля уединиться в своих покоях и никого не принимать. Стражникам велено разворачивать всех просителей: мужчин, женщин. Он хочет, чтобы решения короля не зависели от суждений его последнего собеседника, как иногда бывает; никаких уговоров, лести или давления. Кажется, Генрих готов уступить его просьбе. В последние годы королю не впервой уединяться: сначала для того, чтобы побыть наедине с Анной, затем — чтобы побыть без нее. За королевскими покоями у Генриха есть тайное убежище. Иногда, после того, как громадное королевское ложе расстелют и благословят, после того, как потушат свечи, Генрих, завернувшись в дамастовое одеяло, заползает в свою берлогу и спит на простой

кровати, как обычный человек, обнаженный, предоставленный самому себе.

Здесь, в тишине комнат, увешанных шпалерами, изображающими сцены грехопадения, король говорит ему:

— Кранмер прислал письмо из Ламбета. Прочтите его вслух, Кромвель. Я уже прочел, теперь вы.

Он берет письмо в руки. Можно почувствовать, как архиепископ съеживается в тщетной надежде, что чернила потекут, а буквы выцветут. Анна-королева оказывала ему покровительство, обращалась за советом, поддерживала новую веру. Справедливости ради, и она многим обязана архиепископу, хотя Кранмер об этом не помнит.

«Я пребываю в замешательстве, — пишет Кранмер, — ибо всегда считал ее примером женского благочестия».

Генрих перебивает:

— Только подумайте, как мы обманывались!

«…что заставляет меня сомневаться в ее виновности, — читает он дальше. — Однако неужели ваше величество зашли бы так далеко, не будь она виновна?»

— Знал бы он! — восклицает Генрих. — Такое ему и в голову не придет. Надеюсь, что не придет.

Подобного срама не видел свет.

«Ибо из всех живых созданий после вашего величества именно к ней я испытывал самую горячую привязанность».

Генрих снова перебивает:

— Там дальше он пишет, что, если она виновна, ее следует покарать без пощады, в назидание остальным. Чтобы все видели, я возвысил ее из грязи. А еще он пишет, что те, кто придерживается евангельской веры, должны испытывать к ней не сочувствие, а отвращение.

«Мне остается надеяться, что ваша приверженность истинной вере, примеры коей вы не раз являли в прошлом, диктовалась не одной лишь привязанностью к королеве, а подлинным рвением», — заключает Кранмер.

Он, Кромвель, откладывает письмо. Все можно оправдать. Пусть она невиновна, но ей придется взять на себя вину. Мы, собратья по вере, отвергаем ее.

— Сир, — произносит он, — если вы нуждаетесь в Кранмере, пошлите за ним. Утешите друг друга, постараетесь найти объяснение. Я велю вашим слугам впустить архиепископа. Вам не помешает прогулка на свежем воздухе. Спуститесь в сад, там вас никто не потревожит.

— Но я не видел Джейн, — говорит Генрих. — Мне хочется смотреть на нее. Можно привести ее сюда?

— Еще рано, сир. В народе брожение, толпы горожан требуют ее, сочиняют о ней гнусные песенки.

— Песенки? — Генрих изумлен. — Найдите сочинителей и примерно накажите. Вы правы, пока воздух не очистится, Джейн здесь делать нечего. Ступайте к ней, Кромвель. Передайте мой подарок.

Король извлекает из бумаг крохотную книжечку, усыпанную каменьями, такие вещицы дамы привязывают золотой цепочкой к кушаку.

— Осталось от жены, — говорит Генрих и тут же поправляется, стыдливо опуская глаза: — Я хотел сказать, от Екатерины.

Ему не хочется ехать в Суррей, в дом Кэрью, но приходится. Красивое соразмерное здание возвели лет тридцать назад, особенно великолепен главный зал — предмет зависти и подражания окрестных домовладельцев. Он уже бывал здесь во времена кардинала. Кажется, Кэрью нанял для перепланировки сада итальянцев. При его приближении садовники снимают шляпы. Дорожки ведут в летнюю благодать, птицы щебечут

в вольерах, трава подстрижена так тщательно, что напоминает отрез бархата, нимфы взирают на него каменными очами.

Теперь, когда назад пути нет, Сеймуры учат Джейн, как быть королевой.

— С этим надо что-то делать, — говорит Эдвард Сеймур. Джейн моргает. — Ты мнешься на пороге и юркаешь в дверь, словно мышь.

— А сами велели держаться скромно. — В подтверждение своих слов Джейн застенчиво опускает глаза.

— Выйди, — велит Эдвард. — А потом снова войди. Как королева, Джейн.

Джейн шмыгает за дверь. Дверь отзывается скрипом. Они разглядывают друг друга в образовавшуюся щель. Затем дверь распахивается. Долгая королевская пауза. В дверном проеме по-прежнему пусто. Наконец Джейн появляется, медленно огибая угол.

— Так лучше?

— А знаете, что я думаю? — говорит он. — Теперь Джейн не придется самой открывать себе двери, так что вряд ли это умение ей пригодится.

— А по мне, — возражает Эдвард, — скромность приедается. Подними глаза, Джейн, я хочу видеть выражение твоего лица.

— А вы уверены, — бормочет Джейн, — что я хочу видеть выражение ваших?

В галерее собралось все семейство. Два брата: рассудительный Эдвард, вспыльчивый Том. Почтенный сэр Джон, старый вертопрах. Леди Марджери, некогда писаная красавица, «сама доброта, учтивость и кротость», как писал про нее Скелтон. Впрочем, нынче от кротости не осталось и следа, на лице почтенной матроны злобное торжество: ей удалось вцепиться в хвост удаче, пусть на это ушло почти шестьдесят лет.

В комнату вплывает Бесс Сеймур, вдовая сестра Джейн. В руках у нее сверток, обернутый тканью.

— Господин секретарь, — учтиво приседает она, обращаясь к брату. — Подержи, Том. Присядь, сестра.

Джейн садится на табурет. Так и ждешь, что кто-нибудь протянет ей грифельную доску и начнет экзаменовать в знании алфавита.

— А теперь, — говорит Бесс, — долой это!

В первое мгновение кажется, будто она бросается на сестру с кулаками: обеими руками вцепляется в подковообразный каркас, дергает на себя и вместе с вуалью передает куль в руки матери.

В белом полотняном чепце Джейн выглядит обиженной и неодетой, узкое личико покрывает болезненная бледность.

— Чепец тоже долой, и все заново, — командует Бесс и тянет завязки из-под подбородка. — Что ты с ними делаешь, Джейн? Жуешь ты их, что ли?

Леди Марджери протягивает ножницы для вышивания. Щелчок — и Джейн свободна. Сестра убирает чепец, и бледные жидкие волосы Джейн, узкая лента света, рассыпаются по плечам. Сэр Джон хмыкает и отводит глаза, старый ханжа. Но свобода длится недолго: леди Марджери подхватывает светлые пряди и безжалостно наматывает на руку, словно моток шерсти. Джейн морщится, когда волосы поднимают с затылка, закручивают в хвост и прижимают новым жестким чепцом.

— А теперь подколем, — говорит Бесс, поглощенная работой. — Так куда изящнее, только придется потерпеть.

— Никогда не любила завязок, — поддакивает леди Марджери.

— Спасибо, Том. — Сестра забирает у брата сверток, откидывает ткань.

— Потуже, — велит Бесс.

Ее мать собирает материю, перекалывает булавки. В следующее мгновение на голову Джейн

водружают старомодный гейбл. Она закатывает глаза, всхлипывая, когда каркас царапает кожу.

— Кто бы мог подумать, Джейн, — замечает леди Марджери, — что у тебя такая большая голова.

Бесс сгибает проволоку, Джейн сидит ни жива ни мертва.

— Так лучше, — говорит леди Марджери, — только натяни поглубже да расправь отвороты. На уровне подбородка, Бесс, как у старой королевы. — Она встает, чтобы оценить, как выглядит дочь в чепце, каких не носили с начала царствования Анны. Леди Марджери задумчиво прикусывает губу. — Криво.

— Это Джейн виновата, — говорит Том Сеймур. — Сядь ровнее, сестра.

Джейн поднимает руки, осторожно касаясь гейбла, словно тот жжется.

— Не трогай, — велит мать. — Ты уже носила такой. Привыкай.

Бесс извлекает откуда-то кусок превосходной черной вуали.

— Сиди ровно, — велит она сестре и, хмурясь, начинает подкалывать вуаль к каркасу по кругу.

— Ай, это моя шея! — вскрикивает Джейн, и Том Сеймур заливается бессердечным хохотом,

какая-то шутка, вероятно, слишком непристойная, хотя кто знает.

— Извините, что задерживаю вас, господин секретарь, — говорит Бесс, — но нужно приладить его как следует. Мы же не хотим лишний раз напоминать государю сами знаете о ком.

Только не перестарайтесь, думает он тревожно, а то напомните Генриху Екатерину, умершую четыре месяца назад.

— Этот каркас не последний, — говорит Бесс сестре, — если будешь горбиться, попробуем другие.

Джейн закрывает глаза:

— Я постараюсь.

— Кажется, вы держали их под рукой, — замечает он.

— Убрали в сундуки до лучших времен, — отвечает леди Марджери. — Женщины нашего круга верили, что когда-нибудь они вернутся. Слава Богу, теперь мы долго не увидим при дворе французских фасонов.

Старый сэр Джон произносит:

— Король прислал ей подарок.

— Вещички, которые Ла Ана уже носить не будет, — говорит Том Сеймур. — Скоро они все перейдут к Джейн.

— В монастыре они Анне ни к чему, — говорит Бесс.

Джейн поднимает глаза — наконец-то она встречает взгляд братьев — и снова опускает очи долу. Всякий раз звук ее голоса удивляет его: такой тонкий и слабый, так не подходящий к словам, которые ей велено произносить.

— Я не понимаю, зачем запирать ее в монастыре, — говорит Джейн. — Сначала Анна клялась, что носит королевское дитя, и королю пришлось ждать, и напрасно, потому что ждать было нечего. После придумает что-нибудь еще, и мы никогда не будем в безопасности.

— Она знает тайны Генриха, — замечает Том Сеймур. — И может продать их своим друзьям французам.

— Они ей теперь не друзья, — возражает Эдвард. — Уже не друзья.

— А если она попробует? — настаивает Джейн.

Она наблюдает, как они смыкают ряды: знатное английское семейство.

— Вы готовы на все, чтобы погубить Анну Болейн? — спрашивает он Джейн. В тоне нет упрека, он просто любопытствует.

Джейн задумывается, но только на миг.

— Никто не виноват в том, что с ней случилось.

Она сама себя погубила. Нельзя делать то, что делала она, и надеяться дожить до старости.

Он должен понять Джейн, разгадать выражение ее потупленных очей. Когда Генрих ухаживал за Анной, она ни от кого не прятала лица, гордо задирала вверх подбородок, а близко посаженные глаза горели, словно темные озера на бледной светящейся коже. Джейн не выдерживает пристального взгляда — тут же смиренно опускает очи долу. Выражение задумчивое, замкнутое. Он уже видел его раньше. Сорок лет он смотрит на картины. Когда был мальчишкой — до того, как сбежал из Англии, — картин не было, только похабные рисунки мелом на заборах да святые с мертвыми глазами, на которых он таращился, подавляя зевок, во время мессы. Во Флоренции художники писали неприступных луноликих скромниц, судьба которых совершается в их утробе, медленный подсчет в крови; глаза обращены внутрь, к образам страдания и славы. Видела ли Джейн эти картины? Вероятно, художники срисовывали с натуры, с обрученных дев, с юных женщин, увлекаемых к церковным вратам родней. Французский арселе или старомодный гейбл не спасут Джейн. Если бы она могла полностью спрятать лицо, то так бы и поступила, скрыв свои

вычисления от мира.

— Что ж. — Ему неловко отвлекать внимание на себя. — Я приехал, чтобы передать подарок от короля.

Сверток обернут в шелковую материю. Джейн поднимает глаза, вертит сверток в ладонях.

— Однажды вы уже сделали мне подарок, мастер Кромвель. Тогда никто мне ничего не дарил. Я не забыла и, если это будет в моей власти, отплачу вам добром.

Не успевает Джейн произнести речь, которую шталмейстер ни за что не одобрил бы, как в комнате появляется сам сэр Николас Кэрью. Не входит, как обычный человек, а вкатывается, будто осадное орудие или метательное устройство. После чего замирает перед Кромвелем, словно хочет выпустить в него снаряд.

— Мне рассказали про песенки, — произносит сэр Николас. — Как вы допустили подобное, Кромвель?

— В этих песенках ничего оскорбительного, — отвечает он. — Старые куплеты, со времен, когда Екатерина была королевой, а Анна грезила о троне.

— Как можно их сравнивать! Эта добродетельная дама и та… — Кэрью запинается. И впрямь,

юридически еще ничего не оформлено, обвинение не предъявлено, посему непонятно, как теперь называть Анну. Если изменницей, ожидающей вердикта суда, она все равно что мертва, хотя Кингстон пишет, что Анна ест с аппетитом и хихикает, подобно Тому Сеймуру, над скабрезными шуточками.

— Король переписывает старые стихи, — говорит он. — Вымарывает темноволосую даму, вставляет светловолосую. Джейн знает, как бывает, она состояла при старой королеве. А если у Джейн, несмотря на молодость, нет иллюзий, то уж вам, в ваши-то годы, сэр Николас, негоже их иметь.

Джейн сидит неподвижно, сверток по-прежнему обернут шелковой материей.

— Ты бы развернула его, Джейн, — участливо говорит сестра. — Что бы там ни лежало, оно принадлежит тебе.

— Я слушаю господина секретаря, — откликается Джейн. — И учусь.

— Едва ли его уроки пойдут тебе впрок, — замечает Эдвард Сеймур.

— Не уверена. Десять лет под его крылом, и я бы сумела за себя постоять.

— Судьба распорядилась, чтобы ты стала коро-

левой, а не писарем, — замечает Эдвард.

— И теперь ты благодаришь Господа, что я родилась женщиной?

— Мы все благодарим за это Господа денно и нощно, — отвечает Том Сеймур с вымученной галантностью. Для него внове отвешивать комплименты своей кроткой сестрице. Том смотрит на Эдварда и пожимает плечами: прости, на большее я не способен.

Джейн снимает шелковую материю, продевает цепочку из благородного металла цвета ее волос между пальцев. Переворачивает крохотную книжечку: на золоте и черной эмали обложки горят переплетенные рубиновые буквы: Г и А.

— Не тревожьтесь, камни заменят, — быстро говорит он. Джейн протягивает ему книжечку, лицо удрученное: ей еще предстоит узнать, каким скупым бывает король, самый могущественный из властителей мира. Генриху следовало меня предупредить, думает он. Под «А» угадывается «Е». Он передает книжечку Николасу Кэрью: — Вы проследите?

Повозившись с крохотной застежкой, тот открывает книжку.

— Ах, молитва на латыни. Или библейский стих?

— Можно мне? Это Книга Притчей. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов». — Как бы не так, думает он: три подарка, три жены — и только один счет от ювелира. — Вы знаете, кому это адресовано? — с улыбкой спрашивает он Джейн. — «Виссон и пурпур — одежды ее». Я могу рассказать вам о ней куда больше, чем здесь написано.

— Вам следовало стать епископом, Кромвель, — говорит Эдвард Сеймур.

— Не епископом, Эдвард. Папой.

Он собирается уходить, но Кэрью поднимает властный палец. Господи Иисусе, вздыхает он про себя, неужто я был недостаточно почтителен? Кэрью отзывает его в сторону. Однако не для упреков.

— Принцесса Мария, — тихо говорит Кэрью, — надеется, что отец призовет ее к себе. Что может быть более утешительным в такие времена, как близость законного дитяти?

— Марии лучше быть там, где она сейчас. То, что обсуждается нынче в совете и на улицах, — не для девичьих ушей.

Кэрью хмурится:

— Возможно, вы правы. Однако ей приятно было бы прочесть послание короля. Получить от

него подарки.

Подарки, думает он, это можно устроить.

— Многие при дворе, — продолжает Кэрью, — с радостью лично засвидетельствуют принцессе свое почтение. Если нельзя привезти ее сюда, то, может быть, стоит содержать ее мягче? Разумно ли, что ее окружают женщины из семейства Болейн? Может быть, старая наставница, графиня Солсбери подойдет больше?

Маргарет Пол? Эта свирепая папистка? Впрочем, сейчас не время сообщать сэру Николасу жестокую правду.

— Король примет решение, — говорит он. — Это вопрос семейный. Ему виднее, что хорошо для его дочери.

Ночью, при свечах, Генрих льет слезы по Марии. Днем называет ее непослушной и своенравной дочерью. Когда разум берет верх над чувствами, говорит, что пришла пора исполнить отцовский долг. «Меня печалит наше отчуждение. Теперь, без Анны, мы должны примириться. Впрочем, на определенных условиях. Которые моей дочери Марии — и на этом я настаиваю — придется выполнять».

— И еще, — говорит Кэрью, — вам следует взять под стражу Уайетта.

Вместо этого он зовет Фрэнсиса Брайана. Тот заходит с улыбкой, уверенный в своей безопасности. Повязку на глазу украшает маленький изумруд. Выглядит зловеще: один глаз зеленый, другой…

— Сэр Фрэнсис, — спрашивает он, — какого цвета ваши глаза? Вернее, глаз…

— Вообще-то красный, — отвечает Брайан. — Но я держусь, не беру в рот ни капли, ни в Великий пост, ни в Рождественский. А еще по пятницам. — В голосе печаль. — Зачем вы меня позвали? Вы же знаете, я на вашей стороне.

— Я пригласил вас на ужин.

— Вы и Марка Смитона приглашали. И где теперь Марк?

— Не я должен вас заботить, — произносит он с преувеличенно тяжелым актерским вздохом. (До чего же ему нравится сэр Фрэнсис.) — Не я, а мир, который ныне вопрошает, какова цена вашей преданности. Королева приходится вам родственницей.

— Джейн тоже. — Брайан по-прежнему спокоен, что и демонстрирует, вальяжно откинувшись на спинку кресла и вытянув под столом ноги. — Вам незачем меня допрашивать.

— Я беседую со всеми, кто близок королевской

семье, а вы особенно близки, вы были с ними с самого начала. Разве не вы ездили в Рим отстаивать интересы Болейнов? Но что вас тревожит? Вы давно при дворе, вам ведомы все тайны. Если вы мудро распорядитесь своим знанием, возможно, вам удастся себя обелить.

Он ждет. Брайан выпрямляется в кресле.

— Ведь вы хотите угодить королю? — продолжает он. — Я должен быть уверен, вы скажете все, что мне потребуется.

Поры его собеседника источают кислую вонь, сэр Фрэнсис потеет гасконским, которое скупает задешево и втридорога сбывает в королевские погреба.

— Вот что, Сухарь, — говорит Брайан. — Я знаю лишь то, что Норрис всегда хотел ее поиметь.

— А ее братец? Тоже хотел?

Брайан пожимает плечами:

— Ее отослали во Францию, они были уже не дети, когда узнали друг друга. Я слыхал, такое случается, а вы?

— Я — нет. В детстве мы понятия о таком не имели. Господу ведомы наши грехи и злодеяния, но так далеко наши фантазии не простирались.

— Держу пари, вы сталкивались с кровосмешением в Италии. Порой люди не отваживаются

называть вещи своими именами.

— Я отваживаюсь, — говорит он ровно. — И вскоре вы это увидите. Порой мое воображение не поспевает за событиями, но я усердно тружусь, чтобы нагнать их.

— Теперь она не королева, — говорит Брайан, — а поскольку она не королева, то… теперь я могу назвать ее распутницей, а где такой, как она, развернуться, как не в собственном семействе?

— Вы хотите сказать, что она могла вовлечь в грех дядюшку Норфолка? И даже вас, сэр Фрэнсис? Если говорить о родственниках. Вы известный сердцеед.

— О Боже! Кромвель, вы же не станете…

— Я только допустил вероятность. Что ж, если у нас и впрямь нет разногласий, не окажете мне любезность? Не могли бы вы съездить в Грейт-Холлинбери, предупредить лорда Морли о том, что его ждет. Такие вести не доверяют бумаге, тем более когда ваш дорогой друг немолод.

— Думаете, с глазу на глаз лучше? — Недоверчивый смешок. — Милорд, скажу я, трепещите, скоро ваша дочь Джейн овдовеет, ибо ее мужа обвинят в кровосмешении и обезглавят.

— Было ли кровосмешение — это решать священникам. Его казнят за измену. И я сомневаюсь,

что король выберет топор.

— Едва ли это поручение мне по силам.

— Я в вас верю. Думайте об этом как о дипломатической миссии. Вам ведь уже случалось выполнять такие задания, хотя теперь я задаюсь вопросом, как вы справлялись раньше?

— На трезвую голову, — отвечает Фрэнсис Брайан. — Хотя ради вашего поручения придется напиться. Вы же знаете, я до смерти боюсь лорда Морли. Только меня завидит, сразу вытягивает откуда-то древние манускрипты и кричит: «Фрэнсис, подите сюда!» А вы знаете мою латынь — школяру и тому впору устыдиться.

— Нечего меня обхаживать, — говорит он, — лучше седлайте коня. Но перед тем как отправитесь в Эссекс, окажите мне услугу. Ступайте к вашему другу Николасу Кэрью, передайте, что я готов прислушаться к его совету и поговорить с Уайеттом. Только пусть не думает, что на меня можно давить — я давления не переношу. Напомните ему, что аресты еще будут, и я не готов сказать, кого именно арестуют. А если готов, то не желаю. Постарайтесь понять сами и донести до ваших приятелей: у меня развязаны руки. Я больше не мальчик у них на побегушках.

— Теперь я свободен?

— Как воздух, — говорит он ласково. — А на ужин разве не останетесь?

— Поужинайте за меня, — отвечает Фрэнсис.

В покоях короля темно, но его величество произносит:

— Мы должны смотреть в зеркало правды. Вина лежит на мне, о чем раньше я не подозревал.

Генрих переводит взгляд на Кранмера, словно говоря: теперь ваша очередь, я признал грех, дайте мне отпущение. Архиепископа разрывает на части: Кранмер то ли ждет продолжения королевской исповеди, то ли не решается ответить. Кембридж не подготовил его к такой роли.

— Ваше рвение заслуживает похвалы, — говорит Кранмер королю, бросая на него, Кромвеля, вопрошающий, словно длинная игла, взгляд. — В таком деле осуждение немыслимо без доказательств.

— Вам следует помнить, — говорит он, ибо в отличие от Кранмера не испытывает недостатка в словах, — что не я, а совет допрашивал джентльменов, которые ныне обвиняются в преступлении. Совет призвал вас, изложил обстоятельства дела, и вы согласились. Вы сами, милорд архиепископ, сказали, что мы не зашли бы так далеко, не подвергнув вопрос тщательно-

му изучению.

— Я оглядываюсь назад, — говорит Генрих, — и все становится на свои места. Меня обманули, меня предали. Скольких верных друзей и слуг изгнали, удалили от двора! И хуже того… я вспоминаю Вулси. Женщина, которую я называл женой, злоумышляла против него со всем присущим ей коварством, хитростью и злобой.

Какая именно? И Екатерина, и Анна интриговали против кардинала.

— А теперь я уже не помню, что так меня разозлило, — продолжает Генрих. — Разве Августин не называл брак «смертоносным рабским одеянием»?

— Златоуст, — тихо поправляет Кранмер.

— И будет об этом, — говорит он, Кромвель, поспешно. — Если этот брак будет расторгнут, парламент станет просить вас найти новую королеву.

— Как человеку исполнить долг перед своим королевством и перед Господом? Мы грешим самим актом зачатия. Нам нужны наследники, королям особенно, но даже в браке нас стращают похотью, а некоторые отцы церкви утверждают, что неумеренная страсть к жене есть прелюбодеяние.

— Иероним, — шепчет Кранмер, как будто отрекается от святого. — Однако не все отцы церкви так строги, многие почитают брак священным.

— Розы, лишенные шипов, — говорит он. — Церковь строга к женатым, хотя Павел говорит, что мужьям следует любить жен. Трудно смириться с тем, что брак не есть грех по своей природе, если веками те, кто дал обет безбрачия, твердили, что они лучше нас, хотя это ложь, а повторение ложных постулатов не превращает их в истинные. Вы согласны, Кранмер?

Лучше убейте меня на месте, написано на лице архиепископа. Против всех законов, человеческих и божественных, Кранмер женат, женился в Германии и с тех пор скрывает фрау Грету в деревне. Знает ли Генрих? Должен знать. Скажет? Едва ли. Слишком занят собой.

— Сейчас я не понимаю, что я в ней нашел, — говорит король. — Вероятно, она меня околдовала. Клялась, что любит меня. Екатерина клялась, что любит. Они говорили о любви, а разумели противное. Анна всегда хотела унизить меня, всегда отличалась злобным нравом. Вспомните, как она глумилась над своим дядей, милордом Норфолком. Как презирала отца. Она осмеливалась подвергать осуждению даже мои действия

и советовать мне в вопросах, которые выше ее понимания. А порой говорила мне такое, чего не стерпел бы от жены самый последний бедняк!

— Она была дерзкой, это правда, — говорит Кранмер, — но она сознавала свой недостаток и пыталась себя обуздать.

— Клянусь Господом, теперь ее обуздают. — В голосе короля прорывается жестокость, которую до поры удавалось скрыть под жалобными интонациями жертвы. Генрих открывает ореховую шкатулку для писем. — Видите эту книгу?

Книга представляет собой разрозненные листы, сшитые вместе, обложки нет, только страницы, исписанные снизу доверху тяжелой рукой Генриха.

— Она еще не завершена. Я сам ее написал. Это пьеса, трагедия. Трагедия моей жизни.

Король протягивает им листки.

— Сохраните ее, сир, — говорит он. — Когда-нибудь у нас появится время, чтобы оценить ее по достоинству.

— Но вы должны знать! — настаивает Генрих. — Ее подлую натуру. Как жестоко она со мной обходилась, со мной, с тем, кто дал ей все! Мужчинам следует знать, чтобы не угодить в сети ей подобных. Их аппетиты невозможно утолить.

Она имела сношения с сотнями мужчин!

Король похож на затравленного зверя: загнанного в угол женской похотью, растерзанного и искромсанного в клочья.

— А ее брат? — спрашивает Кранмер.

Он отворачивается, не в силах смотреть на Генриха.

— Едва ли она перед ним устояла, — отвечает король. — Чего ради? Что мешало ей осушить чашу до мерзкого осадка на дне? А пока она утоляла собственную страсть, она убивала мою. Когда я приходил к ней с намерением исполнить супружеский долг, она встречала меня взглядом, который устрашил бы любого храбреца. Теперь я понимаю, она берегла себя для запретных утех.

Король сидит. Пытается говорить, сбивается, снова говорит. Десять лет назад Анна взяла его за руку и увлекла за собой. Привела в лес и на опушке, где солнечный свет дробится в зеленых листьях, лишила трезвости ума и целомудрия. Она гнала его по лесу целый день, пока его колени не начали дрожать от усталости, но и тогда он упрямо шел за ней, не в силах перевести дыхание, не в силах свернуть, пока не заблудился. Он преследовал ее, пока не погас солнечный свет, преследовал при свете факелов, и тогда она

обернулась к нему, погасила факелы и оставила его одного в темноте.

Дверь тихо открывается: он поднимает глаза, там, где раньше стоял другой, какой-нибудь Уэстон, сейчас стоит Рейф.

— Ваше величество, милорд Ричмонд пришел пожелать вам доброй ночи. Впустить?

Генрих вздрагивает.

— Фицрой? Разумеется!

Бастарду Генриха шестнадцать, но из-за нежного пушка на щеках и наивного взгляда выглядит моложе. Рыжей шевелюрой Фицрой пошел в короля Эдуарда, обликом напоминает принца Артура, покойного старшего брата короля. Мальчишка мнется, не решаясь прильнуть к широкой отцовской груди, но Генрих встает и сам обнимает сына, лицо мокро от слез.

— Сыночек мой, — говорит король, обращаясь к юноше почти шести футов росту, — мой единственный сын.

Слезы текут так обильно, что Генрих вынужден промокнуть лицо рукавом.

— Она хотела отравить тебя, — всхлипывает король. — Слава Богу, благодаря хитроумию господина секретаря заговор удалось раскрыть.

— Спасибо, господин секретарь, — сухо благо-

дарит юноша, — что раскрыли заговор.

— Она отравила бы тебя и твою сестру Марию, вас обоих, а эту мелкую икринку, которую выметала, посадила бы на трон. Или другого выблядка, если, не приведи Господь, кто-то из ее щенков выжил бы. Сомневаюсь, что ее дети способны жить. Господь проклял ее. Молись за отца, молись, чтобы Господь не оставил меня, ибо я согрешил. Меня вынудили. Этот брак противозаконен.

— Как, опять? — спрашивает юноша. — И этот тоже?

— Противозаконен и проклят. — Генрих вцепился в сына, раскачивает юношу взад и вперед, сжимает кулаки за его спиной, словно медведица, терзающая своих детенышей. — Этот брак противоречит Божьим заповедям. Ни одна из них не была моей женой, ни та ни другая. Слава Богу, одна уже в могиле, и я больше не должен выслушивать ее нытья, ее бесконечных жалоб, терпеть ее назойливость. И не говорите мне про диспенсации, и слышать не хочу, никакой Папа не может отменить законы небесные. Откуда она взялась, Анна Болейн? Почему я посмотрел на нее? Как ей удалось ослепить меня? На свете столько юных и свежих добродетельных женщин, столько покорных и благонравных девиц!

Почему мне досталась та, что губит собственных детей в утробе?

Король отпускает сына так резко, что тот едва не падает.

Генрих фыркает:

— Ступай, дитя. Ступай в свою безгрешную постель. И вы, господин секретарь, ступайте и вы… к своим. — Король вытирает слезы носовым платком. — Нынче я не в силах исповедоваться, милорд архиепископ. Посему ступайте и вы. Когда вернетесь, отпустите мне грехи.

Всех устраивает такой расклад. Кранмера одолевают сомнения, но архиепископ не из тех, кто выпытывает чужие тайны. Они уходят, оставляя Генриха с книжкой из разрозненных страниц, король переворачивает их, собираясь вновь погрузиться в историю своей жизни.

За дверью он подает знак мнущимся на пороге джентльменам.

— Зайдите, возможно, ему что-нибудь нужно.

Медленно, неохотно доверенные слуги подкрадываются к королю в его берлоге, не зная, чего ждать. В кругу друзей. Где теперь эти друзья? Прижаты к стене.

На прощание он обнимает Кранмера, шепчет в ухо:

— Все образуется.

Юный Ричмонд трогает его за рукав:

— Господин секретарь, мне нужно с вами поговорить.

Он устал, поднялся на рассвете, писал письма в Европу.

— Это срочно, милорд?

— Нет, не срочно. Но важно.

Вообразите хозяина, способного увидеть разницу.

— Я весь внимание, милорд.

— Хотел вам рассказать, сегодня я был с женщиной.

— Надеюсь, она не обманула ваших ожиданий.

Юноша застенчиво усмехается:

— Не совсем. Та женщина была шлюхой. Мой брат Суррей привел ее.

Ясно, сын Норфолка. По лицу юноши пробегают отсветы факелов, то золотя, то снова окуная его в темноту.

— Не важно, теперь я мужчина, и Норфолк должен позволить мне жить с женой.

Ричмонда женили на дочери Норфолка, малышке Мэри Говард. Хитроумный тесть устроил, чтобы молодые жили раздельно, ведь если Анна родит Генриху законного наследника, кто

вспомнит о бастарде? А герцог подыщет дочери, сохранившей невинность, партию повыгоднее.

Хотя чего нынче стоят герцогские козни?..

— Я замолвлю за вас словечко, — обещает он. — Теперь герцогу не резон противиться вашим желаниям.

Ричмонд вспыхивает: доволен, смущен? Мальчишка не дурак и прекрасно понимает, что за последние дни его положение несказанно улучшилось. Он, Кромвель, слышит отчетливый голос Норфолка, убеждающего королевский совет: дочь Екатерины уже признали незаконнорожденной, очередь Анниной дочери, а стало быть, все трое королевских отпрысков не могут претендовать на трон. А коли так, почему бы не предпочесть наследнице женского пола наследника мужского?

— Господин секретарь, мои слуги говорят, Елизавета не дочь короля. Ее тайно пронесли в королевские покои в корзине взамен мертвого ребенка.

— Но зачем?

Он никогда не откажется послушать рассуждения слуг.

— Чтобы стать королевой, она заключила сделку с нечистым, но врага рода человеческого не провести. Дьявол сделал ее королевой, но не поз-

волил родить наследника.

— Вероятно, дьявол должен был заострить ее ум. Отчего тогда в корзине лежал не мальчик?

Ричмонд выдавливает жалкую улыбку:

— Другого ребенка могло не оказаться под рукой. Детей не бросают на улицах просто так.

Бросают, еще как. Он внес в новый парламент билль о сиротах мужеского пола. Возьмите на себя опеку над мальчишками, рассуждает он, а те присмотрят за девчонками.

— Иногда я думаю о кардинале, — произносит юноша. — Вы вспоминаете его? — Ричмонд опускается на сундук, и он, Кромвель, садится рядом. — Когда я был юным и глупым, то думал, что кардинал — мой отец.

— Кардинал — ваш крестный отец.

— Я знаю, но все равно… кардинал был так добр ко мне. Навещал меня, привозил дорогие подарки: золотое блюдо, шелковый мяч, куклу, мальчики ведь тоже любят играть в куклы, — Ричмонд смущенно опускает глаза, — ну, когда еще носят платья. Я чувствовал, что мое рождение окружено тайной, и решил, что я — сын священника. Когда появился король, я не признал его. Король подарил мне меч.

— И вы догадались, что король — ваш отец?

— Нет. — Юноша разводит руками в доказательство собственной наивности. — Мне объяснили потом. Пожалуйста, не говорите ему. Он не поймет.

Из всех потрясений последнего времени это может оказаться самым сильным: родной сын в Генрихе отца не признал.

— Сколько у него детей? — спрашивает Ричмонд с видом бывалого греховодника. — Должно быть, немало.

— Насколько мне известно, детей, способных оспорить ваши притязания, у него нет. Говорят, сын Мэри Болейн от него, но она была замужем, и мальчик унаследовал имя ее мужа.

— Но он снова женится, на мистрис Сеймур, когда его теперешний брак… — юноша путается в словах, — когда то, что должно случиться… когда оно случится… И у него может родиться сын. Сеймуры славятся плодовитостью.

— Если это произойдет, — говорит он мягко, — вы первым поздравите короля и всю жизнь будете держаться юного принца. Но до этого еще далеко, а что касается неотложных материй, то позвольте дать вам совет… если ваше воссоединение с молодой женой и дальше будет откладываться, найдите покладистую, здоровую женщину и об-

говорите с ней все заранее. А когда придет пора расстаться, определите ей небольшое содержание, чтобы держала язык за зубами.

— Вы так и поступаете?

В вопросе юноши нет подвоха, но он успевает подумать: уж не шпионит ли за ним Ричмонд?

— Джентльмены о таком не говорят. Берите пример с отца, который никогда не бывает груб с женщинами. — Жесток, да, думает он про себя, но никогда не груб. — И будьте благоразумны, не связывайтесь со шлюхами. Так недолго подхватить дурную болезнь, как французский король. К тому же если ваша подруга родит вам ребенка, вам все равно придется его воспитывать, но вы будете уверены, что он ваш.

— А разве можно быть уверенным… — Ричмонд запинается. Все тяготы взрослого мира обрушиваются на бедного юношу. — Если можно обвести вокруг пальца короля, стало быть, можно обмануть любого мужчину. И если у жен в порядке вещей обманывать мужей, то любой джентльмен может, сам того не ведая, растить чужого ребенка.

— А его ребенка в то же самое время будет растить другой джентльмен, — улыбается он.

Он намерен — когда выберет время — завести

учет крещений. Хочет сосчитать королевских подданных, нужно же знать, кто есть кто, по крайней мере со слов матерей: фамильное имя далеко не всегда гарантия отцовства, но лиха беда начало.

Когда он верхом едет по Лондону, то внимательно всматривается в лица, думает об иных городах, где ему случалось жить подолгу или бывать проездом. Нельзя сказать, что его потомство так уж многочисленно. Разумный человек почитает умеренность добродетелью. А вот кардинал любил придумывать истории о его пассиях и, завидев дюжего молодчика, которого волокут на виселицу, не упускал случая заметить: «А вот этот, Томас, наверняка ваш».

Юноша вздыхает:

— Я так устал, сам не пойму почему, ведь даже не охотился.

Слуги Ричмонда суетятся вокруг, их эмблемы — восстающий полулев, — их сине-желтые ливреи мелькают в меркнущем свете факелов. Словно няньки, оберегающие чадо от падения в грязную лужу, они хотят огородить юного герцога от козней Кромвеля. Вокруг него клубится облако страха. Никто не знает, кого собираются взять под стражу и как долго продлятся аресты. Не знает

даже он сам, а ведь он тут за главного. Джордж Болейн в Тауэре, Уэстону и Брертону дарована милость в последний раз выспаться на свободе и привести в порядок дела, однако уже завтра утром за ними захлопнутся тюремные двери. Они могут бежать, но куда? Никто за исключением Марка должным образом не допрошен. Не допрошен им. Однако уже есть желающие поживиться. Норрис не пробыл под замком и дня, как нашелся соискатель его должностей и привилегий, обладатель четырнадцати законных отпрысков. Четырнадцать голодных ртов, не говоря уже об аппетитах папаши и острых зубках его благородной жены.

Назавтра он говорит Уильяму Фицуильяму:

— Идемте со мной в Тауэр допрашивать Норриса.

— Нет, идите один, — отвечает Фиц. — Еще раз мне этого не вынести. Мы знали друг друга с детства. Я и в прошлый раз чуть не отдал Богу душу.

Добрый Норрис: первый, если требуется подтереть королевский зад, усердный ткач шелковых нитей, паук посреди паутины, черное сердце обширной сети дворцовых милостей и привилегий: расторопен и добродушен, за сорок, однако

по виду не скажешь. Норрис, сама непринужденность, живое воплощение la sprezzatura, идеального придворного. Никто не видел его в гневе. Кажется, что успех пришел к нему сам, а он лишь покорился неизбежности. Равно учтив с герцогом и молочницей, особенно на людях. Признанный мастер турнирных боев, Гарри ломает ваше копье, словно извиняясь за доставленные неудобства, а если его рукам доведется коснуться презренного металла, то омывает их родниковой водой с ароматом розовых лепестков.

Тем не менее Норрис богат, как все в окружении короля, как бы ни были чисты их намерения. Выхлопотав очередную привилегию, Гарри, ваш покорный слуга, спешит поскорей прибрать ее к рукам, чтобы не оскорбить ничей взор. А если Гарри вызывается занять прибыльное местечко, то лишь из чувства долга, дабы менее достойным претендентам себя не утруждать.

Но взгляните сейчас на доброго Норриса! Печально видеть слезы сильного мужчины. Так он и говорит, садясь и осведомляясь об условиях содержания, доволен ли узник тюремным столом, хорошо ли тут спится. Он сама мягкость и доброта.

— В прошлое Рождество, мастер Норрис, вы в

личине мавра и Уильям Брертон в обличье полуголого дикаря направлялись к покоям королевы.

— Бога ради, Кромвель, — фыркает Норрис, — вы что, всерьез? Хотите обсудить, как мы вели себя на маскараде?

— Я посоветовал Уильяму Брертону запахнуться, на что вы ответили, что королева привычна к таким зрелищам.

Норрис краснеет, как и в тот злосчастный день.

— Вы хотите меня подловить. Я всего лишь имел в виду, что ее, как замужнюю женщину, мужским… мужским достоинством не удивишь.

— Вам лучше знать, что вы имели в виду. Я знаю лишь то, что слышал. Однако вряд ли король сочтет ваше замечание невинным. И тогда же мы с вами видели ряженого Фрэнсиса Уэстона, который, по вашим словам, шел к королеве.

— Этот по крайней мере был одет, — говорит Норрис. — В костюм дракона, не так ли?

— Когда стоял перед нами? Несомненно. Но помните, что вы сказали потом? Вы поведали мне, что королева привечает Уэстона. Вы ревновали ее, Гарри. И не пытались этого скрыть. Расскажите, что вы знаете о ней и Уэстоне. Облегчите душу.

Взяв себя в руки, Норрис презрительно хмыкает.

— Все, что у вас есть, пустые слова, которые можно толковать по-разному. Их недостаточно, чтобы доказать прелюбодеяние, Кромвель.

— Посмотрим. В таком деле свидетели редки. Однако мы в состоянии сопоставить обстоятельства, желания, высказанные вслух, и признания.

— Вы не дождетесь признаний ни от меня, ни от Уэстона.

— Сомневаюсь.

— Вы не посмеете подвергнуть дворян пыткам. Король не позволит.

— Думаете, мне нужно официальное разрешение? — Он на ногах, с силой обрушивает кулак на стол. — Вот надавлю большими пальцами вам на веки, запоете «Зелен остролист» как миленький. — Садится, опять сама любезность и спокойствие. — Поставьте себя на мое место. Люди все равно скажут, что я вас пытал. И Марка. Уже говорят. Хотя, я клянусь, ни волоска не упало с его головы. Марка никто не неволил. Он сам назвал имена. Некоторые из них меня удивили, но я совладал с удивлением.

— Вы лжете. — Норрис смотрит в сторону. — Хотите, чтобы мы оговорили друг друга.

— Королю все известно. Ему не нужны свидетели. Он знает о вашей и ее измене.

— А вам не кажется странным, — говорит Норрис, — что я настолько забыл о долге, что предал короля, от которого видел только хорошее, и подверг смертельной опасности даму, которую почитаю? Моя семья поддерживала короля испокон веку. Прадед был верным слугой Генриха Шестого, святого человека, спаси Господь его душу. Дед верой и правдой служил королю Эдуарду и служил бы его сыну, если бы тот сел на трон, а когда Генрих Тюдор был изгнан скорпионом Ричардом Плантагенетом, поддерживал Генриха в изгнании. Я с детства на стороне короля. Я люблю Генриха как брата. У вас есть брат, Кромвель?

— Живых нет. — Он бросает на узника гневный взгляд. Неужели Норрис думает, будто его красноречие, его откровенность и искренность что-то изменят? Весь двор видел, как королевский любимчик пускал слюни при виде Анны. Приценивался, щупал товар — будь добр, плати.

Он встает, шагает по комнате, разворачивается, трясет головой.

— Ради Бога, Гарри Норрис, я что, должен написать это на стене? Король хочет избавиться от Анны. Она не смогла родить сына, и Генрих ее

разлюбил. Нынче он влюблен в другую, и Анна ему мешает. Я достаточно ясно выражаюсь? Анна не уйдет по-доброму, она сама говорила, если Генрих ее бросит, она будет сражаться. А если она не уйдет сама, ее придется подтолкнуть, и кроме меня, больше некому. Теперь вы понимаете? Вспомните моего старого хозяина, Вулси. Он не смог исполнить желание короля, и что с ним стало? Его опорочили и уморили. Я не стану повторять ошибок кардинала и постараюсь удовлетворить все желания короля. Нынче Генрих — несчастный рогоносец, но скоро забудет свои печали и снова пойдет под венец.

— Сеймуры уже готовят брачный пир?

Он усмехается:

— А Том Сеймур завивает кудри. В день свадьбы король будет счастлив, я буду счастлив, вся Англия будет счастлива. За исключением Норриса, ибо к тому времени Норрис будет мертв. И с этим ничего не поделать, разве что вы сознаетесь. Генрих обещал проявить милосердие, а ему свойственно держать обещания. В большинстве случаев.

— Я скакал с ним из Гринвича, с турнира, — говорит Норрис. — И всю дорогу Генрих приставал ко мне: сознайся, ты должен сознаться! Я сказал

ему то, что сказал вам: я невиновен. Но что хуже всего, — и тут Норрис не выдерживает и взрывается, — и вы, и он это знаете! Скажите, почему я? Почему не Уайетт? Все подозревали их с Анной, и разве он когда-нибудь отрицал? Уайетт знал ее в Кенте. Знал с детства!

— И что с того? Уайетт знал ее невинным ребенком. Допустим, они согрешили в юности. Достойно порицания, но это не измена. Совсем другое дело путаться с женой короля, с английской королевой.

— Мне нечего стыдиться в наших отношениях с Анной.

— А как насчет ваших мыслей о ней? Вспомните, что вы сказали Фицуильяму.

— Я сказал? — вяло переспрашивает Норрис. — Фиц вынес это из моих признаний? Что мне есть чего стыдиться? А если даже есть, Кромвель, если даже я… мысль еще не делает человека преступником.

Он разводит руками:

— Мысли означают намерения, намерения могут быть преступными… Если вы отрицаете, что прелюбодействовали с ней, то, возможно, вы имели намерение овладеть ею по закону, после смерти короля? Ваша жена умерла шесть лет

назад, почему вы снова не женитесь?

— А вы?

Он кивает:

— Сам себя спрашиваю. Однако у меня нет привычки раздавать обещания юным девам. Ради вас Мэри Шелтон поступилась честью.

— Ради меня? — Норрис смеется. — Скажите лучше, ради короля.

— Однако его величество не обещал на ней жениться, а вы обещали и до сих пор не исполнили обещания. Надеялись после смерти короля жениться на Анне? Или склонить ее к прелюбодеянию? Одно из двух.

— Какой бы ответ я ни выбрал, вы все равно меня обвините. Вы обвините меня, даже если я ничего не скажу, примете молчание за согласие.

— Фрэнсис Уэстон думает, что вы виновны.

— Фрэнсис Уэстон способен думать? Впервые слышу! Откуда… — Норрис осекается. — Что, он тоже здесь? В Тауэре?

— В тюрьме.

Норрис качает головой:

— Уэстон мальчишка. Как вы смеете так поступать с людьми короля? Беспечный, своевольный мальчишка, все знают, что мы не ладим.

— Соперничество в любви, это так понятно. —

Он прикладывает руку к сердцу.

— Вот еще! — Гарри взбешен, кровь ударяет в лицо, руки трясутся от злобы и страха.

— А как насчет Джорджа? — спрашивает он. — Должно быть, вы удивлены такому сопернику. Надеюсь, что удивлены. Я не устаю поражаться распущенности вашей братии.

— Зря стараетесь. Кого бы вы ни назвали, я не намерен ни обвинять, ни оправдывать. Мне нечего сказать о Джордже Болейне.

— Как? Нечего сказать в осуждение кровосмесительной связи? Теперь я и впрямь верю, что нет дыма без огня!

— А скажи я, что давно подозревал их в кровосмесительной связи, вы тут же заявите: Норрис, неужто вы допускаете такие мерзости, не пытайтесь меня сбить, отвлечь от собственных злодейств!

Он с восхищением смотрит на узника.

— Не зря вы знакомы со мной двадцать лет, Гарри.

— Признаюсь, я изучал вас. А до вас вашего хозяина, Вулси.

— Это делает вам честь. Какой был государственный муж!

— А кончил изменником.

— Раз уж вы вспомнили Вулси, обратимся к прошлому. Я не стану воскрешать в вашей памяти многочисленные блага, полученные вами из рук кардинала, попрошу лишь вспомнить невинное развлечение, любительский спектакль, который некогда играли при дворе. Пьеску, в которой покойного кардинала черти тащат в преисподнюю.

Он видит, как движутся глаза Норриса, как перед ним проходят давние сцены: яркий свет, жара, улюлюкающая толпа. Они с Болейном держат жертву за руки, Брертон и Уэстон — за ноги. Тащат, роняют, пинают багровую тушу. Четверо, шутки ради превратившие кардинала в животное. Куда делся острый ум Вулси, его доброта, милосердие? Остался воющий зверь, распростертый на полу, сучащий конечностями.

Разумеется, не сам кардинал. Шут Заплатка в багровой кардинальской мантии. Впрочем, зрителям все равно: они свистят, орут и потрясают кулаками. После, за сценой, черти со смехом и бранью стягивают с себя мохнатые джеркины и маски, а он, Томас Кромвель, стоит, прислонившись к стене, и смотрит на них молча, в черной траурной одежде.

От изумления у Норриса отваливается челюсть.

— И что с того? Это же пьеса! Невинное развлечение, вы сами сказали. Вулси уже лежал в могиле, ему было все равно. А когда кардинал впал в немилость, разве я оставил его, разве не я привез ему подарок из рук короля?

Он кивает:

— Соглашусь, остальные вели себя еще хуже. Но ни один из вас не вел себя, как подобает христианину. Вы, словно дикари, набросились на его поместья и имущество.

Продолжать нет смысла. Возмущение на лице Норриса уступает место ужасу. По крайней мере, думает он, Гарри хватило мозгов понять, что стало причиной: не мелкая прошлогодняя обида, а обширная выдержка из книги скорбей, затаенных со времен кардинальской опалы.

— Пора платить, Норрис. И кстати, — добавляет он мягко, — дело не только в кардинале. У нас с вами давние счеты.

Узник поднимает голову:

— А чем вам Марк Смитон насолил?

— Марк? — смеется он. — Мне не понравилось, как он на меня смотрел.

Поймет ли Норрис, если он скажет напрямик? Ему нужны виновные. И он нашел тех, кто виновен. Пусть и не в том, в чем их обвиняют.

Становится тихо. Он сидит, ждет, смотрит на того, кому вскоре предстоит умереть. Прикидывает в уме, как распорядится его должностями и привилегиями. Он постарается распределить их между скромными соискателями, вроде того, с четырнадцатью детьми, который хочет пост смотрителя Виндзорского парка. Валлийские владения перейдут юному Ричмонду, по сути, вернутся королю, стало быть, под его руку. Рейф получит поместье в Гринвиче, будет где жить Хелен с детьми, когда муж при дворе. Кажется, Эдвард Сеймур упоминал, что ему по душе дом Норриса в Кью.

— Вы же не просто отведете нас на эшафот, — говорит Гарри Норрис, — ведь будет расследование, суд? Надеюсь, все случится быстро. Кардинал любил повторять: с тем, что у другого займет год, Кромвель справится за неделю. И не пытайтесь его остановить. Вы потянулись, чтобы схватить Кромвеля, а он уже отмахал двадцать миль, пока вы натягивали сапоги. — Норрис поднимает глаза: — Если намерены казнить меня публично, поторопитесь. Иначе я умру от горя тут, в этой камере.

Он качает головой:

— Не умрете.

Когда-то он и сам верил, что умрет от горя после смерти жены, дочерей, сестер, отца, кардинала. Но пульс продолжает упрямо стучать. Ты думаешь, что сейчас дыхание прервется, однако грудная клетка решает иначе: она поднимается и опускается, заставляя тебя дышать. Ты живешь и благоденствуешь наперекор себе, и тогда Господь вынимает твое трепещущее сердце из груди и взамен дает тебе сердце каменное.

Норрис дотрагивается до ребер.

— Здесь болит с прошлой ночи. Я задохнулся, проснулся от боли и с тех пор не ложился.

— Кардинал говорил то же самое. Говорил, что боль, словно точильный камень в груди. Точильный камень и сталь, острый нож в кишках. Боль отпустила только в самом конце.

Он встает, собирает бумаги, кланяется, выходит.

Генри Норрис; левая рука.

Уильям Брертон. Джентльмен из Чешира. Служил герцогу Ричмонду в Уэльсе и служил дурно. Надменный, бессердечный представитель непокорного рода.

— Обратимся к временам покойного кардинала, — говорит он. — Помните старую историю про вашего родича, который убил партнера во время

игры в шары?

— Порой в игре теряют голову, — говорит Брертон. — Сами знаете. Ваш ход, я весь внимание.

— Тогда кардинал решил, что вы должны заплатить, и вашу семью оштрафовали. Я и спрашиваю себя, изменилось ли что-нибудь с тех пор? Или вы до сих пор считаете, что вам закон не писан, раз уж вы служили герцогу Ричмонду и вам покровительствует Норфолк?

— Мне покровительствует король.

Он поднимает бровь:

— Неужели? Тогда вам следует немедля воззвать к вашему покровителю. Вам не кажется, что вас держат в черном теле? К несчастью для вас, короля здесь нет, приходится иметь дело со мной и моей долгой памятью. Однако обратимся к фактам. Помните того джентльмена из Флинтшира, Джона ап Айтона? Вряд ли вы забыли.

— Так вот почему я здесь, — говорит Брертон.

— Не совсем, но оставим на время вашу прелюбодейственную связь с королевой и поговорим об Айтоне. Думаю, на память вы не жалуетесь. В игре вспыхнула ссора, соперники обменялись ударами, один из ваших родичей погиб, а некто Айтон предстал перед лондонским судом и был оправдан. Вы поклялись отомстить и похитили

того человека, грубо поправ закон. Ваши слуги повесили его, и все это — не смей прерывать меня, молокосос! — с вашего полного одобрения. Вы решили, что значит один человек, кому он нужен? Но вы ошиблись. Вы решили, прошел год, и все забыли. Но я помню. Вы решили, закон вам не писан, и вы можете вести себя так, как привыкли в своих владениях на границе, где королевское правосудие попирается каждый Божий день! Ваш дом — воровской притон.

— Вы называете меня похитителем людей?

— Я говорю, что вы якшаетесь с похитителями, но отныне вашим бесчинствам пришел конец.

— А вы теперь суд, присяжные и палач в одном лице?

— У бедного Айтона не было и того.

— Ваша правда, — признает Брертон.

Какое падение. Всего несколько дней назад Брертон жаловался ему, что земли чеширских аббатств уплывают из его рук. Наверняка вспоминает, с какой холодной надменностью учил господина секретаря: конклав судейских из Грейс-инн нам не указ, в моих владениях закон устанавливает моя семья, закон — это то, что считаем законом мы.

Теперь он, господин секретарь, спрашивает:

— Как вы считаете, Уэстон имел сношения с королевой?

— Возможно. — Кажется, Брертону уже все равно. — Я мало его знаю. Он молод, глуп и хорош собой, а женщинам только того и надо. А она, хоть и королева, всего лишь женщина, падкая на лесть.

— По-вашему, женщины глупее мужчин?

— Как правило. И слабее. В любовных делах.

— Я запишу ваши слова.

— А что Уайетт, Кромвель? Почему до сих пор о нем ни слова?

— Вопросы здесь задаю я, — говорит он.

Уильям Брертон; левая нога.

Джорджу Болейну далеко за тридцать, но красота, которой тот славился с юности, осталась при нем, взор светел, кровь играет. Нелегко представить, что этот приятный господин так охоч до запретных удовольствий, как уверяет его жена. Возможно, вся вина Джорджа в том, что тот порой слишком горд и чванлив, слишком оторван от грешной земли? С такой внешностью и талантами Джордж мог парить над королевским двором с его топорными интригами, изысканный и утонченный, внутри собственной сферы: заказывал бы переводы античных поэтов и вы-

пускал изящные тома; гарцевал на белоснежных кобылах перед дамами. К несчастью, Джордж резок и раздражителен, хвастлив и любит плести интриги. Мы застаем брата королевы в светлой круглой комнате Мартиновой башни, на ногах, в поисках, на ком сорвать злость, и спрашиваем себя: понимает ли Джордж, почему здесь оказался? Или волнующее открытие для него еще впереди?

— Боюсь, вас почти не в чем упрекнуть, — говорит он, Томас Кромвель, занимая место за столом. — Сядьте, хватит мельтешить. Мне рассказывали, узники умудряются протоптать в камне тропинку, но я не верю. Им потребовалось бы триста лет.

Болейн говорит:

— Вы обвиняете меня в заговоре, в сокрытии прелюбодеяния, совершенного сестрой, но это обвинение ничтожно, потому что никакого прелюбодеяния не было!

— Нет, милорд, не в сокрытии.

— В чем тогда?

— Вас обвиняют в другом. Сэр Фрэнсис Брайан, который славится бурным воображением…

— Брайан! — Болейн испуган, путается в словах. — Но вы же знаете, мы с ним враги! Что, что он сказал, как, как можно ему верить?

— Сэр Фрэнсис мне все разъяснил. Мужчина, почти не знавший сестру, снова встречает ее через много лет. Она такая же, как он, и в то же время другая. Она похожа на него, и это еще больше возбуждает. Однажды родственные объятия затягиваются. Дальше — больше. Возможно, оба не понимают, что происходит, пока не заходят слишком далеко. Насколько далеко, не ведаю, ибо не обладаю воображением сэра Фрэнсиса. — Он замолкает. — Это началось до свадьбы? Или после?

Болейн начинает дрожать.

— Я отказываюсь отвечать.

— Милорд, мне не впервой иметь дело с теми, кто отказывается отвечать.

— Вы угрожаете мне дыбой?

— Разве я пытал Томаса Мора? Мы просто посидели вдвоем в Тауэре, в комнате, похожей на эту. Я слушал бормотание внутри его молчания. Порой молчание бывает весьма красноречивым. Так будет и на сей раз.

Джордж говорит:

— Генрих убил советников отца, убил герцога Бекингема. Погубил кардинала, приблизив его кончину. Отрубил голову величайшему европейскому мыслителю. А теперь задумал уничтожить

жену, ее семью и Норриса, который был его лучшим другом. Что заставляет вас думать, что вы от них отличаетесь и вас минует их судьба?

— Не вам и вашему семейству поминать имя кардинала. А уж тем более Томаса Мора. Ваша сестра жаждала отомстить, не отставала от меня: «Как, Томас Мор все еще жив?»

— Кто меня оклеветал? Не Фрэнсис Брайан. Моя жена? Мне следовало догадаться.

— Вы высказали предположение, но я не обязан с ним соглашаться. Должно быть, вы сильно виноваты перед женой, если допускаете, что она способна измыслить подобное.

— И вы ей поверили? — вопрошает Болейн. — Поверили слову одной женщины?

— Множество женщин пали жертвами вашей неотразимости. Ради их спокойствия я постараюсь избавить этих дам от показаний в суде. Вы привыкли менять женщин как перчатки, милорд, теперь не жалуйтесь, если они отплатили вам той же монетой.

— Выходит, меня будут судить за мои любовные похождения? Это все зависть, вы все мне завидовали, моему успеху у женщин.

— Успеху? Вы по-прежнему называете это успехом?

— Не знал, что это преступление. Предаваться любви по взаимному согласию.

— Не советую вам приводить этот аргумент в свою защиту. Если вы предавались любви с сестрой… судьи сочтут ваши слова… дерзостью. Проявлением неуважения. Вас спасет — речь идет о спасении вашей жизни — только подробное свидетельство об отношениях вашей сестры с другими мужчинами. В ваших интересах отвлечь судей от ваших собственных прегрешений.

— Вы считаете себя христианином и просите меня дать показания, которые погубят мою сестру?

Он разводит руками:

— Я ни о чем не прошу. Я лишь предлагаю возможное решение. Мне неведомо, готов ли король проявить милосердие. Генрих может выслать вас за границу, может смягчить способ казни. Или не смягчить. Изменников казнят публично, они умирают в унижении и страшных муках. Я вижу, вы меня понимаете, видели собственными глазами.

Болейн съеживается, обхватывает себя руками, словно защищая утробу от мясницкого ножа, падает на стул; давно бы так, ведь я говорил, мне не обязательно до тебя дотрагиваться, чтобы

усадить.

— Вы исповедуете истинную веру, милорд, значит, спасены. Однако ваши поступки едва ли заслуживают спасения.

— Не лезьте мне в душу, — говорит Джордж. — Такие вопросы я обсуждаю со священником.

— Вы настолько уверовали в свое прощение, что надеялись жить в грехе еще много лет, и хотя Господь все видит, Он должен был терпеть, пока вы состаритесь и ответите на Его призыв. Или я не прав?

— Я буду говорить об этом с моим духовником.

— Теперь я ваш духовник. Вы прилюдно обвиняли короля в половом бессилии?

Джордж ухмыляется:

— Король бывает мужчиной только в хорошую погоду.

— Выходит, вы сомневаетесь в законном праве принцессы Елизаветы на трон, а это ли не измена? Ведь она — наследница английского престола.

— Faute de mieux[17].

— Теперь король уверен, что ваша сестра не родила ему сына, потому что их брак незаконен. Генрих подозревает скрытый физический изъян,

---

[17] Примечания: 17
За неимением лучшего (фр.).

считает, что Анна была с ним нечестна. Король задумал жениться, и новый брак будет чист.

— Что-то вы разоткровенничались, — замечает Джордж. — Кто бы мог подумать.

— Я хочу лишь, чтобы вы не питали ложных надежд. Священники, о которых вы толкуете, я пришлю их вам. Самое время.

— Господь дарует наследников последнему нищему, — говорит Джордж. — Награждает сыновьями незаконные союзы, а равно и законные, не делая различий между шлюхой и королевой. Я удивляюсь простодушию короля!

— Это святая простота, — отвечает он. — Он помазанный суверен, ближе всех к Господу.

Болейн пристально всматривается в него, подозревая скрытую иронию, но напрасно. Он уверен в своем лице.

Оглядываясь на придворную карьеру Болейна, вы видите: тут Джордж просчитался, а там сплоховал. Здесь подвела гордость, там нежелание обуздать свой норов. Ему еще учиться держать нос по ветру, как умеет его отец, но часы, отпущенные на учение, стремительно истекают. Есть время сохранять достоинство, и время забыть о гордости, если хочешь выжить. Время ухмыляться хорошему раскладу, и время швырнуть на стол

карты и деньги со словами: «Томас Кромвель, ваша взяла».

Джордж Болейн; правая рука.

К тому времени, как он добирается до Фрэнсиса Уэстона (правая нога), семья юноши успевает предложить ему солидную сумму. Он вежливо отказывается. На их месте он поступил бы так же, впрочем, трудно представить, чтобы Грегори или кто-то из его домочадцев свалял бы такого дурака, как этот юнец.

На этом Уэстоны не успокаиваются, обращаются к самому королю, обещая щедрое пожертвование в казну без всяких предварительных условий.

— Я не вправе советовать его величеству, — говорит он Фицуильяму. — Возможно, им удастся добиться смягчения приговора. Зависит от того, насколько задета королевская гордость.

Однако Генрих непреклонен.

— На месте Уэстонов, — заявляет Фицуильям мрачно, — я бы все равно заплатил. На будущее.

Примеру Уэстонов не мешало бы последовать Болейнам (тем, кто выжил) и Говардам. Он еще растрясет древние дубы и каждый год будет получать обильный урожай золотых монет.

Когда он входит в камеру, где содержат Уэстона, тот уже знает, кто арестован, знает или догады-

вается, что ему грозит. Сведения поступают от надзирателей, потому что он, Кромвель, пресек общение между четырьмя обвиняемыми. Другое дело, болтливый тюремщик: никто лучше не склонит заключенного к сотрудничеству.

Вероятно, Уэстону известно, что идея со взяткой провалилась.

Вы смотрите на Кромвеля и думаете; если не взятка, то что? Бесполезно протестовать, отрицать и упорствовать. Остается унизиться, вдруг повезет?

— Я насмехался над вами, сэр, — говорит Фрэнсис. — Я вас недооценивал. Нижайше прошу у вас прощения. Вы — королевский слуга, и мне следовало отнестись к вам с должным уважением.

— Умная защита, — замечает он. — Впрочем, вам следовало бы просить прощения у Господа и короля.

— Вы ведь знаете, я недавно женился, — говорит Фрэнсис.

— И сейчас ваша жена в деревне. Разумное решение.

— Разрешат ли мне написать ей? Моему сыну не исполнилось и года. — Фрэнсис замолкает. — Я хочу, чтобы за мою душу молились после смерти.

Господь сам разберется, но Фрэнсис верит, что

Создателя можно улестить и, возможно, подкупить. Словно в ответ на его мысли, Уэстон говорит:

— Я в долгах. Тысячу фунтов. Теперь я сожалею.

— Странно было бы ждать бережливости от такого щеголя, — замечает он мягко, и Уэстон поднимает глаза. — Разумеется, вы не в состоянии оплатить ваши долги и, даже вступив в права наследства после смерти отца, останетесь должны. Ваша непомерная расточительность заставляет задуматься, на что рассчитывал юный Уэстон?

Мгновение юноша смотрит на него с изумлением и гневом, словно недоумевая: при чем тут его долги? Не сразу до арестанта доходит. Он, Кромвель, протягивает руку и хватает Фрэнсиса за грудки, чтобы не дать тому рухнуть.

— Судьи сразу смекнут, в чем дело. Нам известно, что королева давала вам деньги. Ваше безрассудство легко объяснить. Что для вас тысяча фунтов, раз вы замышляли после смерти короля жениться на вдове.

Почувствовав, что Уэстон может сидеть ровно, он ослабляет хватку. Юноша задумчиво одергивает одежду, расправляет оборки на воротнике.

— Вашу жену не бросят на произвол судьбы, не

тревожьтесь на сей счет. Король не обижает вдов. Осмелюсь предположить, о ней будут заботиться лучше, чем заботились вы.

Уэстон поднимает глаза:

— Я не могу осуждать ваши домыслы и понимаю, как можно истолковать мои поступки. Я вел себя как дурак, а вы были рядом и все видели. Я сам себя погубил. Я также не стану осуждать ваши поступки, в прошлом я делал все, чтобы вам навредить. Я прожил дурно… я прожил… понимаете, я думал, впереди еще лет двадцать или около того, и когда я состарюсь… когда мне будет лет сорок пять — пятьдесят, я стану жертвовать сирым и неимущим, и тогда Господь поймет, как мне совестно…

Он кивает:

— Никто не знает своего часа, верно, Фрэнсис?

— И все же, господин секретарь, в чем я неповинен, так это в прелюбодеянии с королевой. Я вижу по вашему лицу, вы и сами так думаете, и когда меня поведут на смерть, все увидят, что я невиновен. И король поймет и раскается. Обо мне будут помнить, как помнят о тех, кто пострадал невинно.

Жестоко было бы разрушать эту веру: юноша надеется, что в смерти получит славу, которой не

заслужил при жизни. Двадцать пять лет впереди и никакой надежды, что они будут отличаться от первых двадцати пяти.

Выросший под крылом суверена, придворный из семьи придворных, ни разу не усомнившийся в своем высоком статусе, ни разу не возблагодаривший Бога за то, что родился Фрэнсисом Уэстоном, везунчик, с колыбели назначенный служить великому королю и великой нации, не оставляет после себя ничего, кроме долгов, запятнанного имени и сына. Любой способен родить сына, говорит он себе, важно помнить, зачем мы здесь и ради чего все устроено.

— Ваша жена писала королю. Просила о милосердии. У вас остались друзья.

— Что мне с того?

— Вряд ли вы сознаете, сколь многих осиротят нынешние события. Пусть это вас утешит. Не горюйте, Фрэнсис. Любой юный искатель приключений знает, что фортуна переменчива. Смиритесь. Берите пример с Норриса, который никого не винит.

— Возможно, Норрису и впрямь некого винить, кроме себя! — восклицает юноша. — Возможно, он и впрямь искренне раскаивается. Возможно, Норрис заслуживает смерти, но я-то нет!

— Норрис с лихвой заплатил за шашни с королевой.

— Он не отходит от нее на ни шаг! И не говорите мне, что они обсуждают Евангелие.

Вероятно, Фрэнсис готов донести на Норриса. Тот почти признался Уильяму Фицуиляму, но вовремя прикусил язык. Неужели дошло до фактов? Он ждет: арестант прячет лицо в ладонях. Внезапно, сам не зная почему, он встает, извиняется, выходит вон.

Снаружи Ризли и остальные подпирают стены, перекидываясь шутками. Завидев его, молодые люди выпрямляются.

— Мы закончили? — спрашивает Ризли. — Признался?

Он качает головой.

— В чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем. Каждый будет твердить о собственной невиновности, но никто не скажет: «Она невинна». Кишка тонка.

Как однажды сказал ему Уайетт: «А хуже всего ее намеки, почти похвальба, что она говорит “нет” мне и “да” другим».

— Значит, признаний вы не добились, — говорит Ризли. — Хотите отдать арестантов нам?

Он одаривает Зовите-Меня взглядом, от которо-

го тот отшатывается, наступая на ногу Ричарду Ричу.

— Что, Ризли, решили, я слишком мягок к юным?

Рич спрашивает, потирая ногу:

— Нам составить обвинения?

— И подлиннее. Извините, я должен выйти.

Рич решает, ему надо в нужник. Он и сам не знает, что заставило его выскочить из комнаты. Возможно, фраза Уэстона, что когда-нибудь ему исполнится сорок пять или пятьдесят. Словно, миновав середину жизни, впадаешь в детство. Его тронули эти слова, их наивность. Или просто захотелось глотнуть свежего воздуха. Представьте, вы в комнате, окна на замке, и вы явственно ощущаете близость других тел и меркнущий свет. В комнате вы строите догадки, играете, двигаете своих слуг: умозрительные фигуры, твердые, словно слоновая кость, черные, как эбеновое дерево, прокладывают путь по квадратам. Затем вы говорите: я больше не вынесу, дайте вдохнуть; выскакиваете в запущенный сад, где виновные свисают с деревьев, больше не слоновая кость, больше не эбеновое дерево, ныне во плоти. Их скорбные языки твердят о вине, пока они испускают дух. Следствие предшествует причине. То,

что вы воображаете, уже свершилось. Вы тянетесь к ножу, но кровь пролита. Агнцы забиты и съедены. Сами выложили на стол ножи, сами себя разделали, сами оставили от себя одни кости.

Май цветет даже на городских улицах. Он посылает дамам в Тауэр цветы. Кристофу велено доставить букеты. Юноша растолстел и выглядит, словно жертвенный бык, украшенный гирляндами. Интересно, что они делали с мясом, язычники и ветхозаветные евреи? Раздавали бедным?

Анна живет в покоях, отремонтированных к ее коронации. Он лично следил за работами, наблюдая, как богини с черными лучистыми очами расцветают на стенах. Богини нежатся на траве под кронами кипарисов, белая голубка смотрит сквозь листву, охотники направляются на охоту, гончие вприпрыжку несутся впереди, исполняя свою собачью музыку.

При его появлении леди Кингстон встает.

— Сидите, дорогая мадам, — говорит он.

Где Анна? Ее нигде не видать.

— Молится, — отвечает одна из теток Болейн. — Поэтому мы оставили ее одну.

— Это было давно, — говорит другая тетка. — Вы уверены, что она не привела туда мужчину?

Тетушки прыскают, он не поддерживает обще-

го веселья, леди Кингстон бросает на хохотушек тяжелый взгляд.

Из крохотной молельни появляется королева, она слышала голоса. Солнечные лучи падают ей на лицо. Леди Рочфорд права: Анна увядает. Если не знать, что некогда эта женщина держала в ладони королевское сердце, вы не найдете в ее облике ничего примечательного. Вероятно, теперь ей всегда будет свойственно это выражение напускного легкомыслия и деланной робости. Постепенно Анна превратится в одну из тех женщин, которые и в пятьдесят мнят себя красавицами, мастериц напустить туману, что хихикают, словно юные девушки, жеманно касаются вашей руки и при виде красавчиков-простофиль вроде Тома Сеймура обмениваются с товарками лукавыми взглядами.

Впрочем, ей никогда не будет пятьдесят. Вероятно, он в последний раз видит Анну-королеву до суда. Она садится в уголке, среди женщин. От реки несет прохладой, и даже в этих нарядных комнатах висит сырость. Он спрашивает, не прислать ли мехов.

— Да. Горностаев. А еще замените этих женщин. Я желаю сама выбрать себе окружение.

— Леди Кингстон здесь, потому что…

— Она для вас шпионит.

— …она ваша хозяйка.

— А я, стало быть, гостья? И как гостья вольна уйти, когда захочу?

— Я полагал, вы не станете возражать против мистрис Орчард, вашей кормилицы. А что до ваших тетушек…

— Они меня ненавидят, все до одной, знай злословят да хихикают.

— Иисусе! А вы ожидали аплодисментов?

Болейны все такие: терпеть не могут собственную родню.

— Когда я выйду отсюда, вы не посмеете разговаривать со мной в таком тоне.

— Простите. Я сказал не подумав.

— Не понимаю, что взбрело в голову королю. Зачем он меня тут держит? Испытывает? Это какая-то уловка?

Он так не думает, потому не отвечает.

— Я хочу увидеться с братом, — говорит Анна.

Ее тетя леди Шелтон поднимает глаза от рукоделия и замечает:

— Нельзя придумать просьбы глупее.

— А где мой отец? Не понимаю, почему он меня не защищает.

— Ему повезло, что остался на свободе, — гово-

рит леди Шелтон. — От Томаса Болейна помощи не дождешься, всегда думает только о себе, мне ли не знать.

Анна пропускает слова тетки мимо ушей.

— А мои епископы? Я ли не защищала их, я ли их не поддерживала? Почему они не замолвят за меня словечко перед королем?

Тетушки Болейн хохочут:

— Чтобы епископы стали защищать блудницу?

Очевидно, этот процесс уже проигран Анной.

— Помогите королю, — советует он. — Если он не проявит милосердие, вам не на что надеяться. Но вы еще можете помочь дочери, Елизавете. Чем скромнее и тише вы будете держаться в суде, чем более искренним будет ваше раскаяние, тем с меньшей горечью его величество будет вспоминать о вас впоследствии.

— Ах вот как, в суде… — В Анне просыпается былая резкость. — В каком суде?

— Сейчас джентльмены дают показания.

— Показания? — переспрашивает Анна.

— Вы слышали, — отвечает леди Шелтон. — Ради вас они не станут лгать и изворачиваться.

— Возможно, будут еще аресты и новые обвинения, но в ваших силах сделать процесс менее

болезненным для всех. Джентльменов будут судить вместе. Вы и ваш брат, в силу вашего высокого положения, предстанете перед судом пэров.

— У них нет свидетелей. В чем бы меня ни обвиняли, я буду отрицать.

— Пусть так, — говорит он, — хотя относительно свидетелей вы заблуждаетесь. Когда вы были на свободе, ваши фрейлины лгали вам в угоду. Сейчас они осмелели.

— Не сомневаюсь. — Анна выдерживает его взгляд, в тоне — презрение. — Как и эта Сеймур. Передайте ей от меня: Господу ведомы ее уловки.

Он встает, собирается уходить. Присутствие Анны лишает его силы духа, нестерпимо ощущать ее душевную боль, готовую прорваться каждую минуту. Все слова сказаны, пора уходить, но он медлит.

— Если король решит аннулировать ваш брак, я вернусь, чтобы записать ваши показания.

— Еще и это? — спрашивает Анна. — Разве моей смерти недостаточно?

Он кланяется, поворачивает к двери.

— Нет!

Анна вскакивает, робко касается его руки. Словно доброе мнение Кромвеля значит для нее не меньше свободы.

— Вы ведь не поверили всем этим россказням? Я знаю, в глубине души вы им не верите. Кремюэль?

Он медлит на краю чего-то непрошеного: лишнего знания, бесполезной информации. Поворачивается к ней, подается вперед…

И тут она прижимает руки к груди жестом, который демонстрировала ему леди Рочфорд. Вот как, царица Эсфирь. Она не невинна, а лишь изображает невинность. Его руки падают, он отворачивается. Анне неведомо раскаяние. И нет такого греха и преступления, на которое она не способна. Эта женщина — дочь своего отца, и все, чего добивается, уговорами или принуждением, обращает к своей выгоде. Однако довольно одного жеста, чтобы разрушить козни.

Он видит, как меняется ее лицо. Анна отступает назад, обхватывает горло руками, сжимает, словно душит себя.

— У меня очень тонкая шея, — говорит она. — Они справятся без труда.

Кингстон спешит ему навстречу, коменданту нужно выговориться.

— Она не унимается! Все время держит руки на горле. И смеется.

На честном лице тюремщика смятение.

— Смеется без повода. Говорит всякие глупости. Что дождь не прекратится, пока ее не освободят. Или не начнется. И прочее в том же духе.

За окном шумит летний дождик. Скоро он закончится, и солнце вмиг высушит камни.

— Моя жена пробует ее урезонить, — рассказывает Кингстон. — А она спрашивает меня: мастер Кингстон, дождусь ли я правого суда? Мадам, отвечаю я, самый бедный королевский подданный может рассчитывать на правосудие. Она знай себе смеется, заказывает обед, поглощает его с отменным аппетитом. А еще говорит стихами. Моя жена их не запоминает. По словам королевы, стихи принадлежат Уайетту. Ах, Уайетт, Уайетт, вздыхает она, когда же я увижу тебя рядом?

В Уайтхолле он слышит Уайетта и идет на голос, а сопровождающие вьются вокруг. У него никогда еще не было такой свиты, некоторых он знать не знает. Чарльз Брэндон, герцог Суффолкский, Чарльз Брэндон, громадный, словно дом, нависает над Уайеттом. Эти двое увлеченно орут друг на друга.

— Что вы здесь делаете?

Уайетт обрывает разговор на полуслове и бросает через герцогское плечо:

— Миримся.

Он смеется. Брэндон грузно отступает в сторону, ухмыляясь в бороду.

— Я умолял его отбросить старую вражду. Смерти он моей, что ли, добивается? — Уайетт с неприязнью смотрит герцогу в спину. — Брэндон не упустит случая. Герцог давно наговаривал королю на меня и Анну.

— Однако, если помните, Генрих отослал его в восточные земли.

— Миновали те времена. Теперь убедить Генриха несложно.

Он тянет Уайетта за руку. Ему удалось сдвинуть с места Чарльза Брэндона, он справится с любым.

— Я не собираюсь обсуждать это на публике. Я пригласил вас не за тем, глупец, чтобы вы с дерзким видом разгуливали у всех на виду, заставляя людей спрашивать себя: неужели Уайетт до сих пор на свободе?

Уайетт кладет ладонь поверх его руки, глубоко вдыхает, собирается с духом.

— Отец велел мне не отходить от короля ни днем ни ночью.

— Это невозможно, король никого не принимает. Вам следовало идти ко мне, в здание судебных архивов, а затем…

— Если я войду в ваш дом, скажут, что меня арестовали.

— Никто из моих друзей не пострадает, — говорит он тихо.

— За последний месяц вы обзавелись странными друзьями. Паписты, сторонники леди Марии, Шапюи. Сейчас у вас общие цели, но что потом? Что, если они окажутся проворнее, когда вашей дружбе придет конец?

— Думаете, дом Кромвеля так легко разрушить? — спокойно возражает он. — Верьте мне. Впрочем, выбирать вам не приходится.

Идут из дома Кромвеля в Тауэр, в сопровождении Ричарда Кромвеля. Все проходит так гладко, так по-дружески, словно эти двое собрались поохотиться.

— Просите коменданта принять мастера Уайетта со всевозможным почтением, — инструктирует он Ричарда. — Это единственное безопасное место, — обращается он уже к Уайетту. — В Тауэре никто не посмеет приставать к вам с расспросами без моего ведома.

— Если я туда войду, обратно меня не выпустят, — говорит Уайетт. — Ваши новые друзья этого не допустят.

— Им со мной вовек не расплатиться, — отвеча-

ет он просто. — Вы же меня знаете, Уайетт. Мне ведомо, кто чего стоит и кто на что способен. И я говорю не только о деньгах. Я взвесил и оценил ваших врагов. Я знаю, на что они способны и на что не способны. И поверьте, если им случится меня разозлить, они дорого заплатят. Я оберу их до нитки.

Когда Уайетт и Ричард уходят, он, хмурясь, говорит Ризли:

— Когда-то Уайетт называл меня умнейшим человеком в Англии.

— Уайетт вам не льстил, — отвечает Зовите-Меня. — Я не устаю учиться у вас.

— По-настоящему умен не я, а сам Уайетт. Мы ему в подметки не годимся. Он выражает себя в том, что написал, и тут же опровергает написанное. Набрасывает стих на обрывке бумаги и сует его вам за обедом или во время службы. А после отдает тот же стих кому-нибудь другому, изменив одно слово. И когда этот кто-то спрашивает, читали ли вы последнее стихотворение Уайетта, вы отвечаете утвердительно, но на деле вы говорите о разном. А если вам удастся припереть Уайетта к стене и поинтересоваться, неужели он и впрямь проделывал то, о чем написал, он улыбнется и скажет, что писал о некоем вооб-

ражаемом джентльмене. Или что история вовсе не про него, а про вас, хотя вы о ней впервые слышите. Эта женщина, брюнетка, на самом деле светловолосая. Можете верить всему или ничему из написанного, провозглашает он. Тогда вы находите место на странице и тыкаете пальцем: эта строка, она правдива? Правдива, отвечает он, в поэтическом смысле. А кроме того, я все равно не могу писать так, как бы мне хотелось. Меня ограничивает не король, но ритм. Я и хотел бы выражаться яснее, однако вынужден придерживаться размера.

— Кто-то должен напечатать его стихи, — говорит Ризли. — Чтобы сохранить их неизменными.

— Уайетт на это не согласится. Его стихи — не для посторонних.

— На его месте, — замечает Ризли, — я бы не хотел быть неверно истолкованным. И держался бы подальше от цезаревой жены.

— Мудрая тактика, — улыбается он. — Для людей вроде нас с вами, но не для Уайетта.

Строки из-под Уайеттова пера обретают крылья, то взмывая над смыслом, то подныривая под него. В них сказано, что законы власти и законы войны одинаковы, а цель искусства — лгать. Тебе суждено обманывать и обманываться, будь ты

дипломат или влюбленный. Ты рассуждаешь о природе обмана и думаешь, что схватил суть, но ты сам будешь обманут, сожмешь ладонь, а там пусто. Закон пишется, чтобы удержать суть, поэма — чтобы ее затемнить. Острое перо колышется и шелестит, словно ангельские крылья. Ангелы — посланники, наделенные разумом и волей. Нам неведомо, похожи ли их крылья на соколиные, вороньи или павлиньи. Нынче ангелы редко удостаивают нас визитами. Впрочем, в Риме он знавал слугу, который поворачивал вертела на папской кухне и однажды столкнулся с ангелом лицом к лицу. В сыром коридоре, сочащемся влагой, в затопленной кладовой Ватикана, куда кардиналы не захаживают. Люди угощали слугу вином, чтобы послушать его рассказ. Слуга утверждал, что на ощупь ангел гладкий и твердый, как мрамор, взгляд его холоден и безжалостен, а крылья вырезаны из стекла.

Когда обвинительный акт попадает к нему в руки, он безошибочно угадывает за рукой судейского почерк короля. Слышит голос Генриха за каждой строкой: королевскую ненависть, ревность, страх. Недостаточно утверждать, что Норриса Анна подстрекала к преступной связи в октябре тысяча пятьсот тридцать третьего, а Бре-

ртона — в ноябре того же года, нет, воображению Генриха рисуются «грязные разговоры, поцелуи, прикосновения и подарки». Мало заявить, что она вела себя неподобающе с Фрэнсисом Уэстоном в мае тысяча пятьсот тридцать четвертого, а с Марком Смитоном, простолюдином, прелюбодействовала в апреле прошлого года, нет, королю важно упомянуть о жарких ссорах и бешеной ревности, которую Анна питала ко всем женщинам. Хватило бы простого упоминания, что Анна согрешила с собственным братом, нет, пусть все знают о поцелуях, подарках, драгоценностях и о том, как она «возбуждала его, просовывая свой язык в рот вышеупомянутому Джорджу, а вышеупомянутый Джордж отвечал ей тем же». Это больше похоже на досужую болтовню с леди Рочфорд или другой любительницей сплетен, чем на судебный документ. Впрочем, в подобных формулировках есть смысл: те, кому предстоит выслушать эту душераздирающую историю, не скоро ее забудут.

— Добавьте в каждый пункт «в дни, предшествовавшие, а также последовавшие за преступным деянием», — велит он.

Или другую подобную фразу, пусть все знают: деяния совершались неоднократно, возможно,

чаще, чем помнят обвиняемые.

— Даже если окажется, что некое преступление в действительности не имело места, — добавляет он, — оспорить обвинение в целом не удастся.

Только послушайте, что говорит Анна! Если верить документу, она признается, что «никогда не питала к королю искренней привязанности».

Никогда. Ни тогда, ни сейчас.

Он хмурится над бумагами, отдает их клеркам. Слышен ропот. Не следует ли добавить в список обвиняемых Уайетта? Нет, ни в коем случае. Если король зайдет так далеко и Уайетту суждено предстать перед судом, нельзя допустить, чтобы его судили вместе с этой шайкой. С Уайеттом мы начнем с чистого листа, ибо после нынешнего процесса осужденным прямая дорога на плаху.

А если люди, осведомленные о перемещениях двора, заметят противоречия в показаниях? Брертон однажды заявил мне, возражает он, что способен быть в двух местах одновременно. А также и Уэстон. Любовники Анны — иллюзорные джентльмены, вовлекшие королеву в грех. Они приходят и уходят, и никому из них нет отказа. Словно мошкара скользят над рекой, поблескивая во тьме, дублеты расшиты алмазами. Луна взирает на них, воды Темзы отражают их, мерца-

ющих, как рыбы или жемчужины.

Его новые союзники, Куртенэ и Полы, делают вид, будто не удивлены обвинениями против Анны. Эта женщина — еретичка, а равно и ее братец. А еретикам, как известно, неведомы приличия, их не сдерживают законы, ни человеческие, ни божественные. Они ничем не брезгуют, берут все, что идет в руки. А те, кто (по глупости) потакал еретикам из лени или жалости, теперь могут лицезреть их истинную натуру.

Поделом Генриху Тюдору, приговаривают старые семейства, будет ему хороший урок. Может быть, Рим протянет королю руку помощи? Теперь, когда Анна почитай что мертва, если Генрих приползет к папскому престолу на коленях, возможно, Папа простит его и примет в свои объятия?

А как же я, спрашивает он. Вы, Кромвель? Новые хозяева взирают на него с рассеянным отвращением.

— Я стану вашим блудным сыном, — улыбается он. — Вашей заблудшей овцой.

В Уайтхолле придворные сбиваются в тесные группки, что-то приглушенно обсуждают, ощетинившись локтями, сжимая кинжалы на поясе. Хмурые судейские шепчутся по углам.

А нельзя ли освободить короля малой кровью, сэр, спрашивает Рейф.

Однажды, говорит он, когда ты устанешь торговаться и договариваться и решишь идти до конца, действуй быстро и безукоризненно. Враг не успеет и глазом моргнуть, а ты уже занес его имя в список арестантов, блокировал порты, подкупил жену и детей. Его наследники — под твоей опекой, его деньги — в твоих сундуках, его собака отзывается на твой свист. Прежде чем враг проснется, ты должен стоять у его изголовья с топором наготове.

Когда он, Томас Кромвель, приходит навестить Уайетта в тюрьме, комендант Кингстон спешит уверить его, что к арестованному относятся со всевозможным почтением.

— А королева, как она?

— Места себе не находит, — отвечает расстроенный Кингстон. — Я повидал немало заключенных, но она беспокойней всех. То говорит, я знаю, что должна умереть, то обратное. Думает, король приплывет за ней и заберет ее обратно во дворец. Надеется, что произошла ошибка и скоро все разъяснится. Что король Франции вмешается и защитит ее.

Тюремщик огорченно качает головой.

Он застает Томаса Уайетта за игрой в кости — занятием, которое старый сэр Генри Уайетт не одобрил бы.

— И кто в выигрыше?

Уайетт поднимает глаза.

— Этот горланящий идиот, мое лучшее я, играет против того ноющего дурака, моего худшего я. Догадайтесь, кто в выигрыше. Впрочем, всегда есть вероятность, что роли поменяются.

— Вам здесь удобно?

— Телу или духу?

— Моя забота — тела.

— Вас ничем не смутишь, — говорит Уайетт, в голосе невольное восхищение напополам со страхом.

Еще как смутишь, думает он, Кромвель, только об этом не пишут в депешах. Уайетт не видел, как я выходил от Уэстона. Не видел, как Анна робко коснулась моей руки и спросила, неужели я верю во все эти россказни.

Он садится, не сводя глаз с заключенного, говорит:

— Я всю жизнь к этому шел. Учился сам у себя.

Его карьера построена на лицемерии. В глазах, что некогда смотрели с презрением, нынче лишь уважение, впрочем, поддельное. Руки, что

тянулись сбить с него шляпу, теперь простерты для дружеского объятия, грозящего обернуться сломанными ребрами. Он развернул врагов к себе лицом, словно в танце, а теперь намерен развернуть в обратную сторону: позволить им оглянуться на долгие холодные годы, ощутить дуновение холодного ветра, что пробирает до кости. Чтобы враги ложились спать, выбившись из сил, а поутру вставали, ежась от холода.

— Я запишу все, что вы скажете, но даю вам слово: как только дело завершится успешно, я уничтожу записи.

— Успешно? — переспрашивает Уайетт, изумленный выбором слова.

— Король узнал, что его жена изменяла ему с несколькими мужчинами: один из них — ее брат, другой — лучший друг, третий — слуга, которого, по ее словам, она едва знала. Зеркало правды разбито, говорит Генрих. Собрать осколки — это ли не успех?

— Что значит — узнал? Откуда? Никто, кроме Марка, не признался. А что, если Марк солгал?

— Но он признался, так почему мы должны сомневаться? Наше ли дело убеждать его в собственной неправоте? Для чего тогда существуют суды?

— Но где доказательства? — настаивает Уайетт.

Он улыбается:

— Правда постучалась у дверей, закутавшись в плащ с капюшоном. И Генрих впустил ее, потому что давно знал. Правда не пришла незваной гостьей. Томас, я думаю, король знал всегда. Знал, что она изменяла ему если не телом, то словами, если не делом, то в мечтах. Она никогда его не любила, а он бросил к ее ногам весь мир. Генрих уверен, что никогда не удовлетворял ее, и даже когда лежал рядом, она воображала на его месте другого.

— Нашли чем удивить, — говорит Уайетт. — Этим кончается любой брак. Не знал, что это преступление перед законом. Помилуй Бог! Да половину Англии следовало бы бросить в темницу!

— Одни обвинения пишутся на бумаге, другие мы не доверяем перу.

— Если чувство есть преступление, то я признаюсь…

— Ни в чем вы не признаетесь. Норрис признался, что любит ее. Если от вас потребуют признания, не признавайтесь ни за что в жизни.

— Но чего хочет Генрих? У меня голова идет кругом.

— Король мечется. Ему хочется прожить жизнь заново. Никогда не встречать Анну. Встретить ее, но пройти мимо. А больше всего ему хочется, чтобы она умерла.

— Хотеть еще не значит мочь.

— Значит, если мы говорим о Генрихе.

— Насколько я сведущ в законах, прелюбодеяние — не измена.

— Да, но те, кто принудил королеву к прелюбодеянию, изменники.

— Вы думаете, они брали ее силой? — спрашивает Уайетт сухо.

— Нет, это всего лишь юридический термин. Предлог думать лучше о королеве, навлекшей на себя позор. Впрочем, Анна тоже изменница, она сама призналась, собственными устами. Желать королю смерти — измена.

— И снова прошу простить мою непонятливость, — говорит Уайетт. — Полагаю, Анна сказала нечто вроде «если король умрет». Позвольте мне порассуждать. Выходит, если я скажу: «Все люди смертны», то напророчу Генриху смерть?

— На вашем месте я не увлекался бы рассуждениями, — произносит он мягко. — Томаса Мора сгубили именно они. А теперь займемся вами. Мне может понадобиться ваше свидетельство

против королевы. Достаточно, если оно будет на бумаге, незачем произносить его в суде. Давным-давно, у меня в гостях, вы обмолвились, что Анна говорит мужчинам: «Да, да, да, да, нет».

Уайетт кивает, узнавая свои слова, жалея, что произнес их.

— Вам нужно переставить в вашем свидетельстве лишь одно слово. Да, да, да, нет, да.

Уайетт не отвечает. Молчание длится, оседая вокруг, усыпляющее молчание: на деревьях раскрываются листья, благоухают цветы, вода журчит в фонтанах, в садах слышен молодой смех.

Когда Уайетт подает голос, в нем слышна натянутость:

— Это не доказательство.

— Какая разница? — Он подается вперед. — Я здесь не для того, чтобы переливать из пустого в порожнее. Я не могу расколоться надвое, быть вашим другом и королевским слугой. Поэтому ответьте: вы готовы подписать признание и, если потребуется, произнести одно слово? — Он откидывается назад. — И тогда, если вы убедите меня в своей лояльности, я напишу вашему отцу. Скажу ему, что его сын выбрался живым из этой передряги. — Он замолкает. — Так я напишу ему?

Уайетт кивает. Самый скупой из жестов, кивок будущему.

— Вот и хорошо. А после, в качестве компенсации за ваше пребывание здесь, я позабочусь снабдить вас некоей суммой.

— Не стоит. — Уайетт с неохотой отводит глаза. Чистое ребячество.

— Стоит, поверьте. Вы задолжали в Италии. Ваши кредиторы приходят ко мне.

— Я не ваш брат, а вы мне не опекун.

— Если вы дадите себе труд задуматься, то поймете, что ошибаетесь.

Уайетт говорит:

— Я слыхал, Генрих решил аннулировать брак. Убить ее и развестись с ней в один и тот же день. Это так похоже на Анну. Все или ничего. Ей мало было стать его любовницей, ей непременно нужна была корона. Попрать веру, переписать законы, ввергнуть страну в хаос. Если Генриху потребовалось столько усилий, чтобы заполучить Анну, то сколько же стоит от нее избавиться? Даже ее смерти ему будет мало.

— Вы совсем ее разлюбили? — любопытствует он.

— Она истощила мою любовь, — бросает Уайетт. — А возможно, и не было никакой любви, я

сам в себе не уверен, вы меня знаете. Осмелюсь заметить, многие мужчины испытывали к Анне разные чувства, но любил ее только король. А теперь Генрих уверен, что она обвела его вокруг пальца.

Он встает:

— Я напишу вашему отцу. Объясню, что ради вашей безопасности вы пробудете здесь еще какое-то время. Но сначала я должен… нам казалось, Генрих оставил мысль об аннулировании брака, но король передумал, поэтому…

Разрешая его затруднения, Уайетт заканчивает за него:

— Придется вам идти на поклон к Гарри Перси.

Прошло почти четыре года с тех пор, как в грязном трактире «Марк и лев» ему удалось вбить в голову Гарри Перси одну, но поворотную истину: его светлость, каковы бы ни были его собственные измышления по этому поводу, никогда не был женат на Анне Болейн. Тогда он грохнул кулаком об стол и заявил юному графу, что если тот не уберется с пути короля, то будет уничтожен: он, Томас Кромвель, позволит кредиторам его разорить. Грохнул кулаком и пригрозил, что если Гарри Норрис не забудет Анну Болейн и свои притязания, ее дядюшка Норфолк отыщет его в

любой норе и откусит ему яйца.

За эти годы жизнь не раз сталкивала его с Гарри Перси. С тех пор юный граф превратился в развалину, по уши увяз в долгах, и каждый день приближает его к разорению. Все вышло, как он предсказывал, за исключением того, что граф еще сохранил свои яйца.

После беседы в «Марке и льве» Гарри Перси, не просыхавший несколько дней кряду, велел слугам смыть с одежды рвоту и предстал перед королевским советом: небритый, дрожащий, зеленого цвета, воняя перегаром, доверив ему, Томасу Кромвелю, изложить правдивую повесть своей безрассудной страсти. В ней граф отрекся от любых притязаний на Анну Болейн, отрицал наличие между ними брачного договора, клялся честью, что никогда не состоял с ней в блудной связи, и она вольна претендовать на королевскую руку, сердце и брачное ложе. В чем и присягнул на Библии, которую держал перед ним престарелый Уорхем, бывший архиепископом до Томаса Кранмера, скрепляя клятву святым причастием под взглядом Генриха, буровящим его спину.

Теперь он, Кромвель, скачет к графу в родовое поместье Сток-Ньюингтон, к северо-востоку от кембриджской дороги. Слуги Перси уводят их

коней, но, прежде чем зайти внутрь, он делает шаг назад и поднимает глаза на крышу и трубы.

— Материалу фунтов на пятьдесят, не меньше, иначе зимой потечет, — говорит он Томасу Ризли. — Не считая работы.

Он перебарывает искушение спросить лестницу и самому оценить состояние свинцовых полос, но это несовместимо с его высоким положением. Господин секретарь волен поступать, как ему вздумается, однако начальник судебных архивов должен помнить о своем освященном веками статусе и вести себя соответственно. Впрочем, возможно, ему не возбраняется влезть на крышу в качестве викария короля по делам англиканской церкви. Должность новая, традиции еще не сложилось.

Он усмехается. Должно быть, достоинство мастера Ризли будет оскорблено, если попросить того сбегать за лестницей.

— Я забочусь о своих вложениях, — объясняет он Зовите-Меня. — Своих и королевских.

Граф должен ему немалую сумму, но куда больше — десять тысяч фунтов — королю. После смерти Гарри Перси его собственность достанется казне. Таким же хозяйским взглядом он оценивает состояние графа: цвет желтушный,

щеки впали, выглядит старше своих тридцати четырех — тридцати пяти. Кислый запашок, висящий в воздухе, напоминает ему Кимблтон, покойную королеву: спертый тюремный воздух, рвотную вонь от таза, который торопливо унесла служанка.

— Не мой ли приезд стал причиной вашего нездоровья? — спрашивает он без особой надежды.

Граф смотрит печально.

— Нет. Говорят, печень. Должен признать, Кромвель, вы обошлись со мной не слишком сурово. Учитывая…

— Учитывая то, чем грозился. — Он с грустью качает головой. — О Господи, а нынче я стою перед вами, смиренный проситель. И вам ни за что не угадать причину моего визита.

— Давайте попробую.

— Я приехал уведомить вас, милорд, что вы женаты на Анне Болейн.

— Нет.

— Примерно в тысяча пятьсот двадцать третьем вы заключили тайный союз, а стало быть, ее так называемый брак с королем недействителен.

— Нет.

Внезапно в графе вспыхивает гнев, отблеск

славы древнего рода, тот пограничный огонь, что пылает на северных рубежах королевства, устрашая шотландцев.

— Вы заставили меня присягнуть, Кромвель. Пришли за мной в трактир «Марк и лев», угрожали. Силком притащили в совет, заставили клясться на Библии, подчиниться королевской воле, причаститься. Вы видели меня, вы меня слышали. Как я могу отступиться от своих слов? Вы же сами объявите меня клятвопреступником.

Граф вскакивает. Он остается сидеть. Не потому, что хочет унизить Гарри Перси, просто боится не сдержаться и отвесить тому оплеуху, а бить слабых и больных — не в его правилах.

— Не клятвопреступником, — мягко отвечает он. — Вас подвела память.

— Я женился на Анне, а потом забыл?

Он откидывается в кресле, изучая противника.

— Вы всегда были пьяницей, милорд, что и стало причиной вашего нынешнего плачевного состояния. Как вы справедливо заметили, я притащил вас в совет из таверны. Возможно, вы не успели протрезветь? К тому же были смущены, сбиты с толку.

— Я был трезв.

— У вас болела голова, вас мутило. Вы боялись

сблевать на почтенные башмаки архиепископа Уорхема, и эта мысль настолько поглотила вас, что вы не могли думать ни о чем другом. Вы не прислушивались к вопросам, которые вам задавали. Это вполне простительно.

— Но я прислушивался, — возражает граф.

— Любой из членов совета вас поймет. Всем нам время от времени случается перебрать.

— Господь свидетель, я прислушивался!

— Хорошо, давайте зайдем с другого боку. Возможно, сама церемония совершалась с нарушениями. Старый архиепископ уже тогда был не здоров. Я помню, как тряслись его руки.

— Обычное дело в его годы. Но Уорхем знал, что делает.

— Если церемония прошла не по правилам, то ваша совесть чиста, и вы вправе отказаться от клятвы. Возможно, это была и не Библия вовсе?

— Судя по переплету, Библия.

— У меня есть книга по бухгалтерскому делу, которую часто путают с Библией.

— А чаще других вы сами.

Он усмехается. Уж что-что, а мозги граф не пропил, еще нет.

— А как насчет таинства? — спрашивает Перси. — Я скрепил клятву святым причастием, а

разве облатка не есть Тело Христово?

Он молчит. «Мне есть что возразить, но я не хочу давать тебе повод назвать меня еретиком».

— Я не стану этого делать, — произносит Перси. — Не вижу смысла. Все говорят, Генрих задумал ее убить. Разве этого недостаточно? А после ее смерти не все ли будет равно, с кем она была обвенчана?

— Не совсем. Король сомневается в своем отцовстве. Однако не намерен дознаваться, кто настоящий отец ее ребенка.

— Елизаветы? Я видел ее, — говорит Перси. — Она — его дочь, не сомневайтесь.

— Но если… даже если вы правы, король все равно намерен лишить свою дочь права наследства, ибо никогда не был женат на ее матери… надеюсь, вам ясно. Открыть дорогу для детей от следующего брака.

— Понимаю, — кивает граф.

— Итак, если вы хотите помочь Анне, это ваша последняя надежда.

— Помочь? Тем, что ее брак расторгнут, а дочь признают незаконнорожденной?

— Вы можете спасти ей жизнь. Если король остынет.

— Вы позаботитесь, чтобы этого не случилось.

Уж вы не откажетесь подкинуть дровишек и раздуть мехи.

Он пожимает плечами:

— Я не испытываю ненависти к королеве, пусть ее ненавидят другие. Итак, если вы сохранили к ней какую-то привязанность…

— Я больше не в силах ей помочь. Мне бы помочь себе. Господу ведома истина. Вы заставили меня лгать перед Ним. А теперь хотите выставить болваном перед людьми. Придется вам найти другой способ, господин секретарь.

— Не сомневайтесь, найду, — бросает он, вставая. — Жаль, что вы не захотели угодить королю. — У двери оборачивается. — Вы упрямы, потому что слабы.

Гарри Перси поднимает глаза:

— Хуже, Кромвель. Я умираю.

— До суда, надеюсь, дотянете. Ибо я намерен включить вас в состав судей. Вы ей не муж, теперь ничто не мешает вам стать ее судьей. Мы весьма ценим ваш богатый жизненный опыт и мудрость.

Гарри Перси что-то кричит вслед, но он размашисто пересекает комнату и уже за дверью качает головой в ответ на немой вопрос.

— Я был уверен, что вы достучитесь до его разу-

ма, — замечает мастер Ризли.

— Его разум упорхнул.

— Вы расстроены, сэр?

— Я, Зовите-Меня? С чего бы?

— Мы все еще можем освободить короля. Милорд архиепископ что-нибудь придумает. Даже если придется вспомнить Мэри Болейн. Сослаться на то, что Анна, по сути, была его свояченицей.

— Беда в том, что король знал. Он мог пребывать в неведении относительно тайного замужества Анны, но никогда не заблуждался насчет того, чья она сестра.

— А вам случалось иметь дело с двумя сестрами? — задумчиво спрашивает мастер Ризли.

— Вам что, больше не о чем думать?

— Мне интересно. Как это бывает? Говорят, Мэри Болейн переспала со всем французским двором. Как думаете, король Франциск отымел их обеих?

Он с уважением смотрит на Ризли.

— Надо будет обдумать этот вариант… А теперь, раз уж вы были хорошим мальчиком, не подрались с Гарри Перси, не обзывали его, а спокойно ждали за дверью, как обещали, поведаю вам страшную тайну… Однажды, в поисках покровителя, Мэри Болейн предлагала мне стать

ее мужем.

Мастер Ризли смотрит на него, открыв рот, из которого вылетают бессвязные звуки. Что? Когда? Как? И только забравшись в седло, его попутчик обретает способность к связной речи:

— Разрази меня гром! Вы могли породниться с королем!

— Правда, ненадолго.

День стоит ветреный и ясный. Бодрым галопом они возвращаются в Лондон. В другие времена, в другой компании путешествие могло бы быть в радость.

Уже в Уайтхолле, слезая с лошади, он спрашивает себя, кого бы он пожелал в попутчики. Бесс Сеймур?

— Мастер Ризли, вы в состоянии прочесть мои мысли? — спрашивает он.

— Нет.

Зовите-Меня удивлен и немного обижен.

— А архиепископ? Как думаете, у него получится?

— Вряд ли, сэр.

Он кивает:

— Тем лучше.

Входит императорский посол, на голове — рождественская шляпа.

— Специально ради вас, Томас, — говорит Шапюи. — Хотелось вас осчастливить.

Он садится, велит принести вина. Прислуживает Кристоф.

— Этот головорез у вас на все руки мастер, — замечает посол. — Не он ли пытал мальчишку Марка?

— Прежде всего никакой Марк не мальчишка. А во-вторых, никто его не пытал. По крайней мере, — уточняет он, — не пытал в моем присутствии, по моему приказу, с моего согласия или разрешения, высказанного прямо или косвенно.

— Я гляжу, вы готовитесь к суду, — говорит Шапюи. — Веревка с узелками, угадал? Веревку затягивают на лбу. Грозились выдавить Марку глаза?

Его охватывает гнев.

— Возможно, там, где вы росли, так и делают. Что до меня, то я впервые слышу о таком способе.

— Значит, дыба?

— Будете в суде, сами решите. Мне приходилось видеть людей после дыбы. Не здесь, за границей. Их приносили на руках, а Марк подвижен и гибок, как в дни, когда плясал до упаду.

— Как скажете. — Шапюи доволен, что задел

его. — А как поживает ваша королева-еретичка?

— Смела как львица, нравится вам это или нет.

— К тому же горда, но ничего, скоро ее гордость усмирят. И никакая она не львица, а одна из ваших лондонских кошек, что орут по ночам на крышах.

Он вспоминает о черном коте, жившем когда-то у него в доме. Кота звали Марлинспайк. Несколько лет кот рыскал по окрестным помойкам, дрался, отстаивая территорию, пока однажды не исчез, отправившись, как свойственно его племени, на поиски лучшей доли.

— Как вам известно, — говорит Шапюи, — многие придворные наносят визиты принцессе Марии, дабы предложить свои услуги, когда придут новые времена, а они не за горами. И только вы всё сидите сиднем.

Черт подери, думает он, когда мне ездить, я и так разрываюсь на части, сместить королеву Англии — это вам не шутка.

— Надеюсь, принцесса простит мое отсутствие. Я тружусь ради ее блага.

— Теперь вам необязательно называть ее «принцессой», — замечает посол. — Разумеется, она будет восстановлена в правах наследования. — Шапюи ждет. — Принцесса Мария

надеется, все ее сторонники надеются, император надеется…

— Надежда — великая добродетель, однако посоветуйте ей не принимать гостей без разрешения короля. Или моего.

— Она не может запретить им. Они все ее старые слуги. Посетители стекаются толпами. Грядут новые времена, Томас.

— Король — хороший отец и будет рад примириться с дочерью.

— Его величество мог бы почаще проявлять отцовские чувства.

— Эсташ… — Он замолкает, знаком отпускает Кристофа. — Я знаю, вы старый холостяк. А дети? У вас ведь есть дети? Да не пугайтесь вы так! Мне любопытно. Пора нам узнать друг друга ближе.

Посол рассержен сменой темы.

— В отличие от вас я не путаюсь с женщинами.

— А я бы с радостью принял ребенка в семью. Женщины никогда не пытались навязывать мне детей, а я бы не стал отказываться.

— Возможно, эти дамы хотели поскорее от вас отделаться? — предполагает Шапюи.

Ответ посла заставляет его расхохотаться.

— Что ж, вполне возможно! А теперь, дорогой

друг, ужинать.

— Впереди у нас много пиров! — Шапюи сияет. — Как только конкубина умрет, Англия вздохнет спокойно.

* * *

Даже узникам Тауэра, как бы горько ни оплакивали они свою судьбу, не сравниться в глубине отчаяния с королем. Днем его величество в тоске бродит по дворцу, являя собой иллюстрацию к Книге Иова. Вечером в сопровождении музыкантов отправляется вниз по Темзе, в гости к Джейн.

У дома Николаса Кэрью, несмотря на все его красоты, есть один существенный недостаток: от реки до него восемь миль. Не слишком удобно для путешествий даже долгими июньскими вечерами, ибо король не желает расставаться с Джейн до самой темноты. Будущую королеву перевозят в Лондон. Толпы любопытных перемещаются вслед за ней в надежде разглядеть неясный силуэт: склоненная шейка, опущенные глаза. Зеваки штурмуют ворота, подсаживают друг друга.

Братья Джейн, желая купить любовь лондонцев, не скупятся на подарки. Пущен слух, что Джейн — истинная благородная англичанка, наша, не то что Анна Болейн, которую многие до

сих пор считают француженкой. Однако толпа недоумевает и даже негодует: разве не следует королю жениться на знатной принцессе из дальних стран, вроде Екатерины?

— Джейн прячет деньги в сундук, на случай если король передумает, — рассказывает ему Бесс Сеймур.

— Так надлежит поступать нам всем. Надежно запертый сундук еще никому не помешал.

— А ключ прячет на груди.

— Умно! Кому придет в голову туда сунуться?

Бесс лукаво улыбается.

Тем временем весть об аресте Анны распространяется по Европе, и — хотя Бесс невдомек — каждый час Генриху приходят новые предложения. Император надеется, что королю придется по душе его племянница, португальская инфанта, за которой обещают четыреста тысяч дукатов, а принц Луис мог бы составить партию принцессе Марии. А если королю не понравится инфанта, в запасе есть герцогиня Миланская, хорошенькая юная вдовушка с немалым приданым.

Для тех, кто верит в предзнаменования, настало занимательное время. Страшные истории из книг вершатся наяву. Королева в тюрьме, ее обвиняют в прелюбодеянии. Потрясены основы государ-

ственности, самой природы. Духи мертвых маячат в дверных проемах, стоят у окон, подпирают стены, стремясь выведать тайны живых. Колокол звонит сам по себе, не потревоженный человеческой рукой. В пустых комнатах кто-то яростно спорит, шипение висит в воздухе, словно горячий утюг опустили в воду. Доселе благоразумные прихожане испытывают непреодолимое желание кричать во весь голос в церквях. Женщина протискивается сквозь толпу и хватает его лошадь за уздечку. Прежде чем стражник оттаскивает ее, она успевает крикнуть:

— Храни нас Господь, Кромвель, что о себе думает король? Сколько жен ему потребно?

В кои-то веки щечки Джейн окрашивает румянец. Или это лишь отсвет ее платья нежного оттенка желе из айвы.

Показания, обвинительные акты, петиции перемещаются между судьями, обвинителями, генеральным прокурором, лорд-канцлером. Каждая стадия процесса вытекает одна из другой и призвана породить мертвые тела в строгом соответствии с законом.

Джорджа Болейна ввиду его знатности будут судить отдельно, вслед за прочими обвиняемыми. В Тауэр приходит судебный приказ: послать

за злодеями.

Доставить обвиняемых, а именно: Уэстона, Брертона, Смитона и Норриса в Вестминстер, на суд. Кингстон отправляет их на барке. Двенадцатое мая, пятница.

Вооруженные стражники ведут их сквозь толпу беснующихся зевак, делающих ставки. Игроки верят, что Уэстон выйдет сухим из воды: его семейство не дремлет. Что до прочих, тут шансы равны: половина — за то, что казнят, половина — за то, что помилуют. На Марка Смитона, который во всем сознался, никто не ставит, гадают лишь, повесят ли его, обезглавят, сварят живьем в кипятке или сожгут, если только король не придумает для него что-нибудь особенное.

— Для них законы — пустой звук, — говорит он Ричу, наблюдая за сценками, которые разыгрываются внизу. Им невдомек, что за государственную измену мужчину должно повесить до полусмерти, четвертовать живьем и выпотрошить, а женщину — сжечь, и никак иначе. Король может лишь заменить повешение обезглавливанием, а варят в кипятке только отравителей. Суд может вынести лишь одно решение, которое будет передано толпе, истолковано превратно, так что выигравшие будут скрежетать зубами, а проиг-

равшие — требовать свои денежки. Не обойдется без драк, порванных рубах, разбитых голов и крови на мостовой, между тем обвиняемых от смерти будут отделять еще несколько дней.

Они не услышат обвинения до суда, и, как принято в процессах об измене, у них не будет защитников. Впрочем, их не лишают права самим себя защищать и вызывать свидетелей, если найдутся охотники свидетельствовать в их пользу. Случаи, когда обвиняемые в измене выходили из зала суда оправданными, у всех на слуху, но нынешним подсудимым рассчитывать не на что. Сейчас им следует думать о семьях, о том, чтобы задобрить короля, — это соображение способно усмирить самых буйных. Негоже препятствовать осуществлению правосудия. Предполагается, что в награду король дарует обвиняемым смерть от топора, менее унизительную для их чести. Впрочем, присяжные шепчутся, что Смитона скорее всего повесят, ибо какая у простолюдина честь?..

Председательствует Норфолк. Когда обвиняемых вводят в зал суда, они разделяются: трое джентльменов не желают стоять рядом с Марком, считая это ниже своего достоинства. Им приходится сбиться в кучу, но это устраивает их и того меньше. Он замечает, как старательно

джентльмены отводят глаза, как ежатся, опасаясь случайно задеть локтем соседа, подергиваясь внутри дублетов и рукавов.

Только Марк признает вину. Юношу из милосердия держали в кандалах, чтобы не навредил себе ненароком. Целый и невредимый Марк предстает перед судом, на нем ни царапины, как и было обещано, но юношу душат рыдания. Марк умоляет о милости. Остальные обвиняемые скупы на слова, однако из уважения к суду держат себя в руках: трое героев ристалища, которые видят, как на них надвигается неприкасаемый соперник, король Англии собственной персоной. Они могли бы принять вызов, да только пункты обвинения, места, подробности мелькают слишком быстро. При желании они могли бы отыграть очко-другое, но к чему оттягивать неизбежное?..

Когда они входят в зал суда, лезвия алебард смотрят в противоположную сторону, когда выходят — повернуты к ним остриями. Они протискиваются сквозь толпу, живые мертвецы, вдоль узкого коридора из алебардщиков, к реке, возвращаются в свое временное пристанище, прихожую, где им надлежит ждать своего часа, писать прощальные письма и исповедоваться.

Все обвиняемые раскаялись, но только Марк

признался, в чем именно.

Прохладный вечер: толпа угомонилась, судебное заседание завершено. Он сидит у открытого окна, клерки суетятся вокруг, бумаги увязаны, он говорит: пора домой. Я буду ночевать в городском доме, в Остин-фрайарз, отошлите документы на Ченсери-лейн. Он — господин того, что изложено на бумаге, и того, о чем бумаги умалчивают, повелитель лакун, ложных толкований и неточных переводов. Новости из Англии просочатся с английского на французский, затем (вероятно, через латынь) на кастильский и итальянский, через Фландрию к восточным владениям императора, через границы германских княжеств в Богемию, Венгрию и к далеким снежным просторам; торговыми судами в Грецию и Левант; в Индию, где слыхом не слыхивали об Анне Болейн, не говоря уже о ее любовниках и брате; по Шелковому пути в Китай, где знать не знают никаких Генрихов, а само существование Англии представляется сомнительной легендой о месте, где рты у мужчин расположены на животе, а женщины умеют летать; это страна, где правят кошки, а люди ловят для них мышей, притаившись на корточках у мышиных нор. В Остин-фрайарз он некоторое время рассматривает Соломона и царицу Савскую.

Когда-то шпалера принадлежала кардиналу, затем король забрал ее себе, а когда Вулси умер и Кромвель пошел в гору, преподнес ему в дар, словно извиняясь, словно возвращая истинному владельцу то, что всегда ему принадлежало. Генрих подметил, каким взглядом всматривается он в лицо царицы, вожделея не ее, но Ансельму, антверпенскую вдовушку, на которой непременно женился бы, если бы внезапно не сорвался с места и не вернулся в Англию разделить жизнь со своим народом. В те дни он не раздумывал долго, всегда все просчитывал, а решившись, действовал без промедления. Таков он и сейчас. В чем еще предстоит убедиться его врагам.

— Грегори?

Он прижимает сына к груди. Тот весь в дорожной пыли.

— Дай посмотрю на тебя. Почему ты здесь?

— Вы не сказали, что возвращаться нельзя, — объясняет Грегори. — Не запрещали категорически. А еще я изучаю искусство публичных выступлений. Хотите послушать, как я говорю речи?

— Хочу, но не сейчас. Тебе не следует скакать через полстраны с одним или двумя сопровождающими. Найдутся люди, которые, зная, чей ты

сын, захотят тебе навредить.

— А откуда они узнают? — удивляется Грегори.

Двери распахнуты, на лестницах шорох шагов, на лицах любопытство: вести из суда опередили его. Да, подтверждает он, признаны виновными и приговорены к казни. Нет, мне неведомо, когда они отправятся на Тайберн, но я буду просить короля даровать им быструю смерть. Да, и Марку тоже. Здесь, под этой крышей, я обещал проявить милосердие, и это единственная милость, которую я могу ему предложить.

— Мы слыхали, осужденные в долгах как в шелках, сэр, — замечает Томас Авери, его счетовод.

— Слыхали, толпа собралась преогромная, сэр, — подхватывает один из его телохранителей.

Появляется Терстон, присыпанный мукой.

— А Терстон слыхал, что пирожки уходили задешево, — говорит шут Энтони. — А что слыхал я? А я слыхал, сэр, вашу новую комедию приняли хорошо. Смеялись все, кроме тех, кому умирать.

— Но приговор еще можно смягчить? — спрашивает Грегори.

— Несомненно.

Он не в силах продолжать. Кто-то подает ему эль, он вытирает губы.

— Помню, в Вулфхолле, когда Уэстон вам нагрубил, — говорит Грегори, — мы с Рейфом накинули на него волшебную сеть и сбросили с высоты. Но мы бы не стали убивать его по-настоящему.

— Король волен осуществить то, что задумал, и многие знатные юноши поплатятся жизнью.

Он призывает домочадцев выслушать его со всевозможным вниманием.

— Когда соседи начнут говорить — а они непременно начнут, — что это я осудил джентльменов на смерть, скажите им, что это не я, а король, суд и что все формальности были соблюдены. Что в процессе раскрытия истины никого не подвергли пыткам. Не верьте, когда вам скажут, будто они умрут из-за того, что я затаил на них обиду. Обида тут ни при чем, это дело государственное. Я все равно не уберег бы их от королевского гнева.

— Но мастер Уайетт не умрет? — спрашивает Томас Авери. Слышен ропот. Уайетт — местный любимчик, домочадцы души в нем не чают за щедрость и обходительность.

— Пойду к себе. Скопилось много писем из-за границы. А Томас Уайетт… скажем так, послушался моего совета. Думаю, скоро мы увидим его здесь, но нельзя сказать наверняка, король волен… Впрочем, довольно.

Он обрывает себя на полуслове, Грегори идет за ним.

— Они и вправду виноваты? — спрашивает сын, когда они остаются одни. — Почему любовников столько? Будь он один, королевская честь была бы меньше задета.

— Это выделило бы его среди прочих джентльменов, — криво усмехается он.

— И люди сказали бы, что прибор у Гарри Норриса побольше королевского, да и пользоваться им он мастак?

— Только послушай, что ты говоришь. Королю приходится терпеть, что его личная жизнь в отличие от жизни обычного человека выставлена напоказ. Король считает, по крайней мере хочет показать, что королева распутна, испорчена и не способна обуздать свои страсти. Если у нее были связи с таким количеством мужчин, какие могут быть оправдания? Поэтому они и предстали перед судом до нее. Если они виновны, то она и подавно.

Грегори кивает. Кажется, понимает до известной степени. Когда Грегори спрашивает, виноваты ли они, сына волнует, совершали ли они то, в чем их обвиняют, или нет. Когда о виновности спрашивает он, его интересует,

признал ли их виновными суд. Мир судейских погружен в себя, люди не в счет. Попробовали бы вы распутать сплетение бедер и языков, распластать содрогающиеся тела на белом листе: так пресытившийся любовник, достигнув пика наслаждения, откидывается на белую простыню. Ему приходилось видеть идеальные обвинительные акты, ни слова лишнего. Нынешний вердикт не таков: фразы сталкиваются, трутся и рассыпаются, уродливые по форме, уродливые по смыслу. Обвинение против Анны зачато в нечистоте, рождено до срока, бесформенная кипа бумаги. Его еще доводить до ума, вылизывать, как медведица вылизывает только что родившегося детеныша. Ты вскармливаешь его, не зная, что вырастет: кто мог подумать, что Марк признается, кто ожидал, что Анна поведет себя так, словно кругом виновата?

Как сказали сегодня в суде: мы виновны во всем, в чем нас обвиняют, и нет такого греха, которого бы мы не совершили, мы — средоточие пороков, но мы пребываем в неведении, каких именно пороков, и даже церковь не способна наставить нас.

Из Ватикана — кому и разбираться в грехах, как не им? — приходят вести, что в это трудное время

любой знак примирения со стороны короля будет встречен с пониманием. Ибо, если кого-то события последнего времени и удивляют, то только не Рим. Еще бы, Рим не удивишь ни супружеской неверностью, ни кровосмешением. В Ватикане времен кардинала Бейнбриджа ему не потребовалось много времени, чтобы понять: никто при папском дворе — включая самого Папу — не управляет событиями. Интриги плетутся сами по себе, заговоры безымянны, что не мешает им цвести пышным цветом, и точно известно одно: никто ничего не знает.

Впрочем, закон в Риме никогда не был в чести. В римских тюрьмах, когда забытый арестант умирает с голоду или когда тюремщики забивают несчастного до смерти, его тело просто запихивают в мешок и сбрасывают в Тибр, гнить на дне.

Он поднимает глаза. Грегори сидит смирно, не желая нарушать его задумчивость.

— Когда их казнят? — спрашивает сын.

— Не завтра. Чтобы все устроить, нужно время. В понедельник в Тауэре судят королеву, и Кингстон не сможет… суд заседает публично, в Тауэре будет не протолкнуться.

Перед глазами мелькает непристойная картина: осужденные на казнь протискиваются к

эшафоту сквозь толпу желающих посмотреть на королеву под судом.

— А вы придете? — настаивает Грегори. — Придете на казнь? Я хотел бы поддержать их в последний час и помолиться за них, но без вас я не справлюсь. Еще упаду без чувств.

Он кивает. Нужно трезво смотреть на вещи. В юности он знавал хвастунов, клявшихся, что не пожалеют живота, и белевших как полотно от пореза на пальце, но как бы то ни было казнь — не поле боя. Страх заразителен. В драке не успеваешь испугаться, и только когда все позади, колени начинают трястись.

— Не приду я, придет Ричард. Твое желание заслуживает уважения, хотя это зрелище причинит тебе боль. — Знать бы, думает он, что принесет следующая неделя. — А приду ли я… впереди расторжение брака, все будет зависеть от того, согласится ли королева помочь нам. — Он думает вслух. — Возможно, я буду в Ламбете с Кранмером. И прошу тебя, сынок, не спрашивай, для чего нам понадобилось расторгать брак. Таково желание короля.

Он совершенно не способен думать о тех, кому вскоре предстоит умереть. Вместо этого перед глазами стоит картина: Мор на эшафоте сквозь

пелену дождя, его тело, уже мертвое, откидывается навзничь от удара. У опального кардинала не было гонителя более непримиримого, чем Мор. «И все же я не испытывал к нему ненависти. Напротив, из кожи вон лез, чтобы помирить его с королем. И я верил, что мне удастся его убедить, я и вправду в это верил: он так упрямо цеплялся за жизнь, и ему было ради чего жить! Под конец Мор стал собственным палачом. Все писал и писал, говорил и говорил и внезапно, одним росчерком пера, прервал свою жизнь. Если на свете существовал человек, который сам себя обезглавил, этот человек — Томас Мор».

* * *

Королева в пурпурно-черном, вместо скромного чепца изящная шляпа, над полями колышутся черные и белые перья. Запомни перья, говорит он себе, скорее всего ты видишь ее в последний раз. Как она выглядела, спросят его женщины. Бледная, но бесстрашная. Каково ей было войти в этот огромный зал и встать перед пэрами Англии, мужчинами, ни один из которых не испытывает к ней вожделения. На ней порча, теперь она труп, и, вместо того чтобы домогаться этой груди, волос и глаз, мужчины отводят взгляд. Лишь Норфолк

смотрит со злобой, не страшась мести Горгоны.

Посередине громадного зала соорудили помост со скамьями для судей и пэров, скамьи поставили также в боковых галереях, но большинству зрителей придется стоять, пихаясь локтями, пока стражники не скажут: «Хватит», и не запрут двери на засовы. Но счастливчики не перестанут толкаться, а те, кто застрял во дворе, поднимут шум, и тогда Норфолк с белым жезлом в руках призовет публику к молчанию, а свирепая гримаса на его лице убедит самых отчаянных, что шутки кончились.

Рядом с герцогом сидит лорд-канцлер, готовый дать самый компетентный юридический совет в королевстве. А вот и лорд Вустер, с чьей жены, можно сказать, все началось. Граф смотрит на него волком, с чего бы? Рядом Чарльз Брэндон, герцог Суффолский, с первого взгляда возненавидевший Анну и не скрывавший своих чувств от короля. Граф Арундел, граф Оксфордский, граф Рэтленд, граф Вестморленд — и между ними простолюдин Томас Кромвель. Тут слово, там — полслова, он движется мягко, расточая улыбки, подбадривая приунывших: все идет своим чередом, интересы короны не пострадают, народных волнений не ожидается, к ужину все разойдут-

ся по домам и улягутся в собственные постели. Лорд Сандис, лорд Одли, лорд Клинтон, согласно списку, занимают места на помосте. Лорд Морли, тесть Джорджа Болейна хватает его за руку: Томас Кромвель, прошу вас, если вы меня любите, не допустите, чтобы мою бедную маленькую дочурку Джейн втянули в этот омерзительный процесс.

Она больше не ваша маленькая дочурка, думает он, после того как вы выдали ее замуж против воли. Впрочем, лорд Морли не виноват, обычное дело. Как однажды в сердцах сказал ему король, только бедняки могут выбирать, кого им любить. В ответ он сжимает руку лорда Морли, советует запастись мужеством и просит занять свое место: обвиняемая в зале, суд вот-вот начнется.

Он кланяется послам, но где Шапюи? По залу передают вопрос, у посла квартана{9}, в ответ он печалится: весьма сожалею, не послать ли ко мне, на случай если больному что-нибудь нужно? Передайте послу, что назавтра жар спадет, к среде больной встанет с постели, но в ночь на четверг лихорадка вернется.

Генеральный прокурор зачитывает обвинение,

{9} Примечания: 26

Квартана — разновидность малярийной лихорадки, так называемая четырехдневная малярия, при которой повторные приступы лихорадки происходят каждые четыре дня.

что занимает немало времени: преступления против закона, преступления против Бога. Вставая с места, он думает: а ведь король ждет вердикт к обеду. Окинув взглядом зал, замечает Фрэнсиса Брайана, закутанного в плащ, готового сорваться с места и отнести весть за реку Болейнам. Умерь свой пыл, Фрэнсис, процесс займет некоторое время, и, возможно, скоро здесь станет жарко.

Они управились бы за час или два, если бы не надобность подтвердить присутствие девяноста пяти судей и пэров, если бы не шарканье, кряхтенье, сморканье, одергивание мантий, ощупывание поясов и прочие ритуалы, не совершив которые многие не могут и слова сказать публично — тут и целого дня не хватит. Королева сидит молча, напряженно внимая списку преступлений, сводящему с ума перечислению дат, мест, мужчин, их детородных органов, их языков: в рот, изо рта, в иные отверстия; в Хэмптон-корте и в Ричмондском дворце, в Гринвиче и Вестминстере, в Мидлсексе и Кенте; опрометчивые слова и грязные намеки, ревнивые перепалки и извращенные намерения. Если король умрет, королева, как утверждает обвинение, обещала выбрать одного из любовников в мужья, непонятно только, кого именно.

— Это ваши слова?

Она мотает головой.

— Вы должны отвечать вслух.

Безучастный тихий голос:

— Нет.

Ничего другого Анна-королева не скажет: нет, нет и еще раз нет, и лишь однажды, отвечая на вопрос, давала ли она деньги Уэстону, подумав немного, да. В толпе раздается возглас, Норфолк грозится взять под стражу того, кто нарушает тишину. В любой уважающей себя стране, как заметил вчера герцог Суффолкский, суд над знатной женщиной проходил бы приватно — в ответ он, Кромвель, закатил глаза и воскликнул: милорд, Бога ради, мы в Англии!

Добившись тишины, изредка прерываемой кашлем или шепотом, Норфолк готов выслушать выводы обвинения.

— Продолжайте… вы…

Норфолк не в первый раз испытывает неловкость, обращаясь к простолюдину, который не конюх и не ломовой извозчик, а королевский министр. Лорд-канцлер наклоняется, вероятно, хочет напомнить, что обвинитель на процессе — начальник судебных архивов.

— Продолжайте, мастер, — говорит Норфолк

чуть любезнее. — Прошу вас.

Она отрицает измену, вот в чем суть. Она ни разу не повысила голос, но считает ниже своего достоинства объясняться, оправдываться, извиняться: смягчать. И никто не способен сделать это за нее. Отец Уайетта уверял, что умирающая львица способна серьезно поранить, если забыть об осторожности, однако он не чувствует ни угрозы, ни напряжения, ничего. Как оратор Кромвель славится красноречием, хорошим слогом, внятностью изложения, но сегодня его не заботит, какое впечатление произведет речь на судей и подсудимую, все равно всё истолкуют превратно. Его голос почти сливается с усыпляющим бормотанием толпы, монотонный голос сельского священника, бубнящего проповедь, не громче, чем жужжание мухи, бьющейся в стекло. Боковым зрением он видит, как генеральный прокурор подавляет зевок, и отмечает про себя: никогда бы не подумал, что сумею превратить блуд, кровосмешение, заговор и измену в рутину. Незачем возбуждать толпу. Это суд, а не римский цирк.

Вынесение приговора процесс не быстрый. Суд заклинает ораторов быть краткими, никаких речей, довольно одного слова: девяносто пять

голосов за, ни одного против. Когда Норфолк начинает читать приговор, ропот усиливается, собравшиеся снаружи напирают, и кажется, будто стены раскачиваются, словно лодка на причале.

— Ее собственный дядя! — восклицает кто-то, и герцог обрушивает кулак о стол, угрожая дерзкому кровавой расправой. Это производит впечатление, позволяя Норфолку закончить: «…приговаривается к сожжению в пределах Тауэра либо к отсечению головы, буде так повелит король…»

Слышен возглас одного из судей, который подается вперед, что-то яростно шепчет. Норфолк взбешен, судейские сбиваются в кучу, пэры вытягивают шеи. Он устремляется к герцогу.

— Эти люди говорят мне, что я читаю неправильно, что нельзя приговорить к сожжению или отсечению головы, что следует выбрать одно и что женщина, виновная в измене, подлежит сожжению.

— Милорд Норфолк получил соответствующие указания от короля. — Он намерен с порога пресечь возражения, в чем и преуспевает. — Приговор составлен в соответствии с королевской волей, и нечего учить меня, что правильно, а что

нет, ибо никогда еще королева не представала перед судом!

— Нам пришлось сочинять на ходу, — вставляет лорд-канцлер примирительно.

— Дочитайте, что там написано, — говорит он Норфолку и отходит в сторону.

— Я уже дочитал. — Норфолк скребет переносицу. — «…либо к отсечению головы, буде так повелит король».

Герцог понижает голос, съедая конец речи. Королеве не суждено услышать финал своего приговора. Впрочем, суть она уловила. Он смотрит, как Анна встает с кресла, внешне спокойная, должно быть, не верит, и с чего бы ей верить? Он переводит взгляд на Фрэнсиса Брайана, но того и след простыл.

Впереди суд над Рочфордом: следует вывести Анну из зала прежде, чем введут ее брата. Торжественность момента рассеивается. Судьи преклонных лет спешат в нужник, те, что помоложе, встают, чтобы размять ноги, посплетничать, заключить пари на оправдательный приговор. Пока ставки в пользу Джорджа, однако, судя по выражению его лица, обвиняемый не обманывается на свой счет.

Его тревожит только одно: Рочфорду нечего

терять, у него в отличие от прочих не осталось на этом свете ни единой родной души. Жена предала, отец отвернулся, дядя председательствует в суде. Наверняка Джордж будет говорить убедительно и с чувством. Так и есть. Выслушав обвинения, Болейн просит изложить их по порядку, одно за другим.

— Ибо что есть наше земное время, джентльмены, по сравнению с обещанием вечной жизни?

В зале мелькают улыбки, учтивость Джорджа производит впечатление.

Болейн напрямую обращается к нему, Кромвелю:

— По пунктам. Места, даты. Я намерен опровергнуть ваши домыслы.

Однако силы не равны. Перед ним — его записи, но, если потребуется, он отложит их в сторону и продолжит по памяти. При нем его хваленое самообладание, хорошо поставленный голос, его непробиваемая учтивость. Если Джордж думает, что он дрогнет, перечисляя ласки, принимаемые и даримые любовниками, значит, ему невдомек, откуда он родом: какие времена, какие нравы сделали господина секретаря таким, каким он стал. Совсем скоро лорд Рочфорд начнет ныть, словно капризный плаксивый мальчишка; младший

Болейн не привык сражаться за жизнь, слишком равнодушен к исходу поединка. Пусть этот суд оправдает его, будет другой суд, другие, более веские доказательства, закончится все изувеченным трупом Джорджа. Еще он надеется, что обвиняемый скоро выйдет из себя и не сможет сдержать презрения к Генриху — и тогда его судьба будет решена.

Он передает Рочфорду бумагу.

— То, что здесь записано, как утверждается, было сказано королевой, а вы ей ответили. Не обязательно зачитывать вслух, просто сообщите суду, вы признаете свои слова?

Джордж презрительно улыбается, наслаждаясь моментом, ухмыляется, набирает воздух в легкие, читает вслух:

— «В постели король полное ничтожество, ни умения, ни желания».

Джордж решает потрафить зрителям, и, кажется, ему удается достичь цели: в зале раздаются робкие смешки. Однако со стороны судей — тех, от кого все зависит, — слышится возмущенный ропот. Джордж поднимает глаза, протягивает руку:

— Эти слова — не мои. Я от них отказываюсь.

Однако слова уже принадлежат ему. Решив

покрасоваться перед толпой, Джордж только что вслух подверг осмеянию законность престолонаследия, усомнился в правах королевских отпрысков.

Он, Кромвель, кивает.

— Мы слышали, что вы распространяете слухи, будто принцесса Елизавета — не королевская дочь. Так и есть. Даже присутствие судей вас не останавливает.

Джордж не отвечает.

Он пожимает плечами, отворачивается. Похоже, даже простое упоминание о том, в чем его обвиняют, в устах Джорджа звучит признанием вины. Как обвинителю, ему следовало бы поменьше говорить о вещах, задевающих честь короля, но едва ли упоминание о них в суде нанесет чести Генриха больший урон, чем песенки про короля Палка-с-пальчик и его жену-ведьму, что распевают в тавернах. В таких делах мужчина всегда обвиняет женщину. Не так сделала, не то сказала, посмотрела косо, усмехнулась невпопад. А ведь Генрих боится Анны, понимает он. Впрочем, с новой женой все затруднения короля останутся в прошлом.

Он собирается с мыслями, сгребает бумаги; судьи готовы вынести решение. Как ни крути,

обвинение против Джорджа весьма шатко, но если его оправдают, Генрих придумает новое, и тогда Болейнам не поздоровится, как, впрочем, и Говардам, а этого дядюшка Норфолк не допустит. Никто не посмеет усомниться в обвинениях, выдвинутых против Джорджа и тех, кого осудили до него. Все уже смирились с мыслью, что эти мужчины злоумышляли против короля и прелюбодействовали с королевой: Уэстон из-за собственного безрассудства, Брертон, потому что закоренел в грехе, Марком двигало честолюбие, Генри Норрис просто оказался под рукой, дерзко возомнил себя ровней королю. Джордж Болейн — не вопреки, а потому, что был ее братом. Все знают: на пути к власти Болейны ни перед чем не остановятся. Если Анна не гнушалась идти по трупам, почему бы ей не посадить на трон бастарда Болейнов?

Он смотрит на Норфолка, тот кивает в ответ. Вердикт ни для кого не станет неожиданностью. Неожиданностью окажется поведение Гарри Перси. Граф встает, открывает рот — и в зале в кои-то веки воцаряется тишина, а не жалкое ее подобие. Он вспоминает Грегори: хотите послушать, как я говорю речи? Затем граф подается вперед, издает стон и с грохотом валится на пол. Его тут же под-

хватывают стражники, и по залу прокатывается ропот: «Гарри Перси умер».

Едва ли, думает он. Графа приведут в чувство. День перевалил за полдень, жаркий и безветренный; свидетельские показания, что лежат перед судьями, свалят с ног здорового. Свежеструганные доски помоста застланы отрезом синей ткани, стражники сдергивают его, сооружая носилки для графа. Внезапно на него накатывает воспоминание: Италия, зной, кровь, умирающего поднимают с земли, раскачивают, бросают на связанные вместе чепраки — обобрали убитых — и тащат в тень, под стену: церкви? сарая? Где спустя пару минут тот испускает дух, бранясь и запихивая кишки в рану, словно желая оставить мир после себя в чистоте.

Ему становится нехорошо, и он опускается в кресло рядом с генеральным прокурором. Стражники выносят графа, его голова запрокинута, глаза закрыты, ноги безвольно болтаются.

— Вот и еще один из тех, кого она погубила, — замечает его сосед. — А чтобы узнать остальных, нам и нескольких лет не хватит.

Все это так, и суд — лишь временная мера, задуманная, чтобы сместить Анну и освободить место для Джейн. Еще невозможно почувство-

вать, каковы будут последствия, как отзовутся сегодняшние события в будущем, но он уже ощущает дрожь в сердце державы, шевеление в государственной утробе.

Он встает, подходит к Норфолку, побуждая того не мешкать. Судя по виду Джорджа Болейна — между обвинением и осуждением, — граф того и гляди лишится чувств, по лицу текут слезы.

— Посадите лорда Рочфорда, — велит он. — Налейте ему что-нибудь.

Пусть Болейн изменник, но пока еще граф и имеет право выслушать смертный приговор сидя.

На следующий день, шестнадцатого мая, он в покоях Кингстона. Комендант Тауэра не знает, какой эшафот сооружать для королевы, приговор неясен, ждут решения короля. Кранмер у королевы, пришел ее исповедовать, возможно, архиепископу удастся мягко втолковать Анне, что ради нее самой ей лучше покориться. И что король еще способен на милосердие.

Стражник входит и обращается к коменданту:

— Пришел посетитель. Не к вам, сэр. К мастеру Кромвелю. Иностранный джентльмен.

Жан де Дентвиль, бывший послом во времена коронации Анны.

Посетитель медлит в дверях.

— Мне сказали, я найду вас здесь, а время не ждет…

— Мой дорогой друг. — Они обнимаются. — Я не знал, что вы в Лондоне.

— Я только что с корабля.

— По вам видно.

— Что поделаешь, я не родился моряком.

Посол пожимает плечами, по крайней мере слои материи на плечах поднимаются и опускаются, этим теплым весенним утром Жан закутан с ног до головы, словно на дворе ноябрь.

— Поэтому я решил перехватить вас до того, как вы вернетесь к игре в шары, каковой, вероятно, предаетесь, принимая наших посланников. Меня отправили к вам, чтобы поговорить о юном Уэстоне.

Господи, думает он, неужто сэру Ричарду Уэстону удалось подкупить короля Франции?

— Вы едва не опоздали. Завтра его казнят. А что с Уэстоном?

— Вызывает обеспокоенность, — говорит посол, — что за простую галантность карают так жестоко. Я уверен, юноша виновен лишь в нескольких любовных стишках да паре любезностей и острот. Возможно, король сохранит ему

жизнь? И года два Уэстон не будет показываться при дворе, скажем, отправится путешествовать?

— У него жена и маленький сын, мсье. Увы, мысль об их благополучии не остановила его от необдуманных шагов.

— Неужели им будет лучше, если король обречет его на смерть? Генрих больше не дорожит репутацией милосердного правителя?

— Еще как дорожит. Король много говорит об этом. Мсье, позвольте совет? Забудьте об Уэстоне. Как бы ни уважал вас мой господин, едва ли он отнесется благосклонно к вмешательству короля Франции в то, что Генрих почитает семейным делом.

Де Дентвиль удивлен.

— Вы называете это семейным делом?

— Я гляжу, вы не просите милости для лорда Рочфорда. А ведь он был у вас послом. Вызывает удивление, что короля Франции не волнует его судьба.

— Ах да, Джордж Болейн. Что поделаешь, смена власти, этого следовало ожидать. Впрочем, французский двор выражает надежду, что монсеньор не пострадает.

— Уилтшир? Вижу, он хорошо служил Франции, вам его не хватает. Пока ему ничего не

грозит. Разумеется, былого влияния монсеньору не вернуть. Как вы изволили выразиться, смена власти.

— Позволительно ли мне заметить, — посол замолкает, отхлебывает вина, откусывает вафлю, — что мы во Франции теряемся в догадках. Если Генрих решил избавиться от конкубины, почему бы не сделать это, не привлекая внимания?

Французам не понять, что такое суд и парламент, все у них шито-крыто.

— А если королю захотелось выставить свой позор напоказ, неужели одного-двух любовников недостаточно? Ладно, Кремюэль, — посол делает большие глаза, — мы ведь можем говорить, как мужчина с мужчиной? Главный вопрос, состоятелен ли Генрих как мужчина? До нас доходили слухи, что стоит ему подготовиться, тут конкубина бросает на него особенный взгляд, — и всё, пиши пропало. Это похоже на колдовство, ведьмы часто делают мужчин неспособными. Впрочем, — добавляет посол с легким презрением, — не могу представить француза, которого смутили бы подобные пустяки.

— Вам следует понять, — говорит он, — что Генрих, хоть и мужчина не хуже прочих, еще и джентльмен, а не блудливый пес, который сно-

шается в канаве с… не мне судить о женщинах, которых выбирает ваш король. Последние месяцы, — он набирает воздуха в грудь, — особенно последние недели стали тяжелым испытанием для моего господина. И ныне он нуждается в счастье. Не приходится сомневаться, что его следующий брак успокоит страну и станет залогом процветания Англии.

Он говорит как по писаному, уже сейчас составляя в уме дипломатические депеши.

— Ах да, — посол усмехается, — эта малышка. Не слыхал, чтобы кто-нибудь хвалил ее ум или красоту. Неужели Генрих снова берет в жены пустое место? В то время как император предлагает ему весьма выгодные союзы… как мы слышали. Мы всё понимаем, Кремюэль. У мужчины и женщины, короля и конкубины, могли возникнуть разногласия, но они ведь не единственные люди на свете, они не в Эдемском саду! Конкубина не вписывается в новый политический расклад и больше его не устраивает. Старая королева в некотором смысле ее защищала, а теперь, когда Екатерина мертва, Генрих тщится обрести былую респектабельность. Поэтому женится на первой же попавшейся порядочной девушке, и нужды нет, приходится ли она родственницей императо-

ру, ибо теперь, когда Болейнам конец, Кремюэль взлетит высоко и позаботится набить совет сторонниками Карла. — Губы посла кривятся, что вполне может сойти за улыбку. — Кремюэль, признавайтесь, сколько вам платит император. Не сомневайтесь, мы дадим больше.

Он смеется:

— Ваш господин сидит как на иголках. Знает, что деньги стекаются к моему королю. Боится, что мы нанесем Франции визит, да не с пустыми руками, а хорошенько вооружившись.

— Не забывайте, чем вы обязаны королю Франции! — Посол рассержен. — Только благодаря нашим хитроумным маневрам Папа еще числит вашу страну среди христианских государств. Мы всегда хранили верность нашим союзникам, заботясь о вашем благе больше, чем вы сами.

Он кивает:

— Люблю я слушать, как французы себя нахваливают. Не отобедаете со мной на неделе? Когда все закончится и ваше недомогание пройдет?

Посол наклоняет голову, на шляпе вспыхивает брошь в виде серебряного черепа.

— Я буду вынужден сообщить моему господину, что мои усилия спасти Уэстона ни к чему не привели.

— Скажите, что опоздали. Что обстоятельства ополчились против вас.

— Нет, я скажу, что против меня ополчился Кромвель. А кстати, вам известно, что сделал Генрих? — Посол выглядит довольным. — На прошлой неделе он послал за французским палачом. Не с французских территорий, нет, ему потребовался тот, что рубит головы в Кале. Кажется, ваш король не доверяет умертвить свою жену англичанам. Удивляюсь, что он не выволок ее на улицу и не задушил собственноручно!

Он оборачивается к Кингстону. Комендант Тауэра немолод, и хотя бывал во Франции по королевским делам лет пятнадцать назад, с тех пор вряд ли хоть раз воспользовался своим французским. Говорите по-английски, да погромче, советовал кардинал.

— Вы слышали? Генрих послал в Кале за палачом.

— Клянусь мессой! — восклицает Кингстон. — Еще до суда?

— Так утверждает мсье посол.

— Я очень рад, — говорит Кингстон громко и внятно. — Просто камень с души. — Комендант стучит себя по голове. — Надо понимать, король выбрал… — Кингстон взмахивает рукой.

— Да, меч, — отвечает Дентвиль по-английски. — Вас ждет изысканное представление. — Посол касается шляпы. — Au revoir, господин секретарь.

Они смотрят, как посол уходит. Его уход сам по себе спектакль, слуги закутывают посла потеплее. В свой прошлый визит де Дентвиль изнемогал от жары под пуховыми перинами, прогоняя лихорадку — следствие сырого английского воздуха и лютого холода.

— Малютка Жанно, — говорит он, глядя послу вслед. — До сих пор боится английского лета. И короля — в первый раз, когда его представляли Генриху, бедняжка трясся от страха. Нам с Норфолком пришлось его поддерживать под локотки.

— Правильно ли я понял, — спрашивает комендант, — что Уэстона казнят за стишки?

— В общих чертах.

Выходит, Анна, словно книга, открытая только для мужа, но в которой всяк был волен писать что хотел.

— Ладно, мое дело маленькое, — говорит Кингстон. — Вам не приходилось наблюдать, как женщину сжигают живьем? Мне не довелось. Бог даст, и не доведется.

Когда Кранмер заходит проведать его вечером шестнадцатого мая, вид у архиепископа больной, под глазами залегли тени. Интересно, они появились недавно или были там месяц назад?

— Скорей бы все закончилось, — говорит Кранмер. — Вернусь в Кент.

— Вы оставили Грету в Кенте? — мягко спрашивает он.

Кранмер кивает. Едва ли архиепископ способен произнести имя жены вслух. Всякий раз, когда король упоминает о браке, Кранмер дрожит от страха, а в последнее время Генрих ни о чем другом не говорит.

— Она боится, что король женится и снова обратится к Риму, и тогда нас разлучат. Я убеждаю ее, что бояться нечего. Если бы король передумал и священники могли жить с женами открыто… когда я понимаю, как призрачны мои надежды, то говорю себе, лучше бы я отослал ее домой, пока здесь для нее нет места. Вы знаете, как это бывает, проходит несколько лет, люди умирают, забывают вас, забывают ваш язык.

— Всегда остается надежда, — говорит он твердо. — Передайте ей: в новом парламенте я сделаю все, чтобы вымести из законов последние остатки Рима. К тому же, — он улыбается, — уж если ан-

гличанам удалось заполучить папские денежки, они с ними не расстанутся, будьте уверены.

— Как королева? Исповедовалась? — спрашивает он.

— Нет. Еще не время. Позже. Если дойдет до этого.

Что ж, коли так, он рад за Кранмера. Что может быть хуже его доли? Услышать, как виновная женщина признает свои грехи или как невинная умоляет о пощаде? Но и в том, и в другом случае хранить молчание. Возможно, Анна решила тянуть до конца, когда не останется никакой надежды на отмену приговора. Он понимает ее. Сам поступил бы так же.

— Я сказал ей, что все готово для аннулирования брака, — рассказывает Кранмер, — и что слушания пройдут завтра в Ламбете. Она спросила, будет ли там король. Я ответил, нет, мадам, король пришлет своих поверенных. Милуется с этой Сеймур, съязвила она и тут же поправилась: нет, я не должна говорить дурно о короле. Я подтвердил, что это неразумно. Тогда она спросила, разрешат ли ей самой защищать себя в Ламбете? Я ответил, что ее интересы также будут представлять поверенные. Это опечалило ее, а потом она заявила: я подпишу все, что скажет король. Я на

все согласна. Может быть, король отправит меня во Францию, в монастырь? Должна ли я подтвердить, что была обручена с Гарри Перси? Я сказал ей: мадам, граф отрицает вашу помолвку. И тогда она рассмеялась.

Он сомневается. Даже полное и подробное признание уже не поможет ей, хотя, возможно, могло бы помочь до суда. Король больше не желает слышать о ее любовниках, прошлых и настоящих. Он вычеркнул их из памяти. А вместе с ними и ее. Анне невдомек, насколько далеко все зашло. Вчера король сказал: «Надеюсь, скоро Джейн придет в мои объятия».

Кранмер говорит:

— Ей трудно вообразить, что король отверг ее. Всего месяц назад Генрих заставил императорского посла ей кланяться.

— Король сделал это ради себя, не ради нее.

— Мне кажется, Генрих любил ее. И до последнего времени они жили душа в душу. Приходится признать, что я не знаю ничего. Ни о мужчинах, ни о женщинах. Ни о собственной вере, ни о вере других. Она спросила меня: «Я попаду в рай? Я сделала много добрых дел».

Такой же вопрос Анна-королева задала Кингстону. Возможно, она спрашивает об этом каждого

встречного.

— Королева говорит о поступках. — Кранмер качает головой. — Не о вере. Надеюсь, она понимает, как понимаю теперь я, что мы спасены не нашими делами, но единственно той жертвой, которую принес Господь. Его добродетелями, не нашими.

— Надеюсь, вы не пришли к заключению, что все эти годы она была тайной паписткой. Какая ей в том выгода?

— Мне жаль, что вам пришлось распутывать это все, — говорит Кранмер.

— Когда я начинал, я не знал, что меня ждет. И хорошо, что не знал, ибо открытия подстерегали меня на каждом шагу.

Он вспоминает похвальбу Марка, джентльменов в зале суда, отводящих глаза и отдергивающих руки, чтобы ненароком не коснуться друг друга. Он узнал о человеческой природе много нового.

— Гардинер из Франции требует подробностей, но я не хочу предавать их гласности, ибо они слишком отвратительны.

— Опустим над ними завесу тайны, — соглашается Кранмер.

Впрочем, короля подробностями не смутить.

Кранмер рассказывает:

— Он всем твердит о своей книге. Вот и вчера в доме архиепископа Карлайла… кстати, дом снимает Фрэнсис Брайан… В разгар вечера король вытащил свои записки и начал читать вслух. Совсем помешался с горя.

— Несомненно, — говорит он. — В любом случае Гардинер будет доволен. Я обещал, что трофеи достанутся ему. Должности, пенсии, те, что вернутся короне.

Однако Кранмер не слушает.

— Она спросила меня: после смерти я останусь женой короля? Нет, мадам, отвечал я, король хочет аннулировать брак, и я прибыл, чтобы получить ваше согласие. Я согласна, говорит она, но я останусь королевой? Думаю, по закону — да. Я не знал, что еще ей сказать. Кажется, она обрадовалась. Но этому не было конца! Королева то смеялась, то молилась, то бранилась. Расспрашивала меня о ребенке, которого носит леди Вустер. Анна думает, что плод не шевелится, хотя леди Вустер уже на пятом месяце, и что причиной тому сильный испуг. Мне не хотелось ей говорить, что эта дама свидетельствовала против нее.

— Я разузнаю о здоровье миледи, — говорит он, — но не спрашивайте меня о здоровье ее су-

пруга. Граф так и зыркал на меня в суде. Знать бы, чем я ему насолил.

По лицу архиепископа проходит череда загадочных выражений.

— Так вы не знаете? Что ж, значит, слухи оказались ложными, чему я весьма рад. — Кранмер молчит. — Нет, вы и впрямь не знаете? При дворе болтают, что ребенок леди Вустер — ваш.

Он потрясен:

— Мой?

— Говорят, вы часами просиживали с ней, заперев дверь на замок.

— И это доказывает супружескую измену? Выходит, доказывает. Вот и расплата. Лорд Вустер проткнет меня насквозь.

— Непохоже, чтобы вы испугались.

— Испугался, но не лорда Вустера.

Скорее новых времен, тех, что грядут. Анна карабкается по мраморным ступеням рая, а ее добрые дела, словно драгоценные камни, оттягивают запястья и шею.

Кранмер говорит:

— Не знаю, что заставляет ее так думать, но Анна верит, что для нее еще не все потеряно.

* * *

Все эти дни он не один. Его союзники не сводят с него глаз. Фицуильям всегда рядом, из головы казначея не выходит полупризнание Норриса, которое тот немедленно взял обратно, Фицуильям без конца говорит о нем, пытаясь вычленить связный рассказ из сумбурных слов. Николас Кэрью всегда рядом с Джейн, но Эдвард Сеймур порхает между сестрой и королевскими покоями, где не спят, и дыхание короля, словно дыхание минотавра, слышится в лабиринте комнат. Он понимает: его новые друзья защищают свои вложения. Они не допустят его колебаний. Он должен дойти до конца, а их руки скрыты, и если король выразит хоть малейшее недовольство, то виноват будет Томас Кромвель и больше никто.

Рич и мастер Ризли тоже не отходят от него ни на шаг.

— Мы хотим помочь, хотим учиться, понять, как вы это делаете, — твердят они. Куда им. Мальчишкой, сбежав от отца через Ла-Манш, гол как сокол, он промышлял на улицах Дувра финтом с тремя картами.

— Вот королева. Смотрите на нее. Опля! И где теперь ваша королева?

Королева в рукаве, а денежки в кармане. «Высечь его!» — кричат игроки.

Он приносит Генриху бумаги на подпись. Кингстон до сих пор не получил инструкций, как следует казнить приговоренных. Он обещает, что заставит короля принять решение.

— Ваше величество, — говорит он, — на Тауэрском холме нет виселицы, и едва ли благоразумно везти их на Тайберн. Могут начаться волнения…

— Волнения? — удивляется Генрих. — Лондонцы не испытывают к ним никаких теплых чувств. Горожанам нет до них никакого дела.

— Разумеется, но стоит ли давать повод для беспорядков, к тому же дни стоят погожие…

Король ворчит. Хорошо. Пусть будет палач.

А Марк?

— Видите ли, я обещал ему смягчить приговор, Марк признался добровольно, а посему…

— Француз здесь? — спрашивает король.

— Жан де Дентвиль. Представил грамоты.

— Нет.

Не тот француз. Палач из Кале.

— Ваше величество полагает, королева утратила девственность при французском дворе?

Генрих молчит, размышляет, затем говорит:

— Она всегда, заметьте, всегда кичилась передо

мной превосходством французов. Думаю, вы правы. Я не верю, что ее девственность отнял Гарри Перси. Он не стал бы лгать. Ложь несовместима с его достоинством пэра Англии. Да, именно при французском дворе ее и развратили.

Считать ли приглашение палача-француза — наверняка мастера своего дела — жестом милосердия или этот вид убийства просто отвечает жестоким представлениям Генриха о том, как следует казнить королеву?

Наверное, к лучшему, что король ополчился против какого-то неизвестного француза, обесчестившего Анну, иностранца, которого, возможно, уже нет на свете.

— Так это был не Уайетт? — спрашивает он.

— Нет, — отвечает Генрих мрачно. — Не Уайетт.

На этом и остановимся. Однако нужно написать Уайетту, пусть знает: суд ему не грозит.

— Ваше величество, — говорит он, — королева жалуется на свое окружение. Она хотела бы видеть рядом собственных фрейлин.

— Ее двор распущен. Об этом позаботился Фицуильям.

— Вряд ли дамы отправились по домам.

Ему известно: фрейлин в ожидании новой гос-

пожи приютили друзья.

Генрих говорит:

— Пусть останется леди Кингстон, остальные — на ваше усмотрение. Если кто-нибудь согласится служить ей.

Вероятно, Анна не догадывается, что ее все оставили. Если верить Кранмеру, она воображает, будто друзья оплакивают ее, в действительности же они потеют от страха и ждут не дождутся, когда голова королевы упадет с плеч.

— Кто-нибудь согласится из милосердия, — говорит он.

Генрих рассматривает бумаги на столе, словно не понимает, что в них.

— Смертные приговоры. Подписать, — напоминает он.

Он стоит рядом с королем, когда тот обмакивает перо в чернила и выводит подпись на каждом приговоре: квадратные, витые буквы тяжело ложатся на бумагу; твердая мужская рука, когда все слова сказаны.

Он заседает в Ламбете, в суде о королевском разводе, когда любовники Анны умирают: сегодня последний день слушаний. На Тауэрском холме племянник Ричард, его глаза и уши. Рочфорд, сохраняя присутствие духа, произносит

прочувствованную речь. Палач начинает с него, довершая начатое с третьего удара. После этого остальные говорят немного. Все объявляют себя грешниками, признают, что заслужили кару, и опять — ни слова о том, за что повинны смерти. Марк, оставленный напоследок, скользя по крови, взывает к Божьему милосердию и просит собравшихся молиться за него. Палач взял себя в руки и больше не допускает ошибок, обходясь одним ударом.

На бумаге все завершено. Судебные записи у него, можно поместить их в архивы, уничтожить, потерять, но мертвые тела не ждут. Тела следует сгрузить на повозку и вывезти за стены Тауэра: их можно увидеть, груду безголовых трупов, бесстыдно сплетенных, словно в постели, или словно их вырыли из земли, как бывает на войне. Внутри крепостных стен палач и его подручные разденут трупы до исподнего. Простолюдинов похоронят на кладбище церкви Святого Петра в Оковах, одного Рочфорда зароют под плитами церковного пола. Но сейчас, когда тела лежат в ряд, без знаков отличия, выходит путаница. Один из могильщиков говорит; пошлите за королевой, она быстро сообразит, какая часть тела кому принадлежит, но остальные, со слов Ричарда,

быстро затыкают ему рот. Черствость тюремщиков можно понять, замечает он, они слишком многое видели.

— Уайетт смотрел вниз из-за решетки на Колокольне, — рассказывает Ричард. — Он подал мне знак, и я хотел показать ему, что есть надежда, но не сообразил как.

Его выпустят, говорит он, однако не раньше, чем казнят Анну.

Часы, оставшиеся до казни, кажутся бесконечными.

Ричард обнимает его:

— Если бы она правила дольше, то скормила бы нас собакам.

— Если бы мы позволили ей править дольше, мы бы это заслужили.

В Ламбете королеву представляют двое поверенных, от имени короля выступают доктор Бедилл и доктор Трегонвелл, а также Ричард Сэмпсон, королевский советник. Кроме них, присутствует он, Томас Кромвель, другие члены совета, включая герцога Суффолкского, чьи семейные дела так запутаны, что ему пришлось изучить некоторые разделы канонического права, которые его светлость проглотил, как дитя глотает пилюлю. И сегодня Брэндон сидит, гри-

масничая и вертясь в кресле, пока священники и судейские подробно разбирают обстоятельства дела. Они приходят к выводу, что в суде обойдутся без Гарри Перси.

— Не понимаю, как вы умудрились не добиться его согласия, Кромвель, — говорит герцог.

Неохотно судьи приходят к выводу, что Мэри Болейн можно считать препятствием к заключению законного брака, хотя бы пришлось признать виновным самого короля, ибо его величество знал, что не должен жениться на Анне, если до брака имел отношения с ее сестрой. Вывод не представляется мне очевидным, мягко возражает Кранмер. В данном случае, безусловно, имеет место родство по браку, однако король получил от Папы диспенсацию, каковую в то время счел приемлемым условием. Тогда король не знал, что в подобных случаях Папа не правомочен давать разрешение, это выяснилось позже.

Все это шито белыми нитками.

Неожиданно герцог заявляет:

— Все знают, что она ведьма. И если она заколдовала его, обманом женив на себе…

— Вряд ли король подразумевал колдовство, — говорит он, Кромвель.

— А что ж еще? — не унимается герцог. — Нам

следует это обсудить. Если она заколдовала его, брак незаконен, таково мое мнение.

Герцог откидывается назад и скрещивает руки.

Поверенные смотрят друг на друга. Сэмпсон смотрит на Кранмера. Все старательно избегают смотреть на Брэндона.

Наконец Кранмер произносит:

— Нам не следует выносить это на публику. Мы можем принять решение о расторжении брака, но держать его в строжайшем секрете.

Все облегченно вздыхают.

Он говорит:

— Одно утешение, что нас не засмеют публично.

Лорд-канцлер добавляет:

— Правда так редка и драгоценна, что иногда ее следует держать под замком.

Герцог Суффолкский спешит к своему баркасу, крича, что наконец-то избавился от Болейнов.

Первый королевский развод тянулся долго и совершался у всех на глазах, о нем судачили не только на советах правителей, но и на рыночных площадях. Второй, если победит благопристойность, будет скорым, закрытым и непубличным. Впрочем, присутствия городской верхушки и знати не избежать. Тауэр — целый город со своим

арсеналом, крепостью и монетным двором. Он кишит рабочим людом и чиновниками, но на время казни будут приняты строжайшие меры безопасности, а иностранцев выдворят за стену. Об этом позаботится Кингстон.

Анна, как узнает он с горечью, перепутала день своей смерти, встав помолиться в два часа ночи восемнадцатого мая. Королева призвала своего елемозинария и Кранмера, чтобы исповедаться в грехах. Никто не предупредил ее, что в утро казни комендант сам приходит за осужденными. Королева не ведала о протоколе, да и откуда ей знать? Кингстон оправдывается: войдите в мое положение, пять казней в один день, одна на следующий, причем казнить будут не кого-нибудь, а королеву Англии! Разве может она умереть, если городские чиновники не собрались, а плотники еще сколачивают эшафот? Хорошо еще, Анне в ее покоях не слышно стука молотков.

Комендант сожалеет о недоразумении, особенно ближе к обеду, когда ошибка вскрывается. Ситуация щекотливая и для Кингстона, и для его жены. Вместо того чтобы обрадоваться лишнему дню, Анна рыдает и говорит, что хотела бы умереть сегодня, что больше нет мочи терпеть.

Ей уже известно о французском палаче.

— Я уверил ее, что боли не будет, что она ничего не почувствует, — рассказывает Кингстон. Но Анна снова сжимает пальцы на горле. Затем королева вкушает Святых Тайн, присягая на Теле Господнем, что невиновна.

Разве, будь она виновата, она бы так поступила, вопрошает Кингстон.

Королева оплакивает тех, кто ушел.

Шутит, говорит, что ее запомнят как Анну-Без-Головы, Анну sans tkte.

Он говорит сыну:

— Если ты пойдешь на казнь вместе со мной, это будет самым суровым испытанием в твоей жизни. Если ты выдержишь его с достоинством, это послужит твоей доброй славе.

Грегори молча смотрит на него.

— Она женщина, я не выдержу.

— Я буду рядом, когда это случится. Тебе необязательно смотреть. Когда ее душа отлетит, мы встанем на колени и опустим глаза, чтобы помолиться.

Эшафот установлен на ровном месте, где раньше устраивались турниры. Отряд из двухсот йоменов призван охранять процессию. Вчерашнее недоразумение, смятение, проволочки забыты: сегодня все должно пройти как по маслу.

С раннего утра он у эшафота, оставив Грегори в комендантских покоях, где собираются шерифы, олдермены, чиновники и знать. Он ставит ногу на ступени, проверяя прочность. Один из рабочих, которые посыпают опилками эшафот, говорит: не сомневайтесь, сэр, выдержат, мы все утро бегаем вверх и вниз, но можете убедиться сами. Когда он поднимает глаза, палач уже здесь, разговаривает с Кристофом. Палач молод, одет с иголочки, приличное жалованье позволяет ему выглядеть настоящим джентльменом, и его непросто отличить от прочих чиновников. Это задумано, чтобы не испугать королеву раньше времени, а если одежда испачкается, что ж, эту потерю легко возместить. Он подходит к палачу.

— Как вы это сделаете?

— Я удивлю ее, сэр. — Переходя на английский, молодой человек показывает на свои ноги. На них мягкие домашние туфли. — Она не знает, как выглядит мой меч. Я спрячу его в соломе, отвлеку ее, она не успеет сообразить, с какой стороны я подойду.

— Покажите меч мне.

Палач пожимает плечами:

— Как вам будет угодно. Должно быть, вы Кремюэль? Мне говорили, вы тут за главного. Они

шутили, что если при виде ее уродства я упаду без чувств, есть человек, который подхватит меч, и зовут его Кремюэль, только он способен срубить Гидре голову, хотя я не знаю, кто такая Гидра. Они объяснили, что это ящерица или змея и вместо отрубленной головы у нее отрастают две.

— Ну уж нет, не надейтесь, — говорит он.

С Болейнами покончено раз и навсегда.

Меч тяжелый, двуручный, почти четыре фута в длину: два дюйма шириной, закругленное острие, двойное лезвие.

— Приходится упражняться, — говорит палач, крутнувшись на месте, как танцор. Он высоко поднимает руки, складывая ладони, словно сжимает меч. — Каждый день брать меч в руки, хотя бы ради практики. В любое время твои услуги могут понадобиться. В Кале казнят не слишком часто, но приходится путешествовать.

— Хорошее ремесло, — говорит Кристоф. Ему неймется подержать меч в руках, но он, Кромвель, еще не готов ему позволить.

— Мне сказали, я могу заговорить с ней по-французски, и она поймет.

— Можете.

— Кто-то должен предупредить ее, что придется встать на колени. Сами видите, тут нет плахи.

Она должна выпрямиться. Если не будет дергаться, через мгновение все будет кончено. Если нет, порублю ее на куски.

Он возвращает меч.

— Я за нее ручаюсь.

— Все случится между двумя ударами сердца. Она ничего не поймет. Миг — и она в вечности.

Они уходят.

— Мастер, — говорит Кристоф по дороге, — палач сказал мне, чтобы женщины обернули ее юбки вокруг ног, когда она опустится на колени. Если она упадет неудачно, весь свет увидит то, что видели столько благородных джентльменов.

Он не бранит мальчишку за грубость. Кристофер прав. И когда время придет, женщины разберутся, что делать. Наверняка обговорят это заранее.

Фрэнсис Брайан возникает перед ним, дымясь внутри кожаного джеркина.

— Что, Фрэнсис?

— Мне поручили, как только ее голова слетит с плеч, скакать с новостью к королю и мистрис Джейн.

— Зачем? — интересуется он холодно. — Они боятся, что палач промахнется?

На часах около девяти.

— Вы завтракали? — спрашивает Фрэнсис.

— Я всегда завтракаю.

Интересно, завтракал ли король?

— Генрих почти не говорит о ней, — сообщает Фрэнсис Брайан. — Только недоумевает, как такое могло с ним случиться. Оглядываясь на прошедшие десять лет, он не понимает, что на него нашло.

Они молчат.

— Смотрите, ведут, — говорит Фрэнсис.

Мрачная процессия движется через ворота: представители городской власти, олдермены, чиновники, за ними следуют стражники. В середине — королева в окружении сопровождающих женщин. На ней платье темного дамаста, короткая накидка из горностая, на голове старомодный гейбл: хитроумный способ, как решат многие, спрятать лицо. Накидка из горностая, неужели та самая? В нее куталась Екатерина, когда я видел ее незадолго до смерти, вспоминает он. Этот мех — последний трофей Анны. Три года назад она вышагивала на коронацию по синей ткани, расстеленной во всю длину аббатства, еле передвигаясь под тяжестью плода, заставляя сердца зрителей биться учащенно; теперь шагает по жесткой земле, в туфельках, тонкая и пустая,

и множество рук готовы поддержать ее, чтобы в целости и сохранности доставить туда, где ей предстоит умереть. Один или два раза королева замедляет шаг, и вся процессия вынуждена остановиться, но она не спотыкается, а оглядывается назад.

— Не знаю почему, — говорит Кранмер, — но она верит, что надежда есть.

Лица дам скрыты под вуалями, даже лицо леди Кингстон: не хотят, чтобы это утро наложило отпечаток на всю их жизнь, чтобы мужья и воздыхатели, глядя на них, думали о смерти.

Грегори занял место рядом с ним. Сына трясет, он чувствует его дрожь, кладет руку в перчатке Грегори на плечо. Ричмонд узнает его, юный герцог стоит на видном месте рядом с тестем, Норфолком. Суррей что-то шепчет на ухо отцу, но тот смотрит прямо перед собой. Как дом Говардов дошел до такой жизни?

Одна из женщин снимает с королевы накидку, под ней — худенькая фигурка, мешок костей. Королева не выглядит грозным врагом Англии, но внешность обманчива. Будь это во власти Анны, Екатерина сейчас стояла бы там, где стоит она. И юная Мария, и, разумеется, он, стаскивая одежду в ожидании грубого английского топора.

— Это продлится всего мгновение, — говорит он сыну.

По пути к эшафоту Анна раздавала милостыню, теперь бархатный мешочек опустел. Она просовывает в него руку и выворачивает наизнанку жестом экономной кумушки, проверяющей, не завалялось ли чего внутри.

Одна из женщин протягивает руку, Анна, не глядя, передает ей мешочек и подходит к краю эшафота. Помедлив, глядя куда-то поверх толпы, начинает говорить. Толпа подается вперед, но не более чем на несколько дюймов, все глаза устремлены на нее. Голос королевы едва слышен, слов почти не разобрать, речь соответствует моменту: «…молиться за короля, славного, добродетельного и великодушного правителя…» Слова, которые должны быть произнесены, ведь даже сейчас может появиться королевский посланник.

Анна переводит дух… но нет, она закончила. Ей больше нечего сказать, и теперь от смерти ее отделяют несколько мгновений. Она вдыхает, на лице изумление. Аминь, произносит она, аминь. Голова опускается. Кажется, Анна пытается совладать с дрожью, сотрясающей тело с головы до пят.

Одна из женщин под вуалью подходит к ней

сбоку, что-то говорит. Трясущимися руками Анна легко снимает жесткий головной убор, должно быть, думает он, чепец держался сам по себе, без булавок. Волосы собраны в шелковую сетку на затылке, она встряхивает головой, подхватывает локоны, одной рукой поднимает над головой и свертывает в кольцо. Ей подают льняной чепец, и Анна надевает его. Кажется, что чепец не удержит волосы, но страхи напрасны, вероятно, она готовилась. Но теперь Анна смотрит вопросительно, словно ждет указаний. Тянет чепец вверх, возвращает на место. Она явно не знает, что делать дальше, не знает, завязать ли тесемки: будет ли чепец держаться сам, или у нее в запасе несколько ударов сердца, чтобы затянуть узел. Палач выступает вперед, Анна замечает его — и ее взгляд застывает. Француз преклоняет колено, прося прощения. Это формальность, колено едва касается соломы. Затем знаком велит встать на колени ей и, когда Анна повинуется, отступает назад, словно не желая касаться даже края ее одежд. На вытянутой руке палач передает сложенный кусок ткани одной из женщин, затем поднимает руку к лицу, показывая, что надлежит сделать. Он надеется, что эта женщина — леди Кингстон. Помощница действует быстро и уме-

ло, но когда мир меркнет перед глазами, Анна издает слабый звук. Ее губы шепчут молитву. Француз знаком велит женщинам отойти. Они удаляются, опускаются на колени, одна почти валится на землю, остальные ее поддерживают. Несмотря на вуали, каждый может видеть их руки, беспомощные голые руки, когда дамы подбирают юбки, словно пытаясь уменьшиться в размерах, уцелеть. Королева остается одна, одна, как никогда в жизни. Христу я вручаю душу мою, Господи, прими мою душу, произносит она. Затем поднимает руку, пальцы снова тянутся к чепцу, и он думает: опусти руку, ради Христа, опусти ее. Он не вынесет, если… Палач бросает:

— Подайте меч.

Голова в повязке слепо озирается по сторонам. Палач стоит позади Анны, она не чувствует его. Из толпы раздается стон. Становится тихо, затем тишину пронзает звук, похожий на резкий вдох или свист сквозь замочную скважину: телу отворяют кровь, маленькое и плоское, оно обращается алой лужей.

Герцог Суффолкский до сих пор на ногах. Как и Ричмонд. Остальные встают с колен. Палач скромно отвернулся и уже отдал меч. Его помощник подходит к телу, но женщины успевают

раньше, загородив ему проход.

— Обойдемся без мужчин! — со злобой бросает одна.

Он слышит голос Суррея:

— Довольно мужчины носили ее на руках.

Милорд, обращается он к Норфолку, угомоните вашего сына, пусть убирается. Ричмонд выглядит скверно. Он видит, как Грегори подходит к юному графу, кланяется и говорит запросто, как ровеснику: милорд, давайте уйдем отсюда. Знать бы, почему Ричмонд не преклонил колен. Возможно, поверил слухам, что королева собиралась отравить его, и не счел нужным оказать ей последнюю честь. Другое дело Суффолк. Старого вояку ничем не проймешь, Брэндон — давний враг Анны, на поле битвы повидал немало крови, хотя едва ли столько.

Кажется, Кингстон не озаботился подумать о похоронах.

— Дай Бог, — говорит он, Кромвель, ни к кому в особенности не обращаясь, — чтобы комендант не забыл приспустить флаги.

— Их приспустили два дня назад, сэр, когда хоронили ее брата, — отвечает кто-то.

За прошедшие дни комендант немало навредил своей репутации, хотя король держал его

в неведении до последней минуты, и, как впоследствии признается сам Кингстон, все утро ему казалось, что вот-вот прибудет посланник из Уайтхолла: даже когда королева всходила на эшафот, даже когда снимала чепец. Кингстон не подумал о гробе, поэтому срочно освобождают деревянный сундук из-под стрел. Еще вчера сундук с содержимым собирались отправить в Ирландию, и каждую отдельную стрелу наточили нести смерть. Теперь на сундук глазеет толпа, он стал гробом для мертвого тела, достаточно широким для тщедушной королевы. Палач пересекает эшафот, поднимает отрубленную голову, заворачивает в льняную ткань, словно новорожденного, и ждет кого-нибудь, кто примет его ношу. Женщины сами опускают безжизненное вялое тело в сундук. Одна из них забирает голову у палача и кладет в ноги трупа — больше в сундуке места нет. Затем женщины, перепачканные свежей кровью, выпрямляются и с достоинством уходят, сомкнув ряды, словно солдаты.

* * *

Вечером в Остин-фрайарз он пишет письма во Францию, Гардинеру. Епископ за границей: притаившийся зверь точит когти, готовясь к прыжку.

Убрать его с глаз долой было победой. Знать бы, как долго ему удастся удерживать Гардинера на расстоянии.

Жаль, что рядом нет Рейфа, который сейчас с королем или с Хелен, в Стипни. Он привык полагаться на Рейфа и никак не смирится с новым распорядком. Все ждет, что раздастся его голос или звуки шуточной потасовки, которую затеяли Рейф, Ричард и Грегори: пытаются спустить друг друга с лестницы или притаились за дверью, чтобы неожиданно выпрыгнуть из-за угла, — забавы, которыми не гнушаются мужчины двадцати пяти — тридцати лет, когда поблизости нет родственников постарше. Вместо Рейфа с ним мастер Ризли, вышагивает по комнате. Зовите-Меня уверен, что следует на манер летописца изложить события дня или хотя бы поведать миру о собственных переживаниях.

— Я словно стоял на высокой скале, спиной к морю, а передо мной полыхала равнина.

— Серьезно, Зовите-Меня? Так не стойте на ветру, лучше выпейте со мной вина, которое прислал из Франции лорд Лайл. Я держу его для себя.

Зовите-Меня принимает чашу.

— Я слышу запах пожарищ. Горят дома. Падают башни. Ничего не осталось, кроме пепла. Одни

обломки.

— Обломки всегда на что-то сгодятся.

Обломки кораблекрушения вещь полезная: спросите любого жителя прибрежных земель.

— Вы толком не ответили на мой вопрос, — говорит Ризли. — Почему вы позволили Уайетту избежать суда? Только ради дружбы?

— Вижу, вы не слишком цените дружеские узы.

Он наблюдает, попался ли Ризли.

— И все же, — не унимается Зовите-Меня, — Уайетт не представлял для вас угрозы, не презирал вас, не унижал. Уильям Брертон славился высокомерием, многих осаживал, стоял у вас на пути. Гарри Норрис, юный Уэстон, они мешали вам, и теперь вы можете поставить рядом с Рейфом своих людей. И Марк, это ничтожество, без него воздух станет чище. Падение Джорджа Рочфорда заставит остальных Болейнов держаться тише, а монсеньор теперь и носа не высунет из деревни. Императору все произошедшее только на руку. Жалко, что лихорадка помешала послу прийти, ему бы понравилось.

Вряд ли, думает он. Шапюи брезглив. Но ты должен, если потребуется, встать с постели, чтобы самому увидеть результат того, чего так долго

желал.

— Теперь в Англии воцарится мир, — произносит Ризли.

Слова Зовите-Меня вызывают в памяти что-то знакомое. Кажется, так говорил Томас Мор? «Спокойствие курятника, когда лисицы след простыл»? Он видит разодранные тушки, одни убиты ударом мощной лапы, остальные задавлены и искусаны, когда лисица в панике металась по курятнику, а куры заполошно трещали крыльями: растерзанные тушки обмоют, а следы от алых перьев впитаются в стены и пол.

— Все актеры мертвы, — говорит Ризли. — Все четверо, тащившие кардинала в ад, и бедный Марк, сочинивший балладу об их деяниях.

— Все четверо, — говорит он. — Все пятеро.

— Один джентльмен спросил меня: если Кромвель поступает так с мелкими врагами, то что он готовит королю?

Он стоит, глядя в темнеющий сад: вопрос, словно острый нож, вонзился между лопаток. Единственный из подданных короля осмелится задать его. Единственный решится оспаривать его преданность королю, преданность, которую он демонстрирует ежечасно.

— Надо же, — наконец произносит он, — Сти-

вен Гардинер называет себя джентльменом.

Возможно, в маленьких мутных стеклах Зовите-Меня наблюдает неясное отражение: смятение и страх — чувства, которые нечасто увидишь на лице господина секретаря. Ибо если Гардинер так думает, то кто еще?

— Ризли, — говорит он, — надеюсь, вы не ждете, что я буду растолковывать вам мотивы своих поступков? Если выбрал путь, не оправдывайся. Господу ведомо, я всегда желал нашему господину королю только добра. Мое дело — служить и повиноваться. И если вы возьмете на себя труд всмотреться в меня пристальнее, то увидите, что это так.

Он оборачивается, когда чувствует, что готов встретить прямой взгляд Ризли. Его улыбка неумолима.

— Пейте мое здоровье, — произносит он.

III
Трофеи

Лондон, лето 1536 г.

Король спрашивает:

— Что сталось с ее одеждой? С ее чепцом?

Он отвечает:

— Их забрали служители Тауэра. Таков обычай.

— Выкупите все, — приказывает король, — и сожгите. Я хочу точно знать, что ничего не осталось.

И еще говорит:

— Соберите все ключи от моих личных покоев. Здесь и в других дворцах. Все ключи от всех комнат. Я хочу поменять замки.

Повсюду новые слуги либо старые на новых должностях. Генри Норриса в королевских покоях сменил Фрэнсис Брайан и будет теперь получать пенсион в сто фунтов. Юный герцог Ричмонд назначен канцлером Честера и Северного Уэльса, а также (вместо Джорджа Болейна) лордом-хранителем Пяти портов и коннетаблем Дувра. Томас Уайетт выпущен из Тауэра и пожалован пятью-

стами фунтами. Эдвард Сеймур стал виконтом Бошемом. Ричард Сэмпсон — епископом Чичестерским. Вдова Фрэнсиса Уэстона объявила, что снова выходит замуж.

Он обсудил с братьями Сеймурами девиз, который возьмет себе Джейн. Сошлись на «Повиноваться и служить».

Рассказывает о девизе Генриху. Улыбка, кивок, полное одобрение. Голубые глаза короля безмятежны. Всю осень этого тысяча пятьсот тридцать шестого года на витражах, на каменной и деревянной резьбе белых соколов будут заменять на фениксов, геральдических львов обезглавленной женщины — на леопардов Джейн Сеймур. Экономия расходов: достаточно исправить животным головы и хвосты.

Венчание проходит быстро и без помпы, в королевиных покоях Уайтхолла. Между Джейн и королем обнаружилось дальнее родство, но все нужные разрешения получены.

Перед церемонией Генрих выглядит печальнее, чем положено жениху в такой день. Прежнюю королеву не вспоминает: она в могиле уже десять дней, а Генрих и словом ее не помянул. «Не знаю, Сухарь, будут ли у меня еще дети, — говорит король. — Платон учит, что наилучшее потомство

рождается у мужчин от тридцати до тридцати девяти лет. Я уже вышел из этого возраста. Мои лучшие годы позади. Куда они ушли, не знаю».

Король чувствует, что судьба недодала ему обещанного. «Когда умер мой брат Артур, отцовский астролог предрек мне счастливое царствование, богатство и много сыновей».

По крайней мере вы богаты, думает он, а если будете держаться меня — станете несравненно богаче. Где-то в вашем гороскопе присутствовал Томас Кромвель.

От покойницы остались долги, которые надо возвращать, около тысячи фунтов — их покроет конфискованное имущество. Она задолжала своим скорняку и чулочнику, плетельщицам и торговцу льняным товаром, аптекарю, шорнику, красильщику, кузнецу и булавочнику. Статус ее дочери под вопросом, однако девочка хорошо обеспечена золотыми подзорами для кровати, а также чепчиками белого и пурпурного атласа с золотой отделкой. Королевиной вышивальщице причитается пятьдесят пять фунтов, и хорошо видно, на что пошли деньги.

Палачу-французу уплачено двадцать три фунта с лишним, но это расход, который едва ли повторится в будущем.

В Остин-фрайарз он берет ключи и заходит в каморку, где хранится Рождество, где плакал от страха запертый Марк. Крылья из павлиньих перьев придется уничтожить. Падчерица Рейфа едва ли спросит о них в следующее Рождество — дети не помнят, что было год назад.

Вытряхнув крылья из мешка, он растягивает холстину, подносит ее к свету и видит прореху. Теперь понятно, как перья вылезли и щекотали лицо покойника. Они облезлые, как будто погрызенные, яркие павлиньи глазки2 поблекли. Да и вообще — пустая безделица, ничего ценного.

Он думает о своей дочери Грейс. Думает, изменяла ли мне жена? Когда я уезжал по кардинальским делам, а это случалось часто, утешалась ли она с торговцем, у которого покупала шелк? Или, как многие женщины, со священником? Вспоминая Лиз, ему трудно в такое поверить. Однако у нее было грубое лицо, а у Грейс — прекрасное, с тонкими чертами. Сейчас оно видится смутно — смерть забирает воспоминания одно за другим, оставляя лишь тонкий налет праха.

Он спрашивает Джоанну, сестру покойной жены:

— Как ты думаешь, у Лиз были другие мужчины? Я хочу сказать, в пору нашего брака.

Джоанна негодует:

— Да как ты мог подумать? Гони эту мысль туда, откуда пришла.

Он пробует последовать совету, но не может отделаться от чувства, что Грейс ушла от него еще дальше. Она умерла совсем маленькой, он даже не успел заказать портрет. Ее одежда, ее мяч и деревянная кукла давным-давно розданы. А вот от его старшей дочери, Энн, осталась тетрадь. Иногда он достает ее и читает выведенное твердым почерком имя. Энн Кромвель. Тетрадь Энн Кромвель. Разглядывает рыбок и птиц, которых она рисовала на полях, русалок и грифонов. Он держит тетрадь в деревянной шкатулке, обитой изнутри и снаружи красной кожей. Крышка выцвела до бледно-розовой, и, только подняв ее, видишь прежнее карминно-красное нутро.

Короткие летние ночи он проводит за письменным столом. Бумага драгоценна, поэтому черновики не выкидывают, а переворачивают и пишут на обороте. Часто он берет старые листы и видит беглые записи канцлеров, давно обратившихся в прах, министров-епископов, спящих под мраморными плитами с перечнем их заслуг. Поначалу, когда он вот так натыкался на записи кардинала — короткий расчет, брошенный черновик, —

сердце сжималось, вынуждая отложить перо и ждать, пока схлынет пароксизм горя. Теперь он привык к этим встречам, но сегодня, перевернув лист и увидев почерк кардинала, в первый миг не узнает его, как будто свет, падающий под непривычным углом, изменил очертания букв. Это мог написать кто-нибудь полузнакомый, должник или заимодавец, с которым ему случилось вести дела месяца два назад, либо смиренный писарь, строчащий под диктовку хозяина.

Он придвигает документ чуть ближе к дрожащему пламени свечи, и слова обретают привычные очертания — их вывела рука человека, которого уже давно нет. Днем он, Кромвель, думает только о будущем, но иногда по ночам воспоминания приходят и смущают его покой. Однако… Следующая задача — помирить короля и леди Марию, пока Генрих не убил дочь и, что важнее, пока сторонники Марии не убили его. Он помог им занять места в новом мире, мире без Анны Болейн, а они решили, что сумеют обойтись и без Томаса Кромвеля. Они насытились за его пиршественным столом и хотят смести хозяина вместе с объедками. Но это его стол; он, Кромвель, стоит среди обглоданных костей. Пусть только попробуют его свалить! Они увидят, что он за-

кован в броню, как моллюск, и, как моллюск, прирос к своему месту. Ему надо писать законы, принимать меры, служить народу и королю; он намерен получать титулы и почести, строить дома, и, кто знает, может быть у него еще будут дети. Он женит Грегори, и внуки заменят ему умерших дочерей. Он воображает, как стоит в луче света и держит младенца — так, чтобы видели покойники.

Он думает: как ни старайся, однажды меня не станет, а по нынешним временам это может случиться скоро. Здоровьем меня Бог не обидел, но фортуна переменчива — либо враги доконают, либо друзья. Когда час придет, я могу сгинуть быстрее, чем высохнут чернила. От меня останется гора документов, и те, кто займет мое место — допустим, Рейф, или Ризли, или Рич, — будут приговаривать, беря бумагу из стопки, вот старая купчая, вот старый черновик, вот старое письмо времен Томаса Кромвеля, они перевернут лист и напишут поверх меня.

Летом 1536 года король жалует ему баронский титул. Он не может назваться лордом Патни — это смешно. Однако… Барон Кромвель Уимблдонский — уже лучше; в тамошних полях он бегал мальчишкой.

Слово «однако» точно бесенок, притаившийся у тебя под креслом. Оно превращает чернила в слова, которых не было прежде, гонит строки через страницу, заставляя их вылезать на поля. Конца не будет. Думать, будто что-то закончилось — только себя обманывать. Всякий конец — начало. Вот оно.

Послесловие

Обстоятельства, сопутствовавшие гибели Анны Болейн, вызывают споры уже много веков. Свидетельства путанны, противоречат друг другу или сделаны постфактум, источники часто предвзяты или ненадежны. Не существует официальной записи судебных слушаний, и последние дни Анны приходится восстанавливать по фрагментам, опираясь на современников, которые могут быть неточны, пристрастны, забывчивы, пересказывать с чужих слов или прятаться под псевдонимом. К пространным и красивым речам, которые она якобы произносила во время суда и на эшафоте, следует относиться скептически, как и к ее «последнему письму» — это почти наверняка подделка или (если выражаться более мягко) плод литературного творчества.

В этой книге я пыталась показать, как последние критические недели могли выглядеть с точки зрения Томаса Кромвеля. Я не утверждаю, что все было именно так, а лишь предлагаю читателям свою версию. Некоторых известных обстоятельств в моей книге нет. Чтобы не умножать

персонажей, здесь не упомянута покойная фрейлина королевы Бриджит Уингфилд, которая (из могилы) отчасти способствовала возникновению порочащих Анну слухов, и таким образом вина Джейн, леди Рочфорд, возможно, оказывается несколько преувеличена. Мы склонны читать жизнь Джейн Рочфорд в обратной последовательности, поскольку знаем, какую зловещую роль та сыграла в гибели Екатерины Говард, пятой жены Генриха. Джулия Фокс в книге «Джейн Болейн» (2007) характеризует свою героиню более положительно.

Знатоки последних дней Анны заметят отсутствие и других действующих лиц, в частности, Ричарда Пейджа, которого арестовали одновременно с Томасом Уайеттом; его не судили и обвинений против него не выдвигали. Поскольку он никак больше в истории не участвует и никто не знает, почему его арестовали, я сочла за лучшее не утомлять читателя еще одним именем.

Я в долгу у Эрика Айвза, Дэвида Лоудса, Алисон Уэйр, Дж. У. Бернарда, Реты М. Уорник и многих других исследователей жизни и гибели Болейнов.

Разумеется, это книга не об Анне Болейн и не о Генрихе VIII, но о карьере Томаса Кромвеля, чья

полная научная биография до сих пор не написана. Тем временем господин секретарь остается лоснящимся, мясистым и глубоко упрятанным, как самая аппетитная слива в рождественском пироге, однако я продолжу мои усилия вытащить его на свет.

От автора

Я искренне благодарна тем историкам, которые нашли время прочесть «Волчий зал», отозвались о нем и поддержали это начинание, а также многим читателям, присылавшим мне генеалогические деревья и обрывки семейных легенд с пикантными подробностями о давно исчезнувших местах и почти забытых именах. Спасибо Бобу Вустеру за возможность посетить Аллингтонский замок, некогда принадлежавший семейству Уайеттов, и Руперту Тислетуэйту, потомку Уильяма Полета, который принимал меня в своем замечательном девонском доме. И спасибо всем, чьими любезными приглашениями я надеюсь воспользоваться во время работы над следующим романом.

Я особенно признательна моему мужу Джеральду Макюэну, вынужденному делить дом со столькими невидимыми людьми, за его неизменные доброту и заботу.